

84/2Рз-Р.с)6
В.19

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ

Избранное

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

в трех томах

Том первый

РОМАН

“Прошу тебя, государь”

Том второй

ПРОЗА

Роман, очерки и рассказы

Том третий

ПОЭЗИЯ



Анатолий Иванович Васильев родился в Ишиме Тюменской области. Здесь окончил среднюю школу № 1. Потом – Киевское военно-медицинское училище, Омский медицинский институт, факультет усовершенствования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Печататься начал в школьные годы, первым его публикатором стала газета “Ишимская правда”. В студенческие годы в Омском книжном издательстве вышла его первая книга стихотворений “Под одним небом”. В последующие годы в издательствах Новосибирска, Тюмени, Свердловска, Москвы вышли стихотворные книги “Твоими тропами”, “Завтра выпадает снег”, “Ранний мир”, “Середина сентября”, “Вечерние птицы”, “Я дальний путник”, “Осеннее небо”, очерковая книга “Ради прошлого и будущего”, повесть “С надеждою быть полезным России”. В 1999 году под таким же названием в издательстве “Вектор-Бук” вышла книга, в которую вошли романы “Прошу тебя, государь” и “Казематы его крепостей”, а также очерки и рассказы “Его земные пути”, “Отодвинутая судьба”, “Долгие годы” и другие.

Произведения А. Васильева публиковались в журналах “Юность”, “Сибирские огни”, “Байкал”, “Ставрополье”, “Урал”, “Наш современник”, “Октябрь”, в сборниках “Дни поэзии” и других изданиях. Его публиковали и писали о нем газеты “Правда”, “Известия”, “Труд”, “Комсомольская правда”, лауреатом конкурса которой “Алый парус” он был, а также областные газеты Тюменской и Омской областей, литовская “Tiesa”, газета Сибирского военного округа и военный журнал “Советский воин”.

Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры России А. И. Васильев в настоящее время – редактор альманаха “Врата Сибири” (г. Тюмень).

ИЗБРАННОЕ

Том первый

**ПРОШУ ТЕБЯ,
ГОСУДАРЬ**

роман



Тюмень 2006

ББК 84(2Рос = Рус)6-444

УДК 882-31(571.12)

В 19

Анатолий Васильев

В 19 Избранное. Том первый. “Прошу тебя, государь”. Роман.

– Тюмень: Тюменский издательский дом. 2006. 440с.

ISBN 5-9288-0094-0

ISBN 5-9288-0096-7

© Тюменский издательский дом

«В виду молодого поколения»

(Опыт возвращения исторического героя в романах

А. И. Васильева «Прошу тебя, государь»

и «Казематы его крепостей»)

Историю декабристов нельзя **изучать**. Декабризмом можно только заболеть: ходить по редким букинистическим магазинам, рыться в библиотеках, просматривать каталоги, читать с упоением текст на экране дисплея или на пожелтой странице. Вначале рискуешь перепутать их лица на миниатюрах, на живописных портретах: незнакомые мундиры, бакенбарды, выражения молодых лиц, взгляды – все из другого мира, из других времен. Но постепенно их жизнь и твоя собственная соединяются, как могут соединиться только жизни живых людей.

Почему с таким неослабевающим увлечением ученые и художники до сих пор пишут о них? О них говорили монархи, составлялись секретные доклады, тайные мемуары и официальные исследования. Им посвящен океан публикаций, сочинений, обзоров, словарей, диссертаций. Одни их поносили и поносят сейчас. В стремительно и как-то кособоко меняющемся ориентиры мире даже из уст потомка знаменитого декабристского рода Муравьевых-Апостолов довелось услышать: «И хорошо, что дали им укорот. А то они с Россией такого бы натворили!» Именно так: законна казнь не за то, что сделали, а за то, что только могли бы... Анатомии историко-политического мифа о декабристах посвящена недавняя монография С. Эрлиха (2005).

Зато еще больше людей восхищались ими. Пушкин причислял себя к ним: «И я бы мог...» В начале 1980-х гг. болгарский историк Бригита Йосифова, доверчиво признаваясь в настигшей ее любви к далеким, но не чужим людям, писала: «Я привязалась к ним как к живым. И в этой дружбе не могло быть разочарования! О них я знаю много больше, чем о живых своих друзьях. Знаю их лица и дневники их, тайны, признания. ...Я знаю, как они держались в минуты самых тяжелых испытаний. Знаю, как они писали одно в «официальных» письмах, другое – в своих дневниках. Я знаю кольца на бледных и нежных руках их жен, знаю даже их мебель, клавесины в их салонах, их любимые цветы!

Чем дается это право? Кто нам дарит эту моральную привилегию? Только их вечная немота? Или, может быть, время учреждает новый кодекс для писателя?

Мне кажется, что они сами выдают нам пропуск на каждую страницу своей жизни. Они сами избрали свой путь, пленили нас, <....> и историческая их судьба принадлежит сегодня всем».

В манифесте Николая I, помеченном 13 июля 1826 года, днем казни пятерых из «мучеников истины», говорилось: «Горестные происшествия, смутившие покой России, миновались, и, как Мы при помощи Божией уповали, миновались навсегда и невозвратно. В сокровенных путях Провидения, из среды зла изводящего добро, самые сии происшествия могут споспешествовать во благое». Примечательно, что император и история вложили прямо противоположный смысл в упомянутые здесь «добро» и «среду зла».

Хорошо забытый русский поэт Николай Огарев прожил несколько жизней: Кавказ, путешествия, эмиграцию, вольную печать, годы бедствий и болезней – и в стихотворном прощании «Героическая симфония» вспомнил истинного, своего героя, не похожего на современные образцы:

*Я вспомнил петлей пять голов казненных
И их спокойное умершее чело,
И их друзей, на каторге сраженных,
Умерших твердо и светло.*

Это прямая отсылка к огаревскому же тексту 1859 года – времени исторических надежд и душевной крепости:

*Рылеев мне был первым светом...
Отец! По духу мне родной –
Твое название в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.
Мы стих твой вырвем из забвенья
И в первый русский вольный день,
В виду молодого поколения,
Восстановим для поклоненья
Твою страдальческую тень.*

(Памяти Рылеева)

Они – люди из разных миров: Огарев и Рылеев. Клятва в стихе похожа на ту, что была когда-то дана двумя русскими мальчиками на Воробьевых горах. «Клятва в чем? Бороться, не сдаваться? – спрашивал историк Н. Я. Эйдельман. – Да, да – но притом не ожесточиться, не зачерстветь в борьбе, остаться хорошим, свободным человеком, **иначе – не стоит, да и нельзя бороться!**» Колесо истории повернулось – и то, что император Николай всю жизнь помнил как зло и казнил

и мстил за это, потомки называли добром, обнаженной сердечной болью. И в них видели прямую мотивацию драматического исторического выбора, сделанного К. Рылеевым и его товарищами задолго до 14 декабря 1825 года.

К. Ф. Рылеев в истории декабризма если не самая романтическая, то, безусловно, одна из центральных фигур. О нем с равной душевной просветленностью писали люди разного склада – братья Н. и М. Бестужевы, Ф. Глинка, Е. Оболенский и др. Со временем мемуаристов сменили биографы – А. Сиротинин, Б. Нейман, авторитетнейший К. Пигарев, позднее В. Афанасьев. Свою попытку разгадать загадку русской души, в которой так естественно слились поэт и политик, предложил ирландский историк П. О. Мара («К. Ф. Рылеев: Политическая биография поэта и декабриста», 1984).

Но вот парадокс: предмет интереса в столь многих хроникальных, политических, литературоведческих студиях, Рылеев является героем считанного числа художественных произведений. Разумеется, ни один роман – хроника восстания не обходит его вниманием (М. Марич. «Северное сияние», О. Форш. «Первенцы свободы»). Но главным персонажем, ведущим за собой сюжет биографического текста, Рылеев становился на удивление нечасто. Традицию заложила повесть Лидии Тыняновой «Рылеев» (1926). Через годы ее продолжил Сергей Новиков («Злополучный экспромт» (1967). Этапной могла бы стать повесть Магдалины Дальцевой «Так затихает Везувий» (1982), но в поэтическом отношении она оказалась отчетливо вторичной в сравнении с острыми по мысли и форме «декабристскими» текстами Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, Я. Гордина. На фоне «Затихшего Везувия» незамысловатый психологический этюд Юрия Чернова «Утро бессмертия» (1985), пусть и написанный явно к очередной юбилейной дате восстания, показался возвращением к лучшим образцам проявления авторского отношения к герою.

В этом ряду роман тюменского писателя Анатолия Васильева «Прошу тебя, государь» (2000) занял свое законное место и отличается не общим выражением жанрово-тематического лица. Опыт разработки исторического материала в тюменской региональной прозе свидетельствует, что ее героями становятся прежде всего люди, вольно, а чаще не по собственному выбору связанные с нашим краем («Иринарх» К. Лагунова, «Порушенная невеста» и «Плач гагары» М. Анисимковой). Однако привычный критерий отбора не срабатывал в тексте А. Васильева. Герой его – не наш невольный (во всех смыслах этого слова) земляк и не тот, кто мог им стать при ином раскладе исторических обстоятельств. Пусть читатель вспомнит произни-

тельно-печальную сцену из фильма В. Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975): по петербургской набережной в последний раз в дорожной карете едет Катерина Ивановна Лаваль-Трубецкая – в Сибирь, в каторгу, к мужу в неизвестность; а вслед ей потухшими глазами смотрит одетая в траур Наталья Михайловна Рылеева – для нее возможность такого отъезда была бы счастьем, милостью судьбы... Кондратий Рылеев нашел последний покой не в сибирской земле, а в безымянной могиле на острове Голодае в устье Невы. И надо очень любить прототипа героя своего произведения, чтобы суметь ненавязчиво, но определенно проявить это чувство в тексте и передать его читателям, для большинства из которых эпоха декабризма – это что-то из «времен Очакова и покоренья Крыма». Ю. Н. Тынянов утверждал, что задача настоящего исторического романиста – увеличивать диаметр исторического сознания читателя. Думается, этой цели и добивался автор романа «Прошу тебя, государь».

Литературоведческий анализ – не критический отзыв, в нем не пристало расставлять оценки. Но не в обиду будь сказано серьезному тексту, самым уязвимым элементом его является заглавие. Не потому, что, будучи вынутым из контекста предсмертного письма Рылеева, оно рискует быть истолкованным совсем не в том духе альтруистического самопожертвования, которым проникнут текст оригинала: «Дерзая просить тебя, государь, будь милосерд к товарищам моего преступления. <...> Прошу тебя, государь, прости их <...>». Заглавие замыкает повествование лишь на истории жизни главного героя, а текст шире и значительнее, чем просто биография исторического лица, какое бы блестящее место ему не отводилось в пантеоне славы Отечества.

Выставляя в подзаголовок текста жанровое определение «роман», автор ко многому себя обязывает. Произведение А. Васильева – и биография и одновременно хроника, хроника жизни Европы и России, которая в чем-то объясняет судьбу главного героя романа, но не исчерпывает ее. Роман требует известной незавершенности повествования, разворачивающегося в глубь времен и в ширь пространства. Сделать это в историческом тексте, где все заранее давно известно и автору и читателю и все точки давно расставлены временем, очень трудно. Тем не менее А. Васильев находит приемы, чтобы преодолеть эту жанровую сложность.

На первый взгляд, текст вполне вписывается в рамки традиционного рассказывания, где главный герой – история. 1812 год, антинаполеоновская кампания 1814 года, бунт Чугуевских поселений, Семеновская история – вехи любой хроники первой четверти XIX века.

Параллельно излагается последовательная история возникновения тайных обществ в России – от мальчишеской игры в справедливую республику Чоку до Северного и Южного общества с их трагическими взаимными спорами и конечным смертельным выбором: «Мы умрем, но как славно мы умрем». Только профессиональный историк способен по достоинству оценить, какой громадный пласт исторических документов, первоисточников, специальных исследований лежит в основе такого подробного изложения.

Однако вспомним классическое: «Но любой роман возьмите – и найдете, верно...» Потому-то замечательно, что роман А. Васильева не ограничен возведением привычных «пограничных столбов времени» – 1815, 1817, 1825... Между ними кипит живая жизнь живых людей. Роман необыкновенно многонаселен. Но система персонажей в нем – именно система. Только принцип организации ее не част в историческом романе. Традиция жанра требует неукоснительной связанности, подчиненности героев второго плана центральному. Традиция вполне выдерживается: семейные, дружеские, профессиональные и другие связи «скрепляют» героев с главным – Рылеевым. Но гораздо более интересным является другой принцип связи – случайности, но только **кажущейся случайности** встреч, отрывков разговоров, расставаний и новых встреч героев. Впервые в историческом повествовании этот принцип явил Л. Н. Толстой, используя в «Воине и мире» тип, назовем его так, «прохожего» героя. Откуда-то из глубины своей жизни на поверхность общего бурлящего исторического котла выныривает то один, то другой персонаж – с обрывком фразы, с полудействием, чтобы тут же снова уйти в глубину. Никто не связан ни с кем – и все связаны друг с другом, потому что все внутри одной истории, все действователи ее! Генералы, офицеры-мальчики, солдаты, мужики, баре, провинциальные барышни, столичные литераторы. Так получает художественное оправдание пушкинский эпиграф к роману: «<...> Чему, чему свидетели мы были!» и авторское замечание «Великое множество народа живет на Руси».

И еще одну удивительную особенность находим в романе: один и тот же текст будет по-разному прочитан и понят в зависимости от того, в руки какого читателя попадет. Любимый прием автора – называть будто мимоходом имя и двинуть повествование дальше, не давая характеристик, не раскрывая подробностей: Павел Тучков, Бедрга, Федор Толстой... Для одних они так и останутся призрачными фигурами. Но для автора и читателя-единомышленника за каждой – драматическая история. Павел Тучков – из знаменитого рода, два брата его,

генералы Николай и Александр, стали героями и жертвами Бородинского сражения, а невестка Маргарита Михайловна основала при Бородино Спасо-Бородинский монастырь – первый в России памятник победителям в спасительной для русских битве. В любви именно к ним, к Тучковым, признавалась М. И. Цветаева, вспоминая тех, «чьи широкие шинели напоминали паруса», именно их сделала человеческим знаком 1812 года. Михаил Бедрага – «ёра, забияка», друг и соратник Дениса Давыдова по партизанским вылазкам. Достаточно обратиться к «Запискам» Давыдова, и поймешь, как несправедливо обошлась Россия со своими героями. Впрочем, меньше всего они хотели предъявлять счет России, их мишени были совсем другие:

*Мы несем едино бремя.
Только жребий наш иной:
Вы – оставлены на племя,
Я – назначен на убой.*

Федор Толстой – не только знаменитый Американец, «татуированный алеут», но и родной брат одной из самых удивительных красавиц России, вспомните портрет Марьи Ивановны Лопухиной кисти В. Л. Боровиковского. Еще одна история, о том, что ни ум, ни красота не защита от бед и несчастий бренного бытия.

Такой многонаселенный роман не может не быть многоголосым. Не авторское монологическое вещание истины отличает его, а желание дать сказать свое слово многим – и главным героям, и персонажам второго, третьего ряда. Потому так охотно использует автор прием цитирования исторического документа, особенно частного письма – Александра Муравьева, самого Рылеева, его матери. Индивидуальная подлинная интонация порой способна точнее передать характер, чем развернутая авторская реконструкция. Но и этот прием хорошо отработан в историческом романе последней трети XX века. Более того, во многих текстах он является конструктивным повествовательным принципом. Между тем в романе А. Васильева находим, как кажется, единственное в своем роде его поэтическое воплощение.

Речь героев романа – молодых и старых, людей тонкой учености и неграмотных, мужчин и женщин – афористична. Но это афористичность особого рода – не педалируемая автором, не уснащающая речь тех, кого принято называть «героями из народа» и награждать почему-то какой-то особой «народной мудростью». «Не родом ведутся нищие, а кому Бог дает», «Не видал, как упал, погляжу – ан лежу», «Не обрежешь серпа – не пожнешь снопа», «Не кайся рано вставши да молод женившись». Ряд пословиц, поговорок, присловий можно множить и

множить. Но в романе нет и следа часто поверхностно понимаемой фольклорной традиции: использовал автор тексты заговора, народной песни, пословицы – вот уже якобы и фольклоризм. Во всех присловьях – мужичьих, барских, генеральских, солдатских – звучат истины, которые не существуют отдельно для социального верха и низа. Они выношены и выстраданы опытом не белой или черной кости, а жизнью целой нации. Собирательный герой романа А. Васильева – не низы и верхи, а именно русская нация, как никогда почувствовавшая свое единство, но и оскорбительную разъединенность в эпоху 1812 года. Это сознание разъединенности для многих будущих декабристов станет психологической мотивацией вступления в тайные общества. Оно же подвигнет Сергея Муравьева-Апостола создать революционный «Катехизис», где будет повторена евангельская истина, что «несть эллина и иудея». И по той же причине главный герой романа займется русской историей – одной для царей и народа, рождающей образцы человеческого поведения: крестьянина Сусанина, казака Ермака, князя Дмитрия Донского...

Собирательный образ России – не только образ кипящего человеческого множества. Ему приданы в тексте и четкие пространственные характеристики. Реальные факты биографии Рылеева заставляют автора поначалу все больше отдалять героя от родины: Германия, Франция, снова Германия, потом Польша и Литва – вроде и Российская империя, но не Россия. Сквозным становится мотив дальней дороги, где жизнь открывается русским мальчикам как она есть, где быстро утрачиваются розовые романтические иллюзии. «Вблизи мир оказывался не таким, каким виделся за стенами корпуса» – это автор о герое. «Без постоянного места нахождения, без котлового довольствия, без денщиков и слуг они сами ходили за своими верховыми лошадьми, убирали, кормили их и себя чем придется – все сами и все впервые. Не каждому дано броситься в реку и плыть, не умея плавать» – это герои сами о себе.

Описания большой военной дороги, на которой собралось, кажется, пол-России, носят какой-то подчеркнуто мужской, суровый характер. Но точные подробности военного быта не отягощают повествование: профессионализм авторского видения и знания всегда подкупает, открывает незнакомую раньше грань жизни.

Военная дорога сменяется дорогой мира, в которой с удивлением познается «скрытая сила, невозмутимость» российских просторов. Затем приходит время первой общей дороги молодой четы Рылеевых: «деревенские ласточки то взмывают ввысь над ними, то падают до

самой земли <...>. Вдоль дороги под блеклым небом стоят золотые суслоны на золотом жнивье: самую природой дано сочетание желтого цвета с синим». Нет границ пространству, но нет и конца дороге: «Мы как цыганский табор. Ты цыганский барон, я цыганская баронесса». Где же тот дом, в котором герой будет принят как родной и который выстроит как свой? Станет ли его действительным адресом известное: «Петербург, на Мойке, у Синего мосту...»? Это ключевой вопрос биографического сюжета романа.

Ответ на него связан с развернутой в тексте историей еще одного сквозного героя. Этот особенный герой – Литература. Именно Литература, а не русские литераторы, хотя обширная галерея их портретов, эскизных и развернутых, дана в романе. Бесшабашный, потому что внутренне бесконечно свободный Марлинский; доброжелательный и вдруг жестко требовательный Глинка; совершенно неожиданные Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер: кажется, что нового можно сказать о них? Но у Васильева они не привычные «лицейские братья», нет: умные, ироничные, отстраненные, строго хранящие границу между «мы» и «вы»; надо много потрудиться душой и головой, чтобы Рылеву позволили ее пересечь.

Литература формирует сознание неоперившихся юнцов: умный наставник в кадетском корпусе велит расписать стены не душеспасительными сентенциями, а цитатами из мировых классиков. На военном биваке офицеры соревнуются, кто скорей узнает, чьи стихотворные строки звучат, гордятся, что вот и Александр Сумароков – из их Сухопутного Шляхетского. Молодые романтики ищут новый поэтический язык. Гладкое, умелое подражание великолепным предшественникам перестает радовать стихотворца задолго до его читателей. Но Литература умеет и жестоко мстить за малые труды, а еще жестче – за отступничество. Фридрих Максимилиан Клингер, друг Гете и Ленца, они основали в свое время в литературе Германии новое направление, названное по его, Клингера, пьесе – «Буря и натиск». Он – классик немецкой литературы, у него выходит в свет один роман за другим. Но прежде всего Клингер – генерал-лейтенант русской службы, директор Первого кадетского корпуса; в его жизни два удовольствия – собачья свора и розга. В памяти бывших кадетов поэтому остаются не романтические стихи, а клингерур – час педантичной порки. Грехи отцов искупают дети: «На поле Бородина смертельно ранен сын генерал-лейтенанта Клингера капитан Александр Федорович Клингер, офицер русской армии двадцати одного года от роду», – только одна деталь развернутой истории 1812 года.

Хроника мирных 1810 – 1820-х годов полнится в романе не только описанием этапов зреющего политического заговора, но прежде всего картинами энергичной интеллектуальной жизни России – столичных литературных салонов, литературных обществ, издательств, альманахов. Хроникальный и биографический сюжет в таких эпизодах смыкаются: Рылеев свой в этой круговерти, а часто – в центре ее. Но будь только так, роман А. Васильева стал бы просто еще одним повторением много раз сказанного. У автора же, думается, есть свой взгляд на героя, и он, конечно, не в том, что А. Васильеву не нужен рыцарь без страха и упрека. Это также не было бы новым в жизнеописании Кондратия Рылеева. И до рождения случившаяся «обещанность», посвященность дитяти русскому мужику с его неприкаянной, страннической долей; и трагическое предсказание мадам Ленорман: «Вы умрете не своей смертью»; триумф сатиры «Временщику»; и предсмертное: «Подлый опричник тирана! Отдай палачу свои аксельбанты, чтоб нам не умирать трижды!» – этого не миновал ни один биограф Рылеева. Автору романа «Прошу тебя, государь» этого мало.

Ключом к характеру и типу героя становится фраза, открывающая повествование о нем: «Мир живет без него и не им». История Рылеева в романе – история и прорыва в мир, и обретения себя самого. Этапным в этом прорыве становится открытие, что даже талантливой Литературе далеко до подлинного Слова о жизни. Слово написано в романе с заглавной буквы. Однако герой А. Васильева таков, что даже Слово не может стать для него предназначением жизни. Для честного человека вслед за СЛОВОМ неизбежно открывается ДЕЛО – нечто больше, чем самое смелое говорение о жизни.

Так становится ясным, что роман А. Васильева написан о русском интеллигенте – с его единственным в мире чувством стыда, вины и личной ответственности за все происходящее вокруг, с его мучительным выбором дела, к которому он относится как к свыше данной миссии – и поэтому безупречно готов пойти за него на крест, на эшафот. Герой романа – сначала интеллигент, а потом революционер. Вернее, потом и революционер, что интеллигент. Сознательное сопротивление уединоображиванию России – историческая миссия и трагических одиночек, и целых поколений.

О. Д. Форш, одна из самых блестящих исторических романистов XX века, в 1920-е гг. писала: «Для всякого два выхода, только два, все прочее – обстоятельства второстепенные. Люди думают – им нет числа. Им число есть. Двенадцать. Петровы выхватывают меч, Иоанновы, безмолвствуя, знают. От Фомы не устают влагать персты. Найди

своего, встань, как он... А вывод каждый делает сам: расточить себя, как двенадцать, или собрать себя, как Один».

Эта формула жизненного поведения – «собрать себя, как Один» – реализована и в повествовании о К. Рылееве и в романе А. И. Васильева «Казематы его крепостей». В первом варианте текст назывался «С надеждою быть России полезным» (1986)*. Он посвящен «ссылочной эпопее» и жизненному концу Вильгельма Карловича Кюхельбекера.

В разработке этой темы, в отличие от рылеевского жизнеописания, у А. Васильева имеются выдающиеся предшественники. В 1980-е годы начинает работать над материалом, а в 1992 г. печатает повесть «Зоровавель» один из самых глубоких исторических романистов-психологов XX века Ю. В. Давыдов. Текст имеет подзаголовок «Повесть о поэме». Сюжет его строится не вокруг психологического потрясения, страдания узника в одиночном заключении Свеаборгской крепости, что было бы вполне естественно. Для давыдовского Кюхельбекера все внешние лишения и муки перекрываются главным: он вслушивается в Слово, которое звучит в нем, и в слова, которые живут вокруг него. И они дают спасение от одиночества, больше того – радость от свободного движения в привычной, единственно по-настоящему родной стихии.

Однако бесспорное первенство в работе над темой должно быть отдано несравненному Ю. Н. Тынянову. Ему принадлежит заслуга возвращения Кюхельбекера из тьмы полного исторического забвения. В 1920-е годы он собрал по отдельным страницам архив Кюхельбекера; в 1929 г. впервые издал «Дневник Кюхельбекера», посвятил ему литературоведческие исследования. Но не удовольствовавшись этим, создал роман «Кюхля» – эталонный текст русской исторической романистики XX века. Тынянов-художник воплотил в романе то, что считал неслучайным Тынянов-литературовед: не просто воссоздал образ декабристской эпохи, но раскрыл ее «формулу», как писал друг и соратник Тынянова Б. М. Эйхенбаум. В ее основе – зависимость судьбы от двух обстоятельств: характера времени и характера человека. Тынянову не нужен был герой первого исторического ряда. Часто нелепый, порой жалкий, нередко смешной, только Кюхля мог стать главным героем его повествования, потому что Тынянов неизменно утверждал: «Этот человек жил – он имеет право на не цельный характер». Характер тыняновского Кюхельбекера, с его «детским сердцем» и романтической «легкостью души», как нельзя лучше совпадает с характером эпохи – временем, когда «шампанское искрится в крови». В этом смысле Кюхля даже больше герой времени, чем тот же Рылеев.

* – автор вернулся к первоначальному названию романа.

Трагедия наступает не с поражением восстания, а тогда, когда через разлом времени начинает вытекать искрящийся воздух свободы. 20 лет сибирского заточения героя выпадают из романа Тынянова: у Кюхли и новой эпохи разное кровообращение, поэтому надо только поскорее умереть, чтобы вернуться туда, где «все было молодо, все было не дописано....»

В научной литературе, посвященной сибирскому периоду жизни деятелей 14 декабря, многолетними усилиями отечественных ученых М. Азадовского, Ю. Оксмана, С. Житомирской, С. Мироненко, М. Сергеева, наших земляков П. Рощевского, Л. Беспаловой и др. преодолен взгляд на сибирскую ссылку как на время «доживания» насильно выброшенных из Большой истории людей, стремившихся подтолкнуть время. Просветительская работа, государственная служба, научные изыскания в разных сферах, опыты в музыке и изобразительном искусстве подтверждают правоту утверждения декабриста М. С. Лунина: «Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь». Думается, что А. И. Васильев во многом разделяет эту позицию.

Сюжет романа неслучайно строится на движении – во времени и пространстве, в Сибирь и по Сибири: Баргузин, Акша, Иркутск, Оёк, Ялуторовск, Курган, Тобольск – с точным указанием пунктов назначения и остановок, расстояний в верстах. На каждой новой станции по Сибирскому тракту, продолжительные или краткие встречи с товарищами: братом Михаилом, семьей Трубецких, Волконских, Вольфом, Пушциным, Фонвизиным... Ни один встречный не похож на другого спустя годы сибирской разлуки: брат Мишель так естественно врос в новое место, хозяйствует на земле; Трубецкие все так же дружески расположены и все так же по-петербургски аристократичны; аристократизм Волконского будто сознательно силком отвергнут, но мужиком бывшему князю не стать все равно; дух искусства и интеллектуализма царит в тобольском доме Фонвизиных. При всей индивидуальности эскизно или более развернуто представленных в тексте характеров героев романа объединяет одно желание: по-своему быть полезными близким и далеким друзьям, совсем чужим людям – России. Справедливость первого заглавия романа многократно подтверждается текстом. Не только в медвежьих углах забрасывает судьба героев, но и в места, где начиналась история русской Сибири, прирастившей могущество России. «Живу на давней земле людей, по которой прошло столько людей, разных – дурных... и хороших, умных и глупых. Главное же – живу на давней земле людей, вышедших из нее и в нее ушедших, на святой земле. Вот и под этою мостовою <...> столько лежит плах и бревен, сохранивших сле-

ды живших до нас, доказывающих и показывающих существование их. Придут археологи, отыщут и прочитают следы, восстановят минувшую жизнь». Слова тобольской собеседницы Кюхельбекера Натальи Фонвижиной так созвучны поэтической надежде на будущее декабриста, тоболяка по рождению Г. С. Батенькова:

В пыли минувшего

Разыщет стертый след...

Но вправе ли питать такую надежду Вильгельм Кюхельбекер, все достояние которого – сундук с рукописями, над которыми после смерти их автора будут иронизировать самые близкие друзья? Недаром ведь герой романа отмечен безысходным чувством одиночества даже в окружении товарищей: «Такой я и есть, одинокое перекасти-поле», «Видимо, человека России не надо». Естественно было бы ждать в романе встречи с привычной по мемуаристике фигурой постаревшего Кюхли – неуклюжего, неумелого, странно женатого, не приспособленного к житейским обстоятельствам кондового быта.

Но роман А. Васильева не только о таком, а может быть, и совсем не о таком Кюхельбекере. И в первом, и во втором варианте тексту предпослан развернутый эпиграф из Пушкина: «<...> Мой брат родной по музе, по судьбе». Как всякий эпиграф, пушкинские строки дают ключ и к характеру героя и в целом к концепции автора. Почему Кюхля для Пушкина «брат по музе?» На это дал ответ сам Пушкин: «Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует». Но почему брат «по судьбам»? Ведь внешние обстоятельства их жизней были вовсе не схожи. Свой ответ в историческом романе о Кюхельбекере уже давно дал Ю. Тынянов, рассказав о братьях одного поколения, которым в столице и в «каторжных норах» одинаково нечем дышать: «их горло сжато безжалостной рукой, чьи пальцы не дрогнут».

Второй вариант ответа находим в романе тюменского прозаика. Ключом к нему является перемена заглавия текста – «Казематы его крепостей». Смысл названия кажется поначалу очевидно однозначным: роман посвящен узнику, которому так и не дано было дожидаться свободы, слишком рано он ушел из жизни. Но ведь слово «крепость» полисеманлично: это не только тюрьма, «тюремный замок», как говорили в эпоху Кюхельбекера, но и действительный замок, твердыня, твоя собственная опора. Что же является неизменной опорой для Кюхельбекера? Без сомнения – Литература.

В «Дневнике» В. К. Кюхельбекера ко времени пребывания в Тобольской губернии – Кургане и Тобольске – относятся лишь 44 записи объемом от 1 строки до 1 страницы. Сведения бытового, житейского

характера в них минимальны, как и во всем предшествующем корпусе заметок, начатых в 1831 году. Даже то, что, казалось, должно было глубоко трогать автора дневника (сообщения о детях, смерти друзей), остается на периферии его сознания. Зато в заметках о круге чтения, в критических ситуациях о современной литературе (Гоголе, Лермонтове) Кюхельбекер свободен духом и остр интеллектом. Споры и беседы с Пушкиным и Крыловым, которые являются ему в снах, для него более реальны, чем живые домашние. Кроме того, «Дневник узника и поселенца» предстает как своеобразное опытное поле литературных трудов и духовного просветления: записи включают и припоминаемые, и только что созданные поэтические произведения. Как в «Дневнике» реального Кюхельбекера, жизнь интеллекта, духа, просветляющего сердце, в романной истории героя Васильева тоже довлеет над реалиями быта – не только жалкого собственного, но и утонченного фонвизинского.

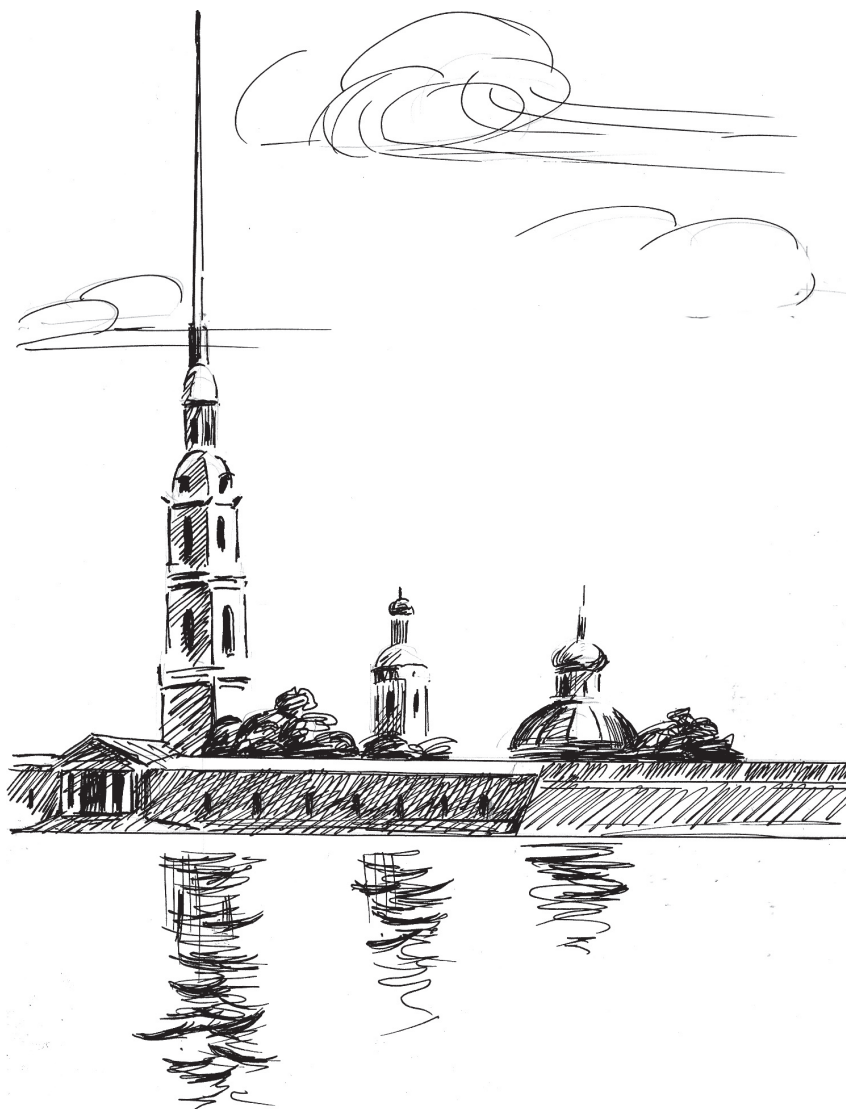
Но не только «крепости», а и «казематы» обозначены во втором заглавии романа. Благодаря этому исторический характер обнаруживает себя не просто как глубокий, но по крайней мере двупланный, если не полярный. Кюхельбекер – не только бескорыстный изначальный рыцарь Литературы. Он одновременно ее узник, ее заложник. Герой с гордостью говорит, что «у него Муза не мимоходом, уже с гостеваньем бывает». Но это «гостевание» на самом деле убийственная характеристика для поэта. Чтобы быть преданным паладином Слова, вовсе не обязательно иметь великий или даже большой талант. Так и происходит с Кюхельбекером. Но смутное поэтическое слово бьется внутри, как в казематном заточении, не давая покоя ни душе, ни телу. И только иногда Аполлон в награду за верность посылает своему жрецу строфу или только строку, но достойную самых великих:

*Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?
А были же когда-то вы согреты
Такой живою жизнью!..*

Автор романа оказывается более милосердным к своему герою, чем реальность. Своему Кюхельбекеру он дает предсмертное утешение: «Гордая мысль новым светом осветила нескладную жизнь. Пусть гибнет все, что он написал <...>. Главным в его жизни был Декабрь, он Декабрем более чем всем остальным причастен России как родине». Согласился ли бы со своим биографом Кюхельбекер? Ведь его никогда не бывшее лукавым перо вывело некогда: «Поэтом надеюсь остаться до самой минуты смерти».

Автор говорит с героем, герой говорит с читателем, идет диалог из-за 160 лет, прошедших со дня упокоения героя в земле Сибири, из-за 180 лет общего звездного часа его «братьев по судьбам» на Петровской площади северной столицы. Диаметр исторического сознания современника увеличился. Исторический романист А. И. Васильев по праву может считать свою задачу выполненной.

Наталья ГОРБАЧЕВА,
доцент кафедры русской литературы
Тюменского государственного университета.



*Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари...*

А. С. Пушкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1



На плац Первого кадетского корпуса смятенный сентябрь заносит желтые листья, им неуютно и сиро на голом камне: редкие – осень только-только вступила в город, коснулась крон – они беззащитны в полновластной отданности налетам ветра.

Генерал пред замершим строем поджар и молод, голос его глуховат, но тверд:



– С крайнею и сокрушающею сердце каждого сына Отечества печалию сим возвещается, что неприятель сентября 3-е число вступил в Москву. Да не унывает от сего великий народ Российский. Напротив, да поклянемся всяк и каждый воскипеть новым духом мужества, твердости и несомненной надежды, что всякое наносимое нам врагами зло и вред обратятся напоследок на главу их...

Кадету Рылееву видится наяву: не с деревьев на невской набережной слетают листья, но с Древа Славы Отечества.

С младенческих лет пугающая его тьма, темень наваливается от границ на Россию, заливают грады и веси, по маковки Сорока Сороков топят Первопрестольную. Столько великих воинов вышло из их корпуса! На этом плацу учились они твердости шага, коим шли сквозь огонь баталий, чтобы гуще и зеленее становилась крона на Древе, а он стоит здесь, чтобы слушать горестные слова и смотреть, как невский ветер заносит на корпусной двор сорванную листву.

– ...Неприятель занял Москву не оттого, что преодолел силы наши или бы ослабил их. Главнокомандующий по совету с первенствующими генералами нашел за полезное и нужное уступить на время необходимости, дабы с надежнейшими и лучшими потом способами превратить кратковременное торжество неприятеля в неизбежную ему гибель...

Ветер играет белым плюмажем генеральской шляпы, шевелит в руках листки Правительственного сообщения, по высочайшему повелению назначенного во всенародное известие. Генерал не меняет позы, голоса, слова произносит внятно, но чтение убыстряется – глаза опережают произносимое, ищут следующую строку. Это определено свыше: птицам – воздух, рыбам – море, человеку – отчизна вселенский круг.

Кадет заражается нетерпением генерала.

За каменной стеной, над Невой, заморосил дождь – просыпной, мелкий. Но будто не над Невой – над его коло-
тящимся сердцем. Ему семнадцать, его сверстники в офи-
церах, а он все в учениках, все под опекой преподавателей.

– Собранные и отчасу больше скапливающиеся силы
ваши окрест Москвы не престанут преграждать ему все пути
и посылаемые от него для продовольствия отряды ежеднев-
но истреблять, доколе не увидит он, что надежда его на по-
ражение умов взятием Москвы была тщетная и что поневоле
должен он будет отворять путь из ней силою оружия...

Кадет косит взглядом вдоль строя, видит: дождь мо-
росит и над сердцами его товарищей.

Пяти с половиной лет определен он в корпус. Две-
надцатого января восемьсот первого года зачислен волон-
тером в Подготовительное отделение, а через два месяца,
двенадцатого марта, переведен в Малолетнее. И при том
ничем не обязан случаю, имевшему быть накануне ночью
в Инженерном замке, почти рядом с его первым кадетс-
ким: дворцовый офицер провел заговорщиков, замыслив-
ших покунуться на жизнь императора Павла Первого, в
его опочивальню... Тысячи галок, ворон, слетавшихся
на ночлег в Михайловский сад, в то мгновение с шумом
и карканьем поднялись в небо, будто возвещая о конце
одного и начале другого царствований.

Ему пять с небольшим. Ему еще не на что оглядывать-
ся, он боится. Он не помнит, где жил до пяти лет, а после
пяти – в Батово, над речкой Оредеж, и только зажмурится,
чтоб оглянуться, – налетает издалека тяжелым мраком па-
пенька, хватает за волосы маменьку, волочит по желтому
полу, во дворе голоса бабы и бегут прочь, прикрывая ру-
ками затылки.

Они живут всяк по себе: папенька – в Киеве, матушка – в Батове, а он, Коня, – в Первом кадетском.

Он из знаменитых, кадет Рылеев. Из года в год, из рапорта в рапорт: «Рылеев!» Что бы где ни случилось, он ли, не он ли – Рылеев! Ему привычно: он ли, не он ли.

Темной ночью средь плаца возникает фигура в белом, с рыжею головой, светящимися изнутри провалами глаз, рта, носа, и возопиет: «Аллилуйя!». Корпус воззрится на диво дивное, ахнет: «Сатана!» – и, сознавая себя единой силой, ринется с этажей на страшилище. Но окажутся на плацу простыня, полая тыква со свечою внутри...

В сладчайший час сна, пред пробитием зори, промчится по лестницам кошка с привязанною к хвосту железною банкой...

В назначенной к смотру роте: белые панталоны, белые башмаки, тесак на портупее – не окажется киверов. Черными султанами на них поигрывают на конном дворе лошади...

– Это все вы, кадет Рылеев?!

– Все я, господин капитан!

«Господин капитан» – понеже старшие классы.

В младших преподавали аббаты – статские учителя, штафирки, в воспитателях были мамки.

Его секут, корпус сбегается на экзекуцию: в нежном возрасте состраданье открыто и искренне. Сбегается и молчит, слушая посвист розог.

– Добро бить того, кто плачет, – любомудрствуют рядом учителя Закона Божьего.

– Добро учить того, кто внемлет. – Обогащают мысль.

По воззрениям времени дитя до семи лет – младенец, после семи – отрок, после пятнадцати – юноша.

Ему семнадцать. В его сегодняшнем мире нет ничего, кроме Бородина, Москвы, России. Нет ничего возжеленнее эполет. Корпус с мая произвел три выпуска, он идет по учебе первым, но его всё обходят производством. Кто бережет его или кто препятствует?!

От розог до розог.

Времена террора в Первом кадетском, директорство генерал-майора Клингера, Фридриха Максимилиана, что по-русски Федор Иванович.

На судьбе кадета Рылеева события мартовской ночи восьмьсот первого года не отразились никак, для Фридриха Максимилиана тысячи птиц, поднявшихся в ночное небо над Михайловским садом, оказались предвестником отлучения его от императорского двора, неотъемлемой принадлежностью коего за двадцать лет преданности и прилежания он опрометчиво мнил себя. Чтец при цесаревиче Павле, он сопровождал его в путешествии по Европе. Князь Северный – цесаревич в чужих пределах скрывал, кто он – посетил в Цюрихе великого физиогномиста Лафатера, который без обиняков объявил, что его посетитель характер имеет взбалмошный, а будущее его трагично. Ему, Клингеру, уже тогда бы обеспокоиться своей судьбой, но пророчество мудреца, казалось, уходило за горизонт времен... В апреле восьмьсот первого он назначается Главнона начальствующим над Пажеским корпусом, вводится в совет при министре просвещения с одновременным исполнением должности попечителя Дерптского учебного округа и директора Первого кадетского корпуса – этими назначениями двор Александра Первого расставался с ним.

В белом халате и колпаке за семью дверьми кабинета возлежит он в вольтеровских креслах, сын прачки и лесоруба, давно забывший, что в родительском доме любимым

блюдом его была сырая говядина. Мундирный сюртук висит на болванчике – набитой тряпьем кукле, по-немецки называемой меннхен, по-русски – манекен. Генерал с утра до ночи в корпусе. Перед ним пюпитр, бумага, перо. Иоганн Вольфганг Гете, Якоб Михаэль Ленц и он, Фридрих Максимилиан, в свое время основали в литературе Германии собственное направление, названное по его, Клингера, пьесе – «Буря и натиск». В тридцати шести германских государствах Ленцу и ему, Фридриху Максимилиану, не нашлось места – их приютила Россия. Якоб Михаэль, одержимый болезнью духа, нищий, умер под московским забором, он, Клингер, не оставлен Богом, пригрет двором, у него выходят роман за романом. Он – классик немецкой литературы и, поговаривают шепотом, – отец великого князя Николая Павловича. Уж капля к капле.

– Каково?! – спрашивает генерал у манекена, прочитав написанную строку. От постоянного восторга у того вытаращены глаза. – То-то! – удовлетворенно откидывается в креслах Фридрих Максимилиан, то есть Федор Иванович.

Жизнь в Первом кадетском идет своим чередом.

Собачки и порка – два удовольствия у его директора.

Переваливаясь и косолапя, Белый Медведь, он сходит с крыльца, перед ним раскрываются двери псарни, выбегающие собачки выстраиваются в шеренгу вдоль проведенной линии. Он поднимает палочку, повизгивая от восторга – ими уже повелевают! – собачки поочередно воспаряют над нею. Азарт и усердие поворачивают иных совершить обратный прыжок, но псарь пресекает отклонения от ритуала.

Собачки ползут на брюхе к ботфортам генерала, пописывают от неизъяснимой преданности, растворяют глаза в слезах умиления.

– Карашо! – сияет сединой Фридрих Максимилиан

и направляется в длинные коридоры ко второму удовольствию: начинается час, названный его именем – клингерур, час Клингера, порки.

Он полнокровный немец – жесток и сентиментален.

Окидывая мир философическим взглядом, он делит человечество на людей и русских.

В тысяча восемьсот одиннадцатом году генерал Клингер произведен в генерал-лейтенанты.

В угрюмом одиночестве отметил он это событие записью услышанной от кого-то фразы: «Я солдат, не обирал никого, не грабил, никому головы не морочил, в безугольном доме жил, топил полатями, а все ж не без савана». На саване замкнулся круг размышлений: все-таки пятьдесят восемь лет. И все чуточку не так.

Зимой тысяча восемьсот одиннадцатого в Петербург отовсюду съехалось много молодых Муравьевых. В Главном штабе, на другом берегу Невы, но почти напротив Первого кадетского, среди офицеров оказался Николай Муравьев – семнадцатилетний основатель тайного общества «Чока» в Москве. Ему, живущему идеями переустройства жизни, пришлось на ум отправиться через пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, просветить их и основать республику. Идеями Николая загорелся младший брат – Михаил, хотя и пятнадцати лет, но уже прапорщик и дежурный офицер в Главном штабе, куда дорогу им проложил старший брат Александр, девятнадцати неполных лет прапорщик. В тайну «Чоки» младшие братья его не посвящали. Местоположением будущей республики определялся остров Сахалин, сочинялись и утверждались его законы. Для узнавания членами общества друг друга нужно было при встрече взяться правой рукой за шею и топнуть ногой, здороваясь, подавить на ладонь средним

пальцем и произнести на ухо: «Чока». Общество составляли родные и многоюродные братья Муравьевы да дватри их товарища. Собрания предполагалось проводить в особой комнате, предполагалось носить особую одежду: синие шаровары, куртку и пояс с кинжалом, в знак равенства – на груди две параллельные медные полоски...

Россия бродила. Неведомые ранее силы начинали движение в ней. Надвигалась война. Конные разъезды Бонапарта переступали с ноги на ногу у границы. Братья Муравьевы полетели навстречу небывалым баталиям. Местом действия их стал не Сахалин – вся Европа.

2

«В полевом сражении выстрелы за 500 сажень сомнительны, за 300 довольно верны, а за 200 и 100 смертельны...»

На поле Бородина командующий артиллерией Первой армии граф Кутайсов повел за собой в штыки пехотный батальон – и погиб. С тысяча восемьсот шестого воевал он с Наполеоном, в двадцать два года стал генералом.

Кадет Рылеев из урока в урок повторяет его общие правила для артиллерии в полевом сражении, с началом войны разосланные по войскам и учебным заведениям, и думает: его, Рылеева, дни теперешней жизни что артиллерийские выстрелы за пятьсот сажень – бессмысленны.

Месяц назад, уверенный в скором производстве, он повелел корпусной мелюзге называть себя Кондратий Федорович - никаких Коней-Кондрашей!

На каждом шагу корпус измывается над ним:

– Кондратий Федорович!

– Кондратий Федорович!

Давнишний друг Шуля Булатов будто накликал ему судьбу.

При императоре Павле место аббатов – преподавателей Подготовительного и Малолетнего отделений – заступили господа офицеры. Но слово не покинуло корпусных стен: аббатами стали называть воспитанников младших классов. В старших обитали гренадеры.

Каждому гренадеру полагалось иметь друга аббата.

Гренадер Булатов за такового держал кадета Рылеева, которому это льстило: род Булатовых древен, богат, переплетен корнями с родами княжеской крови. У Рылеевых дворянство куцее – Петром Великим возведен в него прадед Фома, род их вышел из простонародья и в простонародье остался.

Аббат нет-нет да учинит какую-нибудь каверзу гренадеру, а точнее – бедность богатству.

Шуля – огонь, пламень, для его жизни достаточны конь и сабля. Языки, книги придуманы на его погибель. Все, что он знает, – не высижено, схвачено на лету.

– «Никому не дано заступать на пост в состоянии подпития, – переводит гренадеру в библиотеке аббат положение о военных судах средних веков. – Коли на пост идет офицер пьяным, его надлежит, офицерского чина лишив, на три месяца отправить солдатом, дабы отучить от пьянства».

– Что это? – с привычной скукою спрашивает Булатов.

– Устав Российский воинский.

Шуля уверяется в истинности сего – и назавтра класс умирает со смеху при его ответе на серьезнейшем из уроков.

Ему вот-вот выпускаться, он жестоко мстит своему аббату. Кладет в коридоре руку на его плечо:

– Как сведущ ты в чинах офицерских? – Булатов быстр, и речь у него быстра. Вопрос с подвохом, но аббат отвечать обязан. – Каких рангов офицерские чины в русской армии?

– В пехоте обер-офицеры суть прапорщик, подпоручик, поручик, штабс-капитан, капитан. – Коня настороженно смотрит в глаза гренадера. – То же у саперов, в артиллерии. Штаб-офицеры...

– Правильно! – задирает голову Булатов. – Только тебе до них, как до генерал-фельдмаршала!

И улетает... А его слова оборачиваются правдой: выпуск за выпуском, но Рылеев все кадет, эполеты маячат перед глазами, но все никак не лягут на плечи.

В Смоленском сражении подпоручик Булатов – в полку, оставленном для прикрытия ретирады армии. Гренадерам, кому воинский артикул предписывает быть впереди атакующих, во стыд и срам сиденье в засаде. Подпоручик изводит просьбами батальонного командира: разрешите да разрешите! Ищет славы в свободной охоте.

– Иди! – сдается батальонный.

– Ребята! – ликует Булатов. – Кто со мной на молодецкое дело?!

В охотниках все. Приходится выбирать.

В летнем небе ни облачка – синь, солнце. Тяжелую желтизной налиты созревающие хлеба.

Охотники идут леском в версте от дороги, таятся: пошел за неприятельской головой – и свою неси. До них долетают смех, песни. Подпоручик подает знак остановиться, скрывается в кустах. Минута, другая, уже и неизвестно сколько, а его нет. Там басурманский говор был тих, стал громок. «Проворонили командира! – Зыркают друг на друга солдаты. – Не пора ли со штыками наперевес?» Но он тут как тут, с полыхающими глазами, с румянцем во всю щеку – девятнадцать лет подпоручику.

– Там у них штаб. Шатры разбивают, – шепчет.

По взмаху его руки расступились цепью, пошли – и враз:

– Ура!

Белыми грудями опадают шатры, солдатам в синекрасных мундирах дай Бог унести ноги. Кто поотважнее, схватит ружье, отстреливается на бегу. Но куда там!

Поручик размахивает саблей, подает команды и чувствует в себе силу, способную один на один выстоять против целой армии.

Его метит пуля, но лишь добавляет ему восторга.

– Перед кем отступаем! – и честит царя, генералов, Бога.

В батальон его приводят под руки.

Он стоит перед командиром, кричит «ура» и хохочет.

В Бородинском сражении Булатов с новой командой охотников врывается в ряды атакующего неприятеля, так далеко и надолго отрывается от полка, что его считают погибшим.

– Тебе ничуть не жалко жизни? – спрашивают его товарищи, когда он с горсткой уцелевших солдат возвращается в отведенный на отдых полк.

– Что проку робеть, – смеючись отвечает он, – рока не минуешь, а натрясешься.

На поле Бородина смертельно ранен сын генерал-лейтенанта Клингера капитан Александр Федорович Клингер, офицер русской армии двадцати одного года от роду.

Октябрь.

В Первый кадетский свозятся из всех корпусов выпускаемые досрочно. Артиллеристы, драгуны, пажы, саперы – решительные, красивые выстраиваются в парадной зале.

В недоступном обособлении высятся господа генералы.

Завистники льнут к окнам, заглядывают в полуоткрытые двери.

Генерал в конногвардейском мундире – белое с красным – сутулый, среднего роста, с коротким носом на невзрачном лице, бегают перед шеренгами, покрывает хриплым голосом, топорщит рыжие клокастые брови – его высочество великий князь цесаревич Константин Павлович. Задает отрывистые вопросы, ставит мелом каждому выпускаемому на правом плече отметины; кому крест, кому круг, кому четырехугольник. Следующий по пятам адъютант что-то записывает в книжицу.

Цесаревич заканчивает беганье – счастливых разводят каждый к себе генералы: отметины на плече означают полк, в коем служить офицеру.

3

«Когда еще не примечено настоящее намерение неприятеля, то батареи должны состоять из малого числа орудий и быть рассеяны в разных местах...»

Он повторяет из урока в урок истины, постигнутые графом Кутайсовым, а кто-то руководствуется ими в деле.

Мир живет без него и не им.

В окне на невской набережной облетела листва, а кроны на Древе Славы становилась гуще и зеленее.

В углу класса он складывает руки на стопку учебников. А рядом веселье – кто-то принес и читает эпиграмму:

*Зачем Наполеон из отдаленных мест
Тащил в Москву свое тщеславие геройско?
Затем, чтоб, потеряв сокровища и войско,
С Иван-Великого снять деревянный крест.*

Победоносный смех собратий раздражает его, злит. Кондратий Федорович обдумывает письмо к отцу. Отечество много претерпело от Врага Вселенной. Он, Рылеев-младший, хоть сейчас готов встать под боевые знамена.

Его лета и успехи в науках дают право требовать чин офицера артиллерии, который ему лестен, но не чем иным, как счастьем приобщиться к числу защитников Отечества, царя, алтарей земли святорусской и тем возблагодарить монарха за попечение о нем во все время пребывания в корпусе.

Он родился восемнадцатого сентября семьсот девяносто пятого, в Аринин день, отлетный для журавлей. Им по всей Руси кричали вослед: «Колесом дорога!» Чтоб не забыли пути назад. Будто ему кричали. Он слышал в себе тот крик отземный, полный глухой надежды.

Стопка учебников под руками незаметно оказывается подушкой. Вместе со сном к нему возвращаются кошмары.

– Карош день, да бить некого!

Корпус светел, как леса над речкою Оредеж, но ходит по его коридорам директриса Бертгольд с тяжелым немецким выговором, с тяжелым рукоприкладством. Сама дерется и смотреть ходит, как другие дерут.

Своя мамка бья не пробьет, чужая глядя прогладит.

У него матушка сама немка или шведка, да руки у нее добрые, так утайно прятали его голову, укрывали, когда теменью на них наваливалась отцовская ненависть.

На нем мундир темно-зеленого сукна, с красным воротником, фуражка с красным околышем – мундир, любимый Петром Великим, артиллерийский. Он Коня для друзей и для матушки, для корпуса взрослее, значительнее – Кондраша. Он воин, по побудке ему легко расставаться с постелью, как она ни ленива, легко умываться ледяною водой. Он мужчина. Пусть теперь попробует папенька избивать матушку, садить в погреб без воды и хлеба!

Чистописание, рисование, русский язык и словесность – он многому учится для взрослой жизни - немецкий, французский, география, Закон Божий...

Мужчина, воин, а в воспитателях мамки да немецкая директриса Бертгольд. Быстрее бы перебраться в старшие классы!

Сон отлетает от глаз, он распрямляет спину, потягиваясь. «А сейчас быстрее бы эполеты!» – думает. И продолжает мысленное письмо к отцу в Киев, высказывает вычитанные суждения: праведники умирают за веру, герои – за Отечество, доблестные – за правду. Он не тратил впустую время в корпусе, постигал мир и счастлив сказать, что как офицер соединит в себе все эти три ипостаси... Но умирать прежде смерти не надо. Жизнь только начинается, он чувствует: ему определено сделать что-то такое, что осласчастливит человечество... Он будет проситься в конную артиллерию, конная служба ему вообще нравится, а если еще и артиллерия, то о большем молодому человеку и мечтать нечего. Он просит у родителя благословения: «Иду воевати на вои!»

Веселым сиянием эполет манит кадета даль жизни, подвигает идти чрез порки, прусские экзерциции, карцеры. Чем ближе заветный день, тем звонче и уязвимей нетерпение сердца.

Несправедлива жизнь к Кондратию Федоровичу.

Так понятен ему сейчас – Шуля Булатов, возжелавший славы немедленной – во что бы то ни стало и до выпуска!

У Шули нет матери. Отец-генерал в постоянном отсутствии – воюет. Но в Петербурге у него бабушка – и она вывозит внука в свет, на балы, готовит ко взрослой жизни. В нем кровь азиатская, не течет – кипит в жилах. Он прилетает с бала, хватается Кондрашу за руку, увлекает в аллеи.

– Святые отцы правы – ангелы есть, своими глазами видел. Голубые крылья, воздушные! – Шуля белокур, у него серо-голубые глаза, об его азиатности и не подумаешь. Рвет ворот мундира, полыхает: – Ручонки, Бог мой!

Грех дотрагиваться. Только губами, только в святое причастие! Выйду из корпуса – женюсь!

Ночи просиживает над письмами: рвет в клочья, взбрасывает обрывки над головой – не может найти слов, выразить чувств не может. А ей все равно, есть он на свете нет ли. Не читает написанного. Дядька рассказывает: возьмет письмо рукою в перчатке, поднесет к носику. «Казармой воналит! – скажет и бросит на пол, кликнет горничную: – Матрешка, убери мусор!»

Кондрашу на балы возить некому.

У Федора Андреевича Рылеева, подполковника Эстляндского полка, и его супруги Анастасии Матвеевны, урожденной Эссен, семейное счастье не складывалось: умирали дети, едва родившись, умирали. «Как этого понесут к купели, – советовали при его рождении старухи, помнящие верное средство, – пусть первый встречный муштина станет крёстным отцом, а первая баба – крёстной матерью».

По их верованию полагалось младенцу дать имя крёстного, тогда он проживет столько, сколько будет жить тот.

Первыми встретились инвалидный солдат и нищенка... Вот они с матушкой и перебиваются с пуговки на петельку.

Кондрашу на балы возить некому – и это к лучшему: в свете легко потерять голову. Шуля Булатов ищет свою скорую славу даже там, где ее искать не дозволено.

– Вы на выпуске отдаете честь левой рукою, кадет Булатов!?

– Правая у меня для Бога, господин подполковник!

Офицер не верит своим ушам, не находится, что ответить.

А Шуле надо, чтобы Россия произносила имя его перед утренней и вечерней молитвами, в часы между ними.

Ему надо, чтобы мир сегодня услышал о нем. Сегодня его мир заключен в ней...

«...По колоннам и массам стрелять ядрами, полным

зарядом и гранатами, иногда с уменьшением пороха, дабы они рикошетировали и разрывались, ложась в самой колонне; картечью же по колоннам стрелять только в то время, когда они в близком расстоянии, ибо действие ядер на них смертельнее...»

Граф Кутайсов зовет в сражения, но корпус держит кадета Рылеева в своих стенах, в своих прошлых днях, не отпускает.

Война разлучила братьев Муравьевых: Михаилу и Николаю приказано состоять при штабе гвардейского корпуса под командованием великого князя цесаревича Константина Павловича, Александру – при главной квартире в Вильно, в свите его императорского величества по квартирмейстерской части.

Адъютантские аксельбанты на груди братьев мотались из стороны в сторону при лихой скачке их от полка к полку, от дивизии к дивизии, от корпуса к корпусу: армия отступала, для удержания ее в порядке начальство слало в войска приказы, циркулярные предписания, диспозиции.

Без постоянного места нахождения, без котлового довольствия, без денщиков и слуг они сами ходили за своими верховыми лошадьми, убирали, кормили их и себя чем придется – всё сами и всё впервые. Не каждому дано броситься в реку и плыть, не умея плавать. В самом плачевном состоянии оказался Александр: он потерял слугу и выюк – оказался без всяких средств к существованию. Братья обнаружили его в Дрисском лагере, лежащим на улице, под окнами квартиры его начальника генерал-квартирмейстера. Александр едва мог говорить, у него язык и десны покрылись язвами.

– Ваше превосходительство, – приступали к генерал-квартирмейстеру братья, – отдайте нам в корпус Сашу хотя бы на время, мы его выходим.

Генерал уступил просьбам.

Нуждающимся во всем братьям вместе стало легче содержаться, их лошади получали корм, были подкованы, у них самих каждый день похлебка, картофель с сухарями, иногда даже чай. Нашелся бедолага слуга Александра – старший по чину и возрасту Муравьев быстро пошел на поправку. Младшие заподшучивали над ним:

– Заматерел, бычок, заматерел!

– Здоров, как бык, да не знаю, как быть, – отвечал старший, маюшийся угрызениями совести: все при деле, а он при постели.

– Чего не знать, – отвечал Михаил, коему и шестнадцати еще не стукнуло, – арьергард в постоянных стычках с неприятелем...

– Сабельку в руки – и туда, – продолжал Николай, коему не стукнуло и восемнадцати.

Александр подумал: действительно, гвардию долго-долго не введут в дело, а время идет. И отпросился до вечера съездить в сражающийся арьергард.

Решительное расхождение того, что было на поле боя, с тем, что существовало на штабных картах, привело его в недоумение. Он спрашивал артиллерийского офицера, при батарее коего разрешено было быть:

– Что за черные заборы там? – и показывал вдаль рукою.

– Французская пехота, – отвечал, удивленно взглянув на штабного, артиллерист.

Штабной ярко зарделся, но любопытство пересилило стыд:

– А что это там, будто вверх обращенная гребенка?

– Эскадроны кавалерии, – ответил и перешел к прислуге офицер.

Началась баталия – в душе свитского подпоручика все стало на свои места. Увиденное восхитило его: бой – первое наслаждение героя. Не туши его, а разжигай. Солдата мать родит, отец растит, а бой – учит. Захлебываясь восторгом, делился он с братьями своими приобретениями. Братья слушали, завидовали и понимали, что стихия сражения – их стихия.

– Почему мы как раки пятимся? – горячился Александр. – Потому что нами командуют немцы. Не Барклай-де-Толли называется в войсках наш главнокомандующий, но Болтай да и Только!

Братья бурно разделяли его возмущение, вспоминали, как много их, домашних немцев, было у них в Главном штабе, вспоминали, как разыгрывали их чтением будто бы одного указа царя Алексея Михайловича: «Учали находить на царство наше разные еретики и немцы, и мы, собра свои бояре, архиереи и думные люди, положили оных немцев в нашу царскую службу не принимати, селить их на Грязной речке и считать их на черной доске». Год назад сослуживцы-немцы и сами чтецы принимали сие за шутку, ныне все говорилось и делалось всерьез.

Подпоручик Александр Муравьев дежурил при цесаревиче, когда у того шло совещание генералов, на коем отступление армии объяснялось предательством в высших кругах. Великий князь вдруг вскочил, крикнул начальнику своего штаба:

– Курута, поезжай со мной! – вылетел из дома, вскочил на лошадь и поскакал к главнокомандующему. Штаб и свита – за ним.

Барклай находился в открытом сенном сарае, откуда просматривал местность и отдавал приказания. Константин Павлович без доклада ворвался к нему, не снимая шля-

пы, тогда как главнокомандующий был без оной, и грубым голосом закричал:

– Немец, шмерц, изменник, подлец, ты предаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде. Курута, напиши от меня рапорт к Багратиону, я с корпусом перехожу в его команду! – и продолжал исторгать громкие ругательства.

Расхаживающий взад-вперед Барклай от неожиданности сначала остановился, потом, ни слова не говоря, продолжил размеренное хождение.

Натешившись, великий князь выбежал из сарая, вскочил в седло. Дорогой оборачивался назад и весело восхищался собою:

– Каково я этого немца отделал!

Веселое настроение не покинуло его и тогда, когда часа через два он получил предписание сдать корпус и убыть из армии.

Провожать великого князя пришло неисчислимое множество людей, несколько офицеров самовольно оставили службу и последовали за ним в Петербург...

В Бородинском сражении Александр Муравьев состоял адъютантом при Барклае-де-Толли – он после назначения Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим оставался командовать Первой армией.

С шести часов утра до девяти часов вечера кипело это побоище: пехотный, ручной, бой на штыках, кавалерийские атаки, непрерывный артиллерийский огонь – во весь день он не прекращался ни на минуту. С обеих сторон падали раненые и убитые, кавалерия скакала по ним, волоклись орудия, горы мертвых тел лежали на пространстве четырех верст. Главный удар французов приходился на левый фланг. Барклай стоял в центре. Оскорбленный подозрительностью, неприязненным к

нему отношением армии, он не выходил из сшибок – искал смерти. Почти все офицеры его штаба и свиты были убиты или ранены, его же миновали пуля, штык, сабля – смерть миновала.

От бородинской пушки под Москвой дрожала земля.

Француз боек, да русский стоек.

– Сашка, – прокричал скачущий куда-то с левого фланга, с батареи Раевского, знакомый офицер, – твоего Мишку то ли ранило, то ли убило, сам видел: упал вместе с лошадей. – Прокричал и исчез в дыме и грохоте.

– Ваше Высокопревосходительство! – под пулями и картечью горячил коня пред генералом Барклаем-де-Толли подпоручик Муравьев, – отпустите поискать брата! – умолял, а за его спиной лошади и колеса пушек топтали, калечили человеческие тела.

Барклай отпустил.

Три часа метался подпоручик по полю брани, но ни среди мертвых, ни среди раненых брата не обнаружил. Ночью повторил поиск – все то же. Утром узнал: раненого, его везут в Москву. Барклай во второй раз был милостив – отпустил своего адъютанта сопроводить брата до конечной станции...

За Бородинское сражение подпоручику Муравьеву пожалована Анна четвертой степени на шпагу, за Вязьму – при преследовании бегущего из Москвы неприятеля – золотое оружие. Впереди Березина и граница, но на подходе к ним бедолагу опять сражает болезнь. В разоренной войной деревне его отыскивает средний брат. Больные и раненые, русские и французы в нестерпимом смраде лежат на полу избы. Слева у двери умирает в судорогах русский драгун. На руках хозяйки заходится в крике грудной ребенок. «Муравьев, ты здесь? Я, Николай, приехал, прослышав, что ты больной». Из-под лавки раздается голос Александра: «Спа-

сибо, я действительно в дурном положении». Утром его отправляют в Москву на лечение.

В простых санях, укутанный тулупами и шальями, Наполеон бежал за Березину. В болотистый берег ее вмерзли тысячи трупов лошадей, солдат, женщин, детей. Над царством мертвых поднимались в мертвое небо оглобли фур, колясок, жерла пушек. Единство времени и пространства разрывали сожженные и обрушенные мосты.

4

Снег, утопанный солдатскими сапогами, черен. По наведенному мосту напряженная масса войск медленно переливается с одного берега на другой, медленно на одном увеличивается, на другом медленно уменьшается.

И тут поручик Булатов, разлетевшийся в галоп! Он известен всей армии. Даже в глазах генералов восхищение: «Весь в отца!»

Генерал-майор Булатов, герой Измаила и Очакова, с берегов Дуная со своим полком точь-в-точь подоспел к Бородинской баталии, за подвиги в коей получил императорское благоволение и рескрипт.

Вокруг Булатова-младшего немедленно образован кружок молодых офицеров – чтут за честь гарцевать в компании любимца фортуны.

– Хоть в розненьких башмаках, да не босиком! – кивают на трупы солдат разгромленной армии.

– Приробели воробы от ястреба!

А он видит: под копытами его коня валяется шишак французского офицера – белый орел на красной меди. Подхваченный вмиг затеей, вымахивает из седла, поднимает находку, бегом спускается к проруби. «Чего это он удумал?» – переглядываются офицеры, сгрудив лошадей над берегом.

Он поднимается будто с медною чашей на вытянутых руках:

– Изопьем победной водицы!

Совсем иначе могла бы сложиться жизнь у Александра Михайловича.

...Аллеи длинные, понур вид приятелей. Кадет Рыле-ев переживаниями терзается не меньше кадета Булатова: «Как помочь Шуле добыть великую славу?»

Израстая, Коня дурнел лицом. «Цвибель, – простона-родный его нос называл населенный немцами корпус. – Лу-ковица!» По-русски шутки были изысканней: «Два только глаза, да и те за носом». Кондраша бросался с кулаками на обидчика, колотил, сдачи не получал, получал розги.

Шулин нос аккуратен, чем тоже неугоден корпусу.

«Меж глаз нос пропал!» – будто между прочим произносили при нем и убегали. Только от Шули не убежишь: настигал, сбивал с ног, валтузил, пока не оттаскивали. Он вырывался, кричал, глаза его стекленели – смотреть в них было невыносимо.

Он из непривыкаемых, Булатов.

Всякий день жизни что-то решал в его судьбе, всякий день он не жил – полыхал, не бежал – летел, не говорил – захлебывался словами, будто боялся, что не успеет выговориться...

Человек – душа нараспашку, а идет скрытничает, хранит план втайне: он славу добудет тем, что оконфузит КЛИНГЕРА!

Из всех его решающих дней – этот самый решаю-щий. Перед выходом господина директора к первому удовольствию Шуля пробирается в псарню, заранее прирученные собачки облепляют его, вскакивают на ко-лени, лижут лицо, в преданности и восторге не замечая,

как разделяет он их на пары, связывает правую и левую передние, правую и левую задние лапы пар: собачки выбегут на линию, выстроятся, а как прыгать – начнется потеха. Клиндер постоит-постоит и – считае́мый невозмутимым! – разразится криком, затопчет ботфортами, угро́зит палкой. От хохота умрет корпус, весь Петербург! Хо́хот до́йдет до нее вместе с именем Александра Булатова!

Фридрих Максимилиан вышел, встал в позицию, поднял палку.

Шуля спрятался за колонную-постаментом для бюста какого-то мужа древности. Кто где прятались зрители – или оповещенные, или прослышавшие, или определившие чу́тьем, что здесь что-то должно совершиться.

Псарь, спотыкающийся в торопливости, отпер дверь.

В ее полумраке – упорная тишина.

Белый Медведь вопросительно поднял голову – мгновение затягивалось.

И вдруг из разверстого полумрака с визгом и твяканьем вывалился клубок тел, закрутился на месте – рычание, лай, судорожные попытки отсоединиться одному собачьему телу от другого.

За колоннами, за углами, в кустах прыскали в кулачок свидетели и глашатаи славы Шули Булатова.

Белый Медведь опустил голову, поманил пальцем дежурного офицера.

– Айн хундерт фюнфцихь! – сказал. В его лице изменений не произошло. Но он все-таки волновался: заговорил на немецком. Поправился: – Сто пятьдесят!

По утвержденному им преysкуранту за обычный проступок кадету полагалось пятьдесят розог, за проступок позанимательней – сто, за чрезвычайный – сто пятьдесят.

– Найти и представить! – распорядился он. Повернул-

ся и не спеша отправился за свои многие двери, отказав себе во втором удовольствии.

Дежурный офицер опустил руку от козырька, взглянул на неуспокаивающуюся свору, скривил лицо – и ну поддевать ботфортом пару за парой, распинывать.

Шуля колотился головой о колонну: славы не получилось, просто шумок, не стоящий ни полушки. Зато что будет! Найдут, представят Клингеру – и нет Булатова, ни надежд его, ни желаний.

Кондраша не находил себе места. Когда-то в размышлении над собственной особой он обнаружил, что мир его раздвоен: внешний кажет на людях кадета Рылеева весельчаком, сорви-головую, внутренний живет постижением тайн человеческого бытия. Обнаружил и сказал себе: пусть в нем обманываются, видят лишь внешнего. Булатов стер грань между мирами – оба они переполнены тревогой. Все было и все обещало быть у Шули – теперь ничего не будет: ни эполет, ни славы, ни ангела с голубыми глазами... Учитель закона божия поднимал на уроке перст: «Бог сказал: никто в этой жизни не может явить большей любви, чем положивший душу свою за други своя». Розги не в позор Кондраше. Есть высшая честь.

Он бежит длинными коридорами – решительный, бесповоротный, с одной мыслью – успеть.

В кордегардии мало света, лица неразличимы. Взбужденные глаза не найдут, на ком остановиться.

– Это сделал я! – запыхавшийся, выпаливает он человеку, сидящему за столом: – Я!

Его секут – сажают в карцер на хлеб и воду. В «тюрьму».

– Опять Рылеев! – любомудрствуют в коридорах тяжелобородые святые отцы. – Красно на вид яблоко, да разума нет.

– Разум душе во спасение. Богу во славу.

Света в карцере не полагалось.

Окно над дверью едва угадывалось в полумраке, переплеты его размыты и крестом лежали на противоположной стене – холодной, в потеках.

Ему вспоминался погреб, налетающий папенька да руки маменьки, прячущие, укрывающие его, Кони, голову. Может быть, оттого и помнит он мало из своей ранней жизни: из укрытий многого не увидишь.

О чем могла думать маменька в погребке? О том, как избавиться от папеньки да поднять на ноги сына. Вот и подняла! Пробыют барабаны, подойдет каптенармус, обратит его из кадета на двадцать пять лет в солдата – и род их, не выйдя из нищеты, в нищете сгинет – ветвь Федора Андреевича Рылеева. За тем ли прадед выбивался из солдатчины, чтобы правнук в нее возвратился?!

Он не жалел о сделанном. Он недавно читал Вольтера и решительно принял мысль: геройство – не что иное, как величие души, нет героя с низким, пресмыкающимся сердцем.

Он чувствовал себя бездомным, прощался с корпусом, прощался всерьез, и слезы его были сухими.

Сухие слезы не застыт глаз...

Кадет Рылеев пишет стихи, поклонники пророчили ему пиитическую будущность, но он будущий офицер. Поэт – это выше, больше, но офицер все-таки так много, что в нем может быть и поэт, и художник, и философ. Вот они пусть попробуют быть офицерами!

Только ему ли заноситься даже в мыслях?!

Человек сам себе убийца.

Поверженный, смятый Шуля лежит в дортуаре на койке, натягивает одеяло на голову. Хотел взлететь в поднебесье, а рухнул в пропасть. Его спасает Кондраша, пред-

назначающееся Булатову может достаться Рылееву, но как оставаться в корпусе, которому известно все?! Дославился человек до позора.

Корпус знает, кто он, Булатов, а кто Рылеев. Пойти бы к Фридриху Максимилиану, сказать правду. Но он не пойдет, не скажет, это все равно что пойти и сказать: «Хочу в солдаты!» В солдаты. Боже правый! Залы дворцов гасили огни, голубой ангел терял очертания в полумраке... Посрамлено то, что дороже жизни – честь. Первое его решающее обстоятельство, поставившее в тупик. Вспомнилось, засветилось лицо Кондраши, расширенное ко лбу, будто затем, чтоб вместить глаза: в них сочувствие, понимание, слезы. Вспомнилось, засветилось таким, каким увиделось перед тем, как он посмел не остановить его, не опередить!

– Аа-а! – закричал безысходный Шуля. И опять явился ему Кондраша с пересказом прочитанного романа Гете. В «Страданиях молодого Вертера» – те же безысходные обстоятельства: погибающая любовь, отчаявшийся молодой человек, кончающий самоубийством. Зачем влачить жизнь в страданиях и позоре?! В Писании сказано: из земли пришел, в землю вернешься. Не лучше ли самому определить свой уход?! Разжалобил себя загробными рассуждениями, закорчился в крике: – Повешусь! – улетало в дортуар с его койки. – Зарежусь! – и еще устрашающей: – Утоплюсь! – На этом смолкло мокрое шмыганье: вспомнил, что почти офицер, выкрикнул: – Застрелюсь!

Доктор Зеленский – достопримечательность корпуса: себе никакого внимания, фельдшерам, санитарам – палочки, а кадетам – любовь, коей отдавал себя всего без изъятия, посему семьи не имел, жил в учительском флигеле, на конюшенном дворе, ел то, что ели воспитанники, спал столько же, сколько они, лишь на час позже ложился да на час раньше вставал.

В пустующем дортуаре наклоняется он взлохмаченной головой над притихшим Булатовым:

– Горячкой маетесь, Александр Михайлович, от лазарета бежите. Христос с Вами! К нам даже государи захаживали, не сторонитесь, – сдвигает край одеяла с плеч, безвольный Шуля не сопротивляется: – Поднимитесь. Вот так, вот так. А теперь мундирчик наденьте.

В тишине лазарета, в ненарушаемости одиночества он успокоенно признавал правильность своего выбора и прощался с миром. Жизнь до нее была полна света, отлажена, справедлива была жизнь до нее. Теперь стала невозможной. Жаль одного – он не стал знаменитым, известным. Известным хоть в какие лета умирать можно. Ну и пусть! Ему все равно. «Ваше превосходительство! – ложится ровно строка. – Покушенья злодея, подобного мне, ужасны; утешеньем ему может быть только смерть!...» Далее изъясления благодарности господину директору, столь много души отдавшему ему, объяснение невинности кадета Рылеева... Пусть похоронят его без попов, пусть бабушка не плачет, пусть папа оправдает его пред людьми и Богом... Запечатал конверт.

Стреляться оказалось не из чего, зарезаться нечем, вешаться негде, решил-таки утопиться.

– Куда это он ни свет ни заря?! – насторожились дежурные в батальонах, глядя, как в предрассветных сумерках Шуля взбирается на корпусную стену. – Не иначе, решил топиться! – предположили, озоруя мыслью.

Учинили погоню.

Шуля не давался, отмахивался руками, ногами отпывался, отбивался головою – и все тянул к реке. Головой и упал в нее, опрокинут. Только голова и побывала в воде.

– Охладился?! – зашутили догоняльщики.

Фридрих Максимилиан полулежал в креслах, читал записку Булатова. Столько лет прокатилось, десятилетий после выхода «Вертера», а поколения помнят о нем, читают, и – пагубное влияние гения! – нет-нет кто-то последует дурному примеру... Племянник одного из статс-секретарей Екатерины Великой, Мишель Сушков, автор повести «Российский Вертер» и многих стихотворений, покончил с собой. Его поступком развратились многие. Сенатор Вырубов в два месяца лишился двоих сыновей: сначала один пустил себе пулю в рот, потом другой. Шестнадцатилетний Мишель Сушков писал: «Когда я рассуждаю о свете, то нахожу в нем два рода людей: обманщиков и обманутых, а если есть некоторые ни того, ни другого числа, то их мало, они могут называться вырожденками...» Эти рассуждения были близки к рассуждениям тогдашнего сорокалетнего Клингера: «Я хочу знать назначение человека, причину существования зла в мире. Я хочу знать, почему праведник страдает, а порочный человек счастлив...»

Он потянулся за чубуком.

И тут доложили о приходе генерал-майора Булатова. Булатов-старший – воплощение бури и натиска: с порога, едва отприветствовавшись, едва разместившись в креслах, заговорил и не остановился, пока не привел разговор к логическому завершению:

– Ваше превосходительство, Федор Иванович! Когда бы на дятла не свой носок, никто б его в лесу не нашел. Таков мой пострел – временами шаль на него находит, да на каждую шаль-то выросло по лозе. Мир мудр. – Булатов-старший – известный отличной храбростью воин, на теле его двадцать восемь ран – более чем у кого-либо в армии. Он подтянут, скороречив, смуглостью щек оттенена седина усов, любопытная только на кончиках, будто они у него заиндевелые. – Федор Иванович, языком не расскажешь, так

пальцами не растычешь. Мой грех до меня дошел, за свои вины наказан, — он взывает к философским обобщениям, к философскому великодушию, а Федор Иванович любит суворовским орлом, суворовской речью. Корпус на своем веку повидал, может быть, все, кроме людоедства. А что по сравнению с ним содеянное кадетами имярек?!

Клинггер польщен обращением — Федор Иванович! — заморожен речью. Булатов еще не высказал заключения, как улыбающийся Федор Иванович поспешил с заверениями:

— Я склоняюсь к вашему мнению, Михаил Леонтьевич!

В строгом приказе по корпусу названы вины искателей быстрой славы, в наказание им зачтено время пребывания одного в лазарете, другого — в карцере.

5

ИЗ ПРИКАЗА ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА КНЯЗЯ КУТУЗОВА 21 декабря 1812 года

«Храбрые и победоносные войска. Наконец вы на границах империи. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, поднятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед: два месяца кряду руки ваши каждодневно карали злодеев. Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме личного спасения... Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажут им ясно, что не порабощение их и не суетной славы мы желаем, но идем освободить от бедствия и угнетения даже самые те народы, которые вооружились против России...»

Новый год.

Кадет Рылеев так и не стал Кондратием Федоровичем. Во всем Петербурге нет дома, где б не горела, не сияла игрушками елка. В прошлом веке вошла она в новогодние празднества русских и осталась в них. Завороженных чудом детей ставят в круг, одаривают подарками. Взрослые уходят в комнату для гаданий, перемольвливаются словами, повторяющимися из года в год:

– Как ни думай, ни гадай – неминуемого не минуешь.

Человек гадает, а Бог совершает.

Кадеты разъехались по домам, он один в пустующем классе. «Та минута, которой достичь жаждал я, не менее как и райской обители священного Эдема, но которую ум мой, уstraшенный философами, желал бы отдалить еще на время, быстро приближается...», – писал он отцу осенью. И просил прислать на приобретение офицерского гардероба денег – две с половиной тысячи рублей. Да-да, две с половиной. Батюшка ответил: «Ах, любезный сын, сколь утешительно читать от сердца писаное, буде то сердце во всей наготе неповинности откровенно и просто изливается! Сколь же напротив того человек делает себя почти отвратительным, когда для того и повторяет о сердечных чувствованиях, что сердце его занято одними деньгами...» И советовал приезжать к нему в казенном мундире: «На что же существуют щедроты Общего Отца нашего, как не за тем, чтобы ими пользоваться».

Батюшка приезжал к нему в корпус два года назад – непонятный, медлительный, с тяжелым взглядом. Удивился:

– Эка вымахал ты, братец!

– Да странно ли, батюшка, за десять лет-то! – удивлялся и Коня. – Скоро в офицеры выйду.

– И то верно, сынок, и то верно, – батюшке вспомнился далекий год, когда он привез сюда своего пащен-

ка – далекий и тихий, но полный тяжких предчувствий. Посидел рядышком, повздыхал: – Господи, годы-то как от нас убегают! – с важностию достал портмоне, одарил сына пятнадцатью рублями: – Возьми! – подержал портмоне открытым, покачал головою: – Перенищали мы все.

Отец, может быть, за душой и имел только эти пятнадцать, а он ему сейчас – две с половиной тысячи...

Война уходила туда, оттуда пришла.

Двадцать второго февраля генерал-майор Чернышев овладел Берлином.

Прошел слух: в мае лучших кадетов произведут в офицеры.

Четырнадцатого марта подпоручик Александр Муравьев из Москвы пишет в Торжок, в имение Прямухино кузине Бакуниной:

«...спасибо за определение счастья, оно совершенно соответствует моему образу мыслей. Как вы справедливо говорите, счастье действительно в удовлетворенности ума и спокойствии души... Может ли моя душа хоть мгновение быть спокойной, когда я, одержимый честолюбивыми мечтами и горячей жаждой славы, не имею надежды достичь того, к чему я стремлюсь?

Вот уже неделя, как я поправляюсь, да так, что и вообразить себе этого не мог. Я чувствую себя больным лишь изредка, мои мундиры стали мне так узки, что с одним, уже полностью для меня непригодным, я должен был расстаться, а другой расшить, на сколько это было возможно... Лишь одно меня печалит: я еще не знаю, смогу ли к вам заехать по дороге в армию; я ожидаю петербургской почты, она должна прибыть завтра, и в четверг я это вам сообщу...

Что касается женитьбы, дорогая кузина, то неужели вы советуете мне жениться по здравом размышле-

нии?.. Вы можете советовать мне это, если хотите, но знайте же, что я женюсь не раньше, чем завоюю Турцию и убью султана...»

Первого апреля уже из С-Петербурга туда же поручик Муравьев пишет:

«Как видите, нам трудно отвечать за то, что произойдет с нами: так, я полагал остаться здесь всего несколько часов, остаюсь же на неделю, потому что уеду в армию только 3 или 4 числа этого месяца... Я вынужден делать заранее намеченные многочасовые визиты некоторым дедушкам и бабушкам. Госпожа Варвара Ивановна Бакунина передала мне письмо для фельдмаршала, не думайте, однако, что там речь идет обо мне. Сегодня я зайду к супруге фельдмаршала, чтобы попросить у нее распоряжений для ее мужа. Если с помощью двух этих писем можно будет привлечь князя Кутузова, я, вероятно, воспользуюсь этим, чтобы остаться при нем...»

Из Ковно на Немане туда же, в Торжок, 13 апреля:

«...Я буду проезжать теперь сквозь огонь и воду, потому что по ту сторону Немана в Герцогстве Варшавском очень часто случаются грабежи, а так как я должен буду ехать ночью, то готовлюсь к нападению грабителей и убийц. Я опасаюсь не столько за себя, сколько за возложенное на меня поручение к начальнику Главного штаба всех армий, ибо тот, кто рисковал своей жизнью в двадцати трех сражениях, способен ею рискнуть и в подобной стычке...»

Шестнадцатого апреля в Бунцлау скончался генерал-фельдмаршал Голенищев-Кутузов, князь Смоленский.

*Хвала, Отечества спаситель,
Хвала, хвала, Отчизны сын!
Злодейских замыслов рушитель,
России верный гражданин!*

Корпус замер под траурными знаменами в великом горе. Кадет Рылеев читает перед ним свое стихотворение, давась слезами.

Новый главнокомандующий русской армией граф Витгенштейн в приказе о награждении штабс-капитана Александра Булатова пишет: «В справедливом уважении к отличной храбрости Вашей, оказанной в сражении при Люцене 20-го апреля сего года, где Вы находились в стрелках, мужеством и храбростью своею подавая пример подчиненным, и поражали на каждом шагу неприятеля, где и ранены в правую руку пулею навывлет... награждаетесь орденом Владимира I степени с бантом».

Май.

В корпусе состоялось еще три выпуска.

– Как поживаете, Кондратий Федорович?!

– Аббат? Петушок-задира?

– Прапорщик Зонденхорст извольте величать, господин кадет. Выпускают примерных.

– «...в-первых, обрежь свои ногти, да не явись якобы оные бархатом обшиты, – обманутые надеждами кадеты особятся, норовят быть вместе и радуются придумке Рылеева читать за столом наставления к житейскому обхождению по книге прошлого века. – Не дуй в ушное, чтобы везде брызгало, не сопи, егда яси... – Кто читает, не видно, но на всю обеденную залу стоит непозволительный хохот. – Над ествою не чавкай, как свиния, и головы не чеши...

Эконом Бобров укоризненно останавливается у стола гомонящих, качает головою. Он любим и уважаем в корпусе, каждый знает: Андрей Петрович – защита во всех его бедах. Он выходец из солдат, у него чин незапамятных времен – бригадир, и мундир на нем времен незапамятных – лоснящийся, в жирных пятнах. Обиженные дерзят, напряженно поглядывают на эконома и продолжают чтение.

—...неприлично руками и ногами по столу везде колобродить».

Бобров машет рукою, по-стариковски шаркает ногами к выходу: им сейчас указ не в указ.

Стол отсмеивается, серьезнеет.

— А кто в офицеры вышел? — спрашивает Рылеев. — Не по старшинству, но досрочно. — И отвечает: — Высший свет да немцы.

Двадцать третьего мая на шесть недель заключено перемирие, после продленное еще на три — до 29 июля. В середине оно поручик Александр Муравьев пишет по известному адресу: «...Находясь в России, я не понимал, что такое тоска по родине; я полагал, что больной такого рода есть мнимый больной, но теперь вижу, как ошибался; это сильнейшая болезнь души... У меня теперь одно желание: пусть или будет заключен мир, или война возобновится еще пуще... и в поисках славы я отправлюсь топить в своей и чужой крови воспоминания, которые меня печалят теперь».

Война разгоралась пуще: в его послужном формуляре к майской записи о сражении при Бауцене прибавляются записи о Кульмской битве — любимой победе Александра Первого. «Она сияет славой на знаменах вашей гвардии», — при случае говорил он.

В сентябре Муравьев переводится в корпус генерала Платова, в начале октября производится в штабс-капитаны и сражается в Битве народов под Лейпцигом. Владимир 4-й степени с бантом, Анна 2-й степени, прусский орден за заслуги, Кульмский крест — все на грудь его одного за это короткое время.

Из серой кудели неба снежинки тянут и тянут неспешные нити.

— С наступающим Новым годом! — веселятся кадеты и

наступают друг другу на ногу. – С наступающим восемьсот четырнадцатым!

6

Ему не терпелось – он гнал и гнал.

– Живее, кой черт, живее!

Они нагляделись на прапорщиков за спиной, понимающе хмыкали ямщики. «Не поспеть страшатся, – нахмуривались: – Добро бы столько же ворочалось, сколько туда мчалось».

ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ ОДНА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА КАДЕТ РЫЛЕЕВ ПРОИЗВЕДЕН В ПРАПОРЩИКИ И ОПРЕДЕЛЕН В КОННО-АРТИЛЛЕРИЙСКУЮ НУМЕР ПЕРВЫЙ РОТУ ПЕРВОЙ РЕЗЕРВНОЙ БРИГАДЫ, ВЕДУЩЕЙ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ФРАНЦИИ. БРИГАДА ВХОДИТ В СОСТАВ ВОЙСК, НАЧАЛЬСТВУЕМЫХ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ ЧЕРНЫШЕВЫМ, ГОД НАЗАД ОВЛАДЕВШИМ БЕРЛИНОМ!

Он теперь полноправный Кондратий Федорович!

Первое февраля. Первая рота. Первая бригада! Это что-нибудь может значить!

Его первый офицерский выход корпус встретил возгласами «Ура!» – будто тоже истомился ожиданием Кондратия Федоровича. Оно было долгим, известие о производстве не обрушилось, снизошло тихим светом, но «ура», прозвучавшее в его честь, возбудило в Кондратии Федоровиче трепетную дрожь, восторг, он вскочил на стavec посреди коридора – выбросил вверх кулак:

– До встречи в Европе, господа аббаты и гренадеры!

В редкие лета из каменных нагромождений города матушка забирала его в Батово на каникулы. Зелень лесов с синевой неба качались на водах Оредежа, светлой реки

с живыми, не гранитными берегами, деревенская тишина заполняла вселенские дали.

Девятьсот десятин земли за именем – столько, что трудно вообразить.

Парк кустами сирени спускается к Оредежу.

Барский дом разделен коридором на неравные части: по одну сторону две комнаты для прислуги, по другую – четыре для господ. Две семьи в услуженье при барыне. Во дворе – флигель, рядом с ним кухня, кладовые, конюшни, каретный сарай, мастерские.

У матушки в голубых – северных – глазах строгость, полновластен голос.

– Федор, – останавливает она приволакивающего ногу дворового мужика, – ты у меня шерсть загубишь, какие овцы слежалые, кто скажет, что шлёнка?!

Матушка выговаривает мужику, а косы на голове лежат короной – царица царицей на своем подворье.

– Дык я, государыня, это... – трясет бородою Федор и мнет в ручищах картуз.

– За это и отпотчую березовой кашей, – обещает розги Настасья Матвеевна.

На конюшне два отрока – Федька с Ефимкой – господские конюхи, синеют глазами из-под рыжих ресниц, присматриваются.

– Не играй кнутом, барин, – кидается взглядом Федька. А Ефимка хихикает, отвернувшись: – Конь копытами дает сдачу.

Меланхолические лошадки лениво машут хвостами, жуют, двигая длинными челюстями, поворачивают голову на разговор.

– Почему они у вас хмурые?!

– Они, барин, в поле веселые.

«Какие вострые!» – думает, но не рассказывает кадет.

Лунной ночью в соседнем Рождествено, белея, словно

плывет над землею дворец, тоже барский дом, тоже из плах и бревен, но других бар, высоких – взглядом не дотянуться. Федька с Ефимкой смотрят, поди, на него, кадета Рылеева, на жалкий его домишко, думают: экий барин, хоромы экие! А его глаза присмотрелись – увидели: потемневшие зеркала стоят в доме, провалившиеся диваны, кресла. Дом дряхл, обшит тесовыми досками, выкрашенными в зеленый цвет. Красная краска железной крыши пузырится, отваливается. Кособоки конюшни, амбары... Девятьсот десятин, да земли неплодородны, наполовину заболочен лес. В нем, кадете Рылееве, зарождается мысль, тревоги коей он не может объяснить себе.

Рождественно с барским домом – бывшее имение цесаревича Алексея Петровича, сына Петра Великого... Государь был крут с сыном. Что лежало меж ними – известно, что лежит меж отцом и Коней – не очень.

Только это еще не мысль, но подход к ней.

Зиму мать зимовала в столице, на Васильевском же острове приживалкою в доме родственников. По праздникам навещала его, приносила кошелку с пирожками да шанежками. Упрашивала:

– Поешь горяченького!

Он стыдился ее заботы, в особенности - кошелки.

– Не надо, не приноси больше, у нас все лучше! – на бледном лице проступал румянец.

Мать каждый раз забывала об его просьбе.

Она терялась среди мраморного великолепия корпуса, казалась махонькой, жалкой – куда девалось ее батовское величье? Снизу вверх протяженно глядела на него, будто молилась:

– Дай Бог тебе счастья да долгой жизни.

Впервые такой махонькой, жалкой увиделась ему ма-тушка в год, когда батюшка прислал к ней на воспитание свою внебрачную дочь. Бесплотной тенью, с осунувшим-

ся лицом появилась Анастасия Матвеевна в корпусе, поздравила Коню с сестрою. Он недоуменно уставился на нее – она показала письмо из Киева. «Радуюсь душевно, что ты, милая моя другиня, здорова. Молю Всевышнего спасителя, да продлит дни твои и здоровье, не для меня единого, но и для бедной Аннушки. Ты великодушно ее усыновила... Она и я за нее несказанно тебе обязаны. А ежели, по благодати божией, суждено ей при жизни нашей быть пристроенной, то я теряюсь даже, воображая, какие небесные награды от Создателя уготованы будут тебе». Батюшка не менял тона и образа мыслей в письмах к жене и сыну.

– В офицеры выйдешь, всем нам облегчение будет, и хозяйство поднимем, – Анастасия Матвеевна порывалась погладить его по голове, но рука поднималась медленно, будто испрашивала разрешения коснуться. Он уклонялся, и она смирялась: – Бедность нам не в укор, но сгинь она, лихоманка проклятая. – Задумываясь, жевала губами: – Нищета не порок, да люди ее не хвалят.

Он клал на ее руки свои, тыкался в плечо щекою:

– И дом у нас будет новый, матушка, и сад, и пруды, и экипажи!

Она прикусывала язык, крестилась: «Чур! Чур! Чур!» – отвлекала внимание нечистой силы.

...В петербургской квартире богатых родственников матушка такая же, как у него в корпусе: приниженная, суетливая. Ей пятьдесят шесть лет. Жалко ее, одинокую, старую. Он отправляется в далекий край, она остается одна, без мужской помощи, а на руках у нее Аннушка. Она стоит тут же. В пансионате их хорошо содержат: опрятная, выученная, делает книксен пред офицером, щебечет по-французски, видно, ей льстит, что брат в эполетах, после каждого слова – мсье офицер, мсье офицер. Он смотрит на нее и думает о горькой судьбе матушки.

Анастасия Матвеевна перебирает его вещи, дивится богатству:

– Откуда это у вас, Кондратий Федорович?! – в голосе недоумение, настороженность. – Это стоит дорогих денег.

– Это наш эконо Андрей Петрович, Старый Бобер, каждому новопроизведенному дарит от себя по две столовые и четыре чайные ложки, дескать, когда зайдет к тебе товарищ, чтобы было чем щи хлебать, а к чаю могут зайти и двое, и трое.

– Благородные люди учили вас, Кондратий Федорович. – Он соглашается, но молчит, что приданое эконом вручал лишь недостаточным офицерам.

Матушка от себя подарила ему халат да шерстяные носки.

Потом остановила на нем строгий взгляд:

– А еще я дарю вам в дядьки Федора Павлова, старик к домашнему делу обучен, доглядит за вами...

Он бросился целовать ручку.

– На безлюдье и Фома дворянин, – заплакала в ответ Анастасия Матвеевна, потому что объединила в слове нищету и незнатность.

Вошел Федор, снял шапку, поклонился в пояс.

– Ну, что, старик, едем в Европу!

– Куда скажете, барин...

Прощаясь, матушка наказывала у кибитки:

– Не перечь начальникам, не отставай в деле.

Федор мотается из стороны в сторону на ухабах, кричит: виданное ли дело в его летах катить в эку даль сломя голову! Жалобно поглядывает на молодого барина, придвигает к себе разъезжающиеся баулы да свертки, но видя безразличие к своим неудовольствиям, осмеливается на слово, не какое-нибудь – с упреком:

– Торопь такая, чтодохнуть некогда.

Завязывает разговор с возницей, такой же – обходной, осторожный, не напрямик:

– Был такой, что торопился, да скоро умер, – и сам с испугу крестится: – Чур! Чур! Чур!.

– Не твое дело, Федор! – осаживает старика прапорщик. – Хотя как не твое? Каждый русский спешит сразиться с неприятелем, он столько зла и бед причинил России.

– Дык я не к тому, Кондратий Федорович, – отводит глаза Павлов. – Спешить, чай, степенно надо, не мальчишка какой.

Прапорщик горд своим новым состоянием: перед его эполетами столько границ открылось, столько еще откроется. И дядька – принадлежность их. Спасибо матушке – не оставила сына обделенным этой необходимостью.

В колокольчике под дугой заместо языка – подвесное колечко: «динь-динь» над дорогою живет тоньше и дольше.

7

Герцогство Варшавское. Пруссия. Саксония... Февраль. Земля освободилась от снега, лежит черная от плодородия, красная от крови. «Шнеллер! Шнеллер!» – он не маленький дворянин, не захудалый, он офицер, преданный родине, гражданин России, как и генерал-фельдмаршал Голенищев-Кутузов князь Смоленский.

Вюртемберг. Бавария. Швейцария.

В начале пути он с чувством злой радости смотрел на разрушенные селенья, разграбленные города – пусть знают, как посягать на Россию, знают и помнят. Но ближе Франция – иные чувства владеют им. На пепелищах городов, сел – толпы оборванных нищих. Правительства начинают войну, не народы, война народное бедствие.

К дороге подходят дикие звери – будто бы тоже нищие.

Во Франции он догнал свою роту.

Бивак широко, шумно раскинулся на равнине: скрипы телег, ржание лошадей, человеческие голоса. Костры отодвинули темень ночи на далекие расстояния, она уплотнилась там, сделалась непроницаемой. Он ходил от костра к костру, спрашивал конно-артиллерийскую нумер Первый роту, недоумевал: ему отвечали незнанием. Не знать Первую конно-артиллерийскую роту? Лагерь подозрителен вообще: солдаты запанибрата, будто он и не господин прапорщик, кто в армяке, кто в лаптях, а тот обозначает свое офицерство тем, что солдатскую шинель перепоясал офицерским шарфом.

– Стой! Кто идет?

Кондратий Федорович растерялся: вышедший из-за коня черноусый красавец смотрел на него решительно, в упор. Он обмяк под военным взглядом, пред поднятым пистолетом. Руке бы тоже схватиться за оружие, но она, ватная, висела плетью. Отвоевался – мелькнула мысль. Но офицер вдруг заулыбался:

– Только из корпуса, что ли?

– Только из корпуса.

Сердце сорвалось с короткого поводка, заколотилось часто и звонко: «Свои!»

– Подпоручик Косовский. Александр Иванович.

– Прапорщик Рылеев. Кондратий Федорович.

– Первая конно-артиллерийская?!

– Первая конно-артиллерийская.

– Значит, я дома.

– Прекрасно сказано, Кондратий Федорович. Именно дома. Офицерский дом на колесах и под открытым небом.

Косовский увлекает его в палатку, являет обществу вечерним сюрпризом: гул восторга и дружества встречает его, к нему тянутся руки, сосуткиваются с серебряным звоном походные чарки.

Он всматривается в лица, запоминает фамилии, име-

на. Они по-разному называют друг друга, по-разному обращаются: кого по имени-отчеству, кого по фамилии, кого так и так... Косовский – и Косовский, и Александр Иванович, Сливицкий – то Сливицкий, то Валентин Валентинович, Буксгевден, хотя и старший по чину – только Буксгевден, Гардовский – только Гардовский, Унгерн-Штернберги, братья с тяжелой медью волос – Федор и Густав. Мундиры на всех в неотстирываемых пятнах, в латках, прожжены и пробиты. Но речь весела, разговор перескакивает с пятое на десятое. Вопросы о Петербурге, о России. Рассказы, воспоминания.

В новеньком мундире он будто молодой петушок на заборе.

Проникаясь духом войскового товарищества, признается: пишет стихи. Его просят, он, разумеется, читает и, разумеется, о Кутузове:

*Хвала, Отечества спаситель!
Хвала, хвала, Отчизны сын!
Злодейских замыслов рушитель,
России верный гражданин!*

Тогда, после смерти фельдмаршала, корпус, слушая эти строки, не скрывал слез, новые товарищи равнодушны к ним, вернее, снисходительны:

- Столько слов, и все одинаковые...
- Что называется, толочь воду в ступе...
- Но, господа...

Он уязвлен, однако сдаваться не думает, у него есть другие слова и стихи другие:

*Смотрите, нет врагов кичливых,
Пришедших россов покорить...*

Они дослушивают до конца.

– Какого числа объявлено производство? – спрашивает Косовский.

– ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО! – с торжественностью отвечает Кондратий Федорович. Увидев усмешку в быстрых взглядах, повторяет спокойнее: – Первого февраля.

Косовский наполняет чарку:

– Десятого в Шампоберском лесу разбит корпус Олсуфьева.

Вблизи мир оказывался не таким, каким виделся за стенами корпуса. Одиннадцатого – это совсем недавно.

Лагерь загомонил поутру. Конные офицеры скакали от роты к роте, от батальона к батальону, что-то кричали, в ответ начинали звучать команды.

К Первой конно-артиллерийской никто не прискакивал. Офицеры недоуменно пожимали плечами:

– Опять какая-то незадача.

Копошливое месиво лошадей, фур, пушек, людей начинало осмысленное движение, в направлении к дороге образовывались ряды повозок, строи солдат.

Глядя на снимающийся табор, артиллеристы седлали коней, не представляя, что предстоит. Съезжались в кружок у обочины, высказывали неудовольствие.

– Нет Михаила Илларионовича – и войско превращено в табор, тревоги и отбои с бухты-барахты, – Косовский сдерживал пританцовывающего коня, позвенивал шенкелями. – Под началом таланта собирались таланты. У нас самый талантливый теперь генерал Романов, но и ему под Дрезденом перешибли нос.

– И сейчас бьют, несмотря на августейшее происхождение, – Сливицкий, как девушка, статен станом и лицо словно девическое, а слова говорит такие, каких ждать от него невозможно.

Кондратий Федорович поражен смелостью господ офицеров, готов высказать недоумение, но не считает себя

равным с ними, вместе с государем дошедшими до Франции. О перебитом носе его императорского величества он наслышался еще в дороге, каждый раз рассказываемое было иным: у старших чинов выглядело героическим, у младших – не особенно.

– Немецкая посредственность взяла власть в кампании, и мы затоптались на месте. Что Блюхер, что Шварценберг... – Штабс-капитан Буксгевден в седле кажется кулем с овсом. Его курляндский род причисляет себя к русским со времен Петра Великого. Потому он и позволяет себе насмешки над немецкими генералами. – Русский час со днем тридцать, а немецкому конца нет.

– Вся Европа встала против коротконового галла, а несет поражение за поражением.

Это Гардовский.

Он самый тихий и незаметный. Недостаточный дворянин в офицерском мундире. Русые волосы, серый взгляд. Им как будто немного пренебрегают, это не тяготит его, он даже подыгрывает. В палатке место его – у входа. Он смиренно там укладывается, и Кондратию Федоровичу понравилось его вчерашнее: «Я в Питере бывал, на полу сыпал и то не упал».

Интересный народ господа офицеры. Самое интересное в них – свободные взгляды.

Неспешное солнце катится русским колом по не-русскому небу. Леса на востоке в его лучах кажутся голубыми, а здесь, где офицерские кони копытают землю у обочины переругивающейся дороги, они молодо зелены. Зелена молодая трава на равнине, давшей им приют на ночь. И солнце, и леса, и равнина, не отличимые глазом от русских, российских, душою воспринимаются в истинном смысле – чужие. Впервые он сознает, как далеко оказался от дома, от родины. Легкий холодок пробегает по сердцу.

Замешкавшиеся бомбардиры ворчат на пушку:

– Эхма, дура, обитая медью...

Выкатывают орудие на дорогу, втягиваются в колонну.

Недоумение офицеров не разрешено, куда и зачем тронулись, по чьему приказу?!

Сливицкий подбочивается в седле генералом на военном совете:

– Господа! Действия нашей артиллерии представляются мало соответствующими ее назначению. Граф Аракчеев поставил оную на ноги, генерал Ермолов достойно ею командует, но мы с вами все оказываемся в резерве.

Рыжеусые братья Унгерн-Штернберги – Федор и Густав – на монументальных конях идут стремя в стремя, Медные Всадники.

– И что из этого следует? – спрашивает Федор.

– Что следует?! – придает заостренность вопросу Густав.

– Чья-то рука отводит наш удар по французам.

– А может, французы не принимают удара? – говорит Буксгевден, не повернув головы: подпоручик Сливицкий изображает генерала, Буксгевдену никого изображать не надо – он штабс-капитан, исполняет должность командира роты. Исполняет временно, и важность его – временна, для поддержания духа разговора.

– Или не дают дотянуться...

Валентин Валентинович надвигает на глаза козырек кивера:

– Дайте мне чин генерал-майора, ну полковника - в два похода закончу кампанию!

Ответом – едкий смешок:

– Так-то оно так, разумеется. Сильна засада не огородою, а сильна воеводою.

– Господин подпоручик, вероятно, мечтает о чине по-

ручика, – в глазах Буксгевдена ни смешинки, голос строг: – Поручика артиллерии?

– Но поручик артиллерии уже был, – подхватывает Гардовский.

– Склонил город Тулон к сдаче... И стал императором Наполеоном!

– ... против коего и сражается наше Отечество, - вторит под общий смех прапорщик Рылеев по справедливости юношеского сердца и серьезности нрава. Сливицкий обреченно вздыхает:

– Где уж нам... Куда шестом не дотянешься, не тянись носом.

Движение остановилось.

В колоннах замелькали мундиры австрийских и прусских офицеров. Потянулись толпы прусских солдат. Над затормозившимся из фур, лошадей, орудий, человеческого многоличья полетел слух, вызывающий поначалу растерянность, а потом – злую усмешку:

– Разбит Блюхер!

Гений Наполеона сопротивлялся уничтожению, не мирился с крайними обстоятельствами, но являлся во всем величии, отодвигая на месяцы окончательное свое низложение победами над союзными армиями.

Кто-то приказал стать лагерем. В артельных котлах закипело варево.

Русский царь, австрийский император, прусский король, не расставаясь, сидели на военных советах, а Бонапарт громил их войска поодиночке...

– Возвысьте, друг пиита, души! – попросил кто-то. Он не отважился на свои стихи. У него был проверенный ход: читать басню «Лиса и Ворона», но разных авторов.

– Так слушайте, – отозвался он.

*Негде Ворону унести сыра часть случилось:
На дерево с тем взлетел, кое полюбилось.
Оного Лисице захотелось вот поесть;
До того, домочься б, вздумала такую лесть...*

– Это Тредиаковский, – оповестил он хохочущих господ офицеров. – Василий Кириллович.

Интригуя, продолжил:

– И птицы держатся людского ремесла.

Ворона сыру кус когда-то унесла...

Они вскинули головы, насторожились. А он будто и не замечает:

– Нелестны похвалы приятно нам терпеть!

«О, если бы еще умела ты и петь,

Так не было б тебе подобной птицы в мире!»

Ворона горлышко разинула пошире...

Смех. Серебряный звон чарок.

– Молодец, прапорщик.

– Это Сумароков. Он из первого выпуска нашего корпуса, ранее Сухопутного Шляхетного.

– Тем более молодец.

8

Рассадником великих людей называла Сухопутный Шляхетный Екатерина Вторая: из него вышли фельдмаршалы, поэты, мореплаватели, историки... Директором корпуса при ней состоял ее двоюродный брат граф Ангальт, Федор Евстафьевич. Он сколько мог старательствовал о приобщении мысли и душ воспитанников к высокому, вечному. В библиотеке, на столах в общей зале, лежали книги – от древних греков и римлян до нынешних французов, англичан, испанцев. От древних великих русских – до великих нынешних.

Стараньями Ангальта каменная ограда корпуса была превращена в подобие классной доски – «говорящая стена

вся в росписях пословиц, формул, теорем, сложений и вычитаний; эмблемы, изображения небесных систем Птолемея, Тихо Браге, Коперника – пусть дети и гуляя учатся.

Многое стерто временем, многое – рукой человеческой...

Век живи, век учись.

Беда – сосед глупости.

Тише едешь – дальше будешь.

Что-то настораживающее в народной мудрости слышалось другим начальствующим умам – повелевали стирать со стены пословицы и поговорки, формулы и системы.

Генерал Клингер приказывал два раза в год белить стены, но на них проступало:

«Чей берег – того и рыба.

Без языка и колокол нем».

Разбивать палатки было запрещено. Дымили костры по обе стороны дороги, длинные дымы тянулись к синему небу.

Вахмистры держали солдат в строю – осматривали амуницию, экзерцировали.

Он спохватился: где же всё? Серебряные трубы, металлические знаки на киверах, где господа офицеры – герои?!

– Герои в чинах и верхах, – объяснили ему. – Остальное при нас.

– Но как же так? – продолжал недоумевать он. – Как же так?! – и переводил взгляд на пепел, остывшие угли в костре.

В лунной растворенности ночи со стороны дороги послышался приближающийся топот копыт.

Часовые взяли ружья навскидку. Негромко, чтобы не разбудить бивак, окликнули:

– Стой! Кто идет?!

Но всадник в адъютантских шнурах и загнанности прошипел:

– Протри глаза, дура! Давай ротного командира!

Растолкали Буксгевдена. Потягиваясь и зевая, он пошел с адъютантом к штабному фургону. О чем-то потолковали, потыкали руками то в ту, то в другую сторону. Адъютант вскочил на коня, поскакал к другим ротам и батальонам.

Буксгевден приказал будить господ офицеров.

Через полчаса зашевелилась вся рота, запереговаривалась шепотом, заматюкалась. Лошади, привычные к людской затаенности, вели себя соответственно. Колеса орудий, фур и телег обматывались тряпками, закреплялись бочки и ведра, чтоб не гремели.

Буксгевден выстроил роту для тихого перехода, ходил от взвода ко взводу, спрашивал, готовы ли выступать.

У Рылеева взвода не было – оказался сверхштатным.

Вдруг ударили барабаны, трубы заиграли подъем по тревоге.

– Опять канитель! – чертыхался Буксгевден. – Опять бестолочь!

Какие к черту тряпки на колесах!

Все не так происходило на войне, не по Кутайсову.

Прискакал адъютант, прохрипел Буксгевдену:

– Выступаете первыми. Остальные тронутся через час.

– Первою идет артиллерия?! – сошлись брови у командира. – Что-то новое в науке.

– Выполняйте приказ.

Неведомою дорогой потянулись к неведомому лесу. Шли осторожной поступью, выставив полувзвод в охранение.

Неразбериха на военных дорогах Франции невообразимая. Под белым шатром непрерывно заседает августейший совет, принимает решения, рассылает в войска монаршие предписания, а дивизии оказываются не на тех направлениях, полки – не на тех холмах, батальоны – не в тех лесах, роты же исчезают вовсе.

Пруссак мародерствуют по городам и весям. Партизанская война прижигает пятки союзникам: население защищает себя – Наполеон опять его вождь и гений.

Чем ближе к лесу, тем различимей такие же молчаливые подступы к нему других колонн.

Австрияки, пруссаки, русские пытаются стать на одной и той же позиции, лес не вмещает всех. Цепляются колеса, дышла упираются в лошадиные груди, сбивают людей.

– Куда прешь, дура!

– Вег лос!

На разноязыкий бедлам налетает генерал со свитой, вскидывает вверх руку с кажущейся игрушечной шпагой – тоненькой, едва различимой:

– Офицеров ко мне!

Перебранка смолкает, от взвода к роте, от роты – далее передаются произнесенные слова, лица поворачиваются к генералу со свитой.

До замешкавшегося с запутавшимися построениями прапорщика Рылеева призыв не доходит. Он поднимает голову – из его поводырей-офицеров никого рядом, одни солдатские спины, все смотрят на генерала в белом. Его высокий конь подается то вправо, то влево. Лошади окруживших его офицеров субординации не нарушают, перебирают бабками, согласно кивают головами.

«Забыли! Что им маленький прапорщик!» – в обиде повернулся кругом. И не поверил глазам: на их лес молчаливой цепью надвигались французы. Голубые мундиры проступали из утреннего тумана, широкой скобой охватывали лес.

Он непроизвольно отступил назад. Глаза остановились, широкие. И начали исподлобно сужаться: «Вот он, враг!» Сабля медленно выходила из ножен.

– За мной! – будто бы прокричал он, но получилось едва ли не шепотом. И бросился вперед: – Форверст!

Почему по-немецки – так и не мог никогда понять.

Ни топота за собой не слышал, ни голосов.

Тело неощутимо, легко, неспотыкливы ноги, боевая труба гремит в ушах. Он один в утреннем тумане бежит навстречу голубым мундирам, штыкам наперевес, навстречу чужим лицам, приближающимся и увеличивающимся. Уже не множество лиц – одно, уже на одном лице – только глаза. Встретился в упор с ними и взмахнул саблей.

Глухая топочущая сила обогнала его, оставила позади.

...Поле перед лесом лежало незабудковым, васильковым.

Мундирами гренадер играл ветер: надувал рукава, шевелил полы. Люди будто бы были еще живые.

Свитские офицеры увозили прочь генерала. Он заваливался набок, откидывался назад или падал головою на луку седла. Потому один из офицеров пересел на его коня, перехватил поводья, прижал к себе безвольное тело.

Кондратий Федорович поднялся с земли, подобрал оброненную саблю. Солнце едва поднялось над вершинами деревьев – может быть, не прошло и получаса. Он увидел голубое поле: «Своих уже вынесли, что ли?! – мелькнула и потерялась мысль. – Полонен вскрикнет, убит – никогда». С опустошенной душой, опустошенным взглядом добрел до дерева, привалился к нему спиной.

Подходили офицеры роты, дружеской рукой ударяли в плечо:

– А ты не из робких, оказывается!

Париж капитулировал тридцатого марта тысяча восемьсот четырнадцатого года. Москва пришла с ответным визитом.

Нумер Первый рота за несколько дней до этого убыла в Дрезден, в распоряжение генерал-губернатора Саксонии князя Репнина-Волконского.

Столица Франции еще три дня назад жила привычно своей жизнью: по улицам и бульварам под локоток с завитыми щеголями дефилировали прекрасные женщины в богатых нарядах и украшениях, играла музыка, вокруг фокусников и шарлатанов толпились бесчисленные зеваки. На город надвигалось двухсоттысячное союзное войско, на подступах к нему грохотало шестьсот пушек, а правительственные бюллетени по-прежнему трубили о великих победах, стойкости и силе духа; подступающие войска называли отбившейся от армии колонной – ее парижане могут истребить в одночасье.

Вдруг все переменялось: улицы и бульвары плотно забили толпы раненых солдат, полуобезумевших селян, бежавших из своих горящих деревень. На телегах, на кулях соломы, вязанках сена разместились они вдоль фасадов столичных домов и дворцов. Рядом блеяли их овцы, мычали коровы, кричали ослы. Чистой публики как не бывало.

Двадцать девятого марта 1814 года русский авангард под командованием генерала Раевского занял предместный Бондийский лес. Штаб-квартира русского государя императора обосновалась в Бондийском замке, его немедленно заполнили высшие офицеры союзных армий: Александр Первый брал на себя командование Парижским сражением, назначенным на завтра.

Артиллерия заняла господствующие над Парижем высоты: приказ – и он в минуту будет засыпан шрапнелью, картечью, ядрами. Город с высот открывался сине-лиловым, похожим на разлив реки в долине, а может быть, на далекий лес. Над тридцатью тысячами крыш будто воедино слитых домов возвышались готические башни Собора Парижской Богоматери, круглые купола Инвалидного дома и Пантеона, Монмартр, куда направлялось движение войск

победителей. Город присмирел, даже барабаны, звавшие парижан к сопротивлению, смолкли. Прошла ночь, а пушки молчат. Только ружейная пальба на окраинах. Поменьше улицы стали наполняться любопытным народом, его становилось больше и больше, появились привычные кареты, красавицы, фокусники, шарлатаны и зеваки. Люди казались беспечными, веселыми, но тревога жила все-таки в их сердцах: они настороженно посматривали на высоты и задавались вопросом: «Почему молчат пушки?!»

Австрийский император, прусский король тоже недоумевали, но вопросов русскому императору не задавали: доверяли ему.

Воображение рисовало им огненное небо над поверженной столицей Наполеона – пожары от окраины до окраины, смятенные толпы, кидающиеся из улицы в улицу, кровь и убийства. Воину надлежит принимать города на шпагу. Настают минуты расплаты за годы унижений и обид.

Мысли русского императора не совпадали с мыслями союзных монархов, его воображение рисовало иные картины.

– Карл Васильевич, – обратился он к своему первейшему дипломату графу Нессельроде, – непременно должно начать переговоры о капитуляции Парижа.

– Ваше величество, при первой возможности...

– Нет, граф, – остановил его государь, – приступайте немедленно.

Поиски немедленного решения вывели на двадцатипятилетнего флигель-адъютанта полковника Орлова, Михаила Федоровича.

– Надо французам доставить возможность самим начать переговоры о капитуляции. Они на это пойдут в теперешнем положении, – улыбнулся он. – Послать к ним кого-нибудь из военных, – не преминул кольнуть кое-кого из присутствующих штатских.

Однако в скором времени сам и предстал перед императором, в кабинете коего уже находился французский парламентар с белым платком на шпаге.

– Ступай, – сказал Александр после краткого изложения обстоятельств с обороной Парижа, – я даю тебе право остановить огонь там и тогда, где и когда ты сочтешь это необходимым. Желая предотвратить бедствия парижан и ненужное кровопролитие, я облакаю тебя властью прервать атаку, если даже она чревата скорой и легкой победой, – государь ходил по никчемному французскому кабинету в парадной форме с голубой лентой Андрея Первозванного через плечо, говорил высокие слова, и чувствовалось: он готовится к слову на Елисейских полях. – Господу, дарующему нам эту победу, угодно, чтобы ее плодами я воспользовался для дарования мира и спокойствия Европе. Она сегодня же должна ночевать в Париже...

Полковник понял это как приказ и начал действовать, прихватив с собою парламентаря. Наполеон оставил оборону столицы на двух своих маршалов – с ними и искал встречи Орлов. Нашел, разговорил, дело шло к подписанию соглашения, но Нессельроде вдруг увидел какую-то неувязку в подготовленном документе, отправился за советом к императору. Михаил Федорович остался один на один с французами во дворце маршала Мармона, с которым и вел переговоры до этого. Маршал усадил его в гостиную, сам отправился в кабинет, за ним последовали несколько важных особ, другие оживленно переговаривались, не обращая внимания на русского офицера.

Он не впервые в такой компании. 12 июня 1812 года французы начали переправу через Неман, в ночь с 13 на 14 июня к ним от русского императора за объяснениями отправляется генерал Балашов в сопровождении кавалергардского ротмистра Орлова, богатыря и красавца,

большого образования, остролова. Пока генерал ездил к Наполеону, он оставался во французском авангарде под начальством маршала Лаву с поручением высмотреть состояние неприятельских войск, разведать о духе их. Наполеон за обеденным столом пожаловался Балашову: «Нет карты дорог этой страны, укажите мне Московскую дорогу». Генеральский ответ покоробил императора: «Государь, все дороги ведут в Рим, Карл XII выбрал Полтавскую дорогу». Повергал в смущение французских офицеров за обедом у Даву и Орлов, подпуская им разные колкости, противостоять его остроумию они не могли, стали проявлять неудовольствие. На помощь ринулся маршал, ударил кулаком по столу, закричал гневно и громко: «Фи, господин офицер, что вы там говорите?» Ротмистр в ответ тоже громыхнул по столу, да так, что зазвенели приборы: «Фи, господин маршал, я беседую с этими господами!» – громыхание и фраза ввергли застолье в почтительное удивление и молчание.

Под Смоленском он был у них, чтобы узнать о судьбе тяжело раненного генерала Тучкова. Они показали ему Павла Алексеевича, но и задержали будто бы при нем на не сколько дней. Генерал из плена освобожден только что, у стен Парижа.

Появление в гостиной наполеоновского генерал-адъютанта Жирардена заставило всех подтянуться, у многих лица сделались снова гордыми и важными. Генерал прибыл подбодрить парижан и принудить их защищать свои дома, жен и детей, но вместе с тем он имел приказ взорвать в Париже пороховые магазины – поднять город на воздух.

И еще раз обед во вражеском стане в одиннадцать часов ночи. Орлов сидит рядом с Жирарденом - они знакомы со времени первых приездов Михаила Федоровича на сторожевые посты французов. Генерал долго хмурится

и молчит, а потом громко и ядовито обрушивает на русского полковника свое раздражение, отчаянные проклятья. «Кричи, кричи, – усмехается одними глазами Орлов, – все равно рядом с тобой сидит победительница Европа...»

Им овладевает немыслимая усталость, он отправляется к креслам и устраивается вздремнуть.

Ему приказано, чтобы Европа сегодня ночевала в Париже – он как мог исполнил приказ...

Около двух часов прибыл наконец посланец от Несельроде: «Монархи не настаивают на прежних условиях».

Он послал к маршалу адъютанта с этим известием.

Настороженный Мармон вышел из кабинета, Михаил Федорович тут же, в общей зале, набросал на листке почтовой бумаги все статьи конвенции и передал маршалу – тот пробежал их глазами, и беспокойство его исчезло, прочел вслух присутствующим; документ заканчивался словами: «Париж передается на великодушие союзных государей».

Орлов снял с него копию, оба экземпляра были сразу подписаны.

Утро только начиналось.

Государь принял полковника в спальне, не вставая с постели.

– Ну, какие у тебя новости?

– Вот капитуляция Парижа, – протянул листок почтовой бумаги Орлов.

Государь прочитал и сунул листок под подушку. Приказал:

– Поцелуй меня!.. Поздравляю. Ты соединил свое имя с событием историческим.

В этот день полковник Орлов был произведен в генерал-майоры.

Тридцать первого марта 1814 года – в торжественный и памятный день России – император Александр Первый

в сопровождении австрийского императора, прусского короля, бесчисленной свиты владетельных князей, генералов во главе своих гвардейских полков вступил в столицу Франции. Окна, заборы, крыши, деревья – все покрыто людьми обоих полов. Море народа на улицах. Всё машет руками, все кричит, вытягивает шею:

– Да здравствует Александр, да здравствуют русские, герои Севера! Да здравствует Александр, да здравствует австрийский император, да здравствует Людовик, да здравствует мир!

– Долой тирана! – кричит, ревет, воет толпа.

Александр среди людского прибое останавливается у Елисейских полей. Мимо него в совершеннейшем устройстве проходят войска. Народ неистовствует в восхищении. «Ваше благородие, они с ума сошли?» – спрашивает казак у молодого офицера. «Давно!» – отвечает тот смеючись.

Ряд за рядом. Рота за ротой. И новый приступ безумия восторженности: церемониальным маршем идут русские гренадеры, во главе одной из рот – безукоризненной выправки капитан с повязкою на голове, с правой рукою на перевязи, он салютует левой. Под ноги ему летят букеты цветов, охапки их. «Да здравствует капитан!» – кричат парижане. Недавнему выпускнику Первого кадетского корпуса день кажется нереальным, а слава всемирной. Его замечает и государь император: за Париж Анна второй степени ложится ему на грудь, и золотое оружие получает он, Александр Михайлович Булатов, из рук Александра Первого Павловича.

Из этих же рук Франция получила мир – свыше двух миллионов жизней стоили ей войны Наполеона.

В день Светлого Христова Воскресения невиданное зрелище вновь собралось на улицах Парижа несметные толпы. На главной площади города, где двадцать лет назад невинно про-

лилась кровь короля, православное духовенство в присутствии русского царя, его свиты и гвардии совершало торжественное богослужение: восстановление мира во Франции начиналось молитвой, искупающей страшный грех цареубийства, с которого начались для Франции все ее несчастья и беды.

Если сдавшийся Париж не похож был на брошенную жителями Москву, то не похожи были и русские полки на те разбойничьи шайки, что грабили русскую столицу, измывались над ее обитателями, ругались над русскими святынями, подкладывали пороховые бочки под стены Кремля. Столица Франции сделалась свидетельницей торжества великодушия над мщением, добродетели – над пороком.

Пятнадцатого апреля 1814 года штабс-капитан и кавалер Александр Муравьев пишет в Прямухино:

«Итак, дорогие мои друзья, я в 11 лье от Парижа, не знаю, то ли это сон, то ли явь, правда лишь, что я все-таки был в Париже и остался бы там, если бы... если бы дукаты падали нам с неба!

Война закончилась, к счастью для человечества, но к несчастью для меня, ибо я не имею Георгиевского креста! Увы, его получили все остальные, и почему его не получил я?

Наш августейший император, властелин из властелинов, первый человек нашего столетия, в Париже. Он в этой надменной столице, он распоряжается Европой и всем миром. Прежний тиран Франции, Бонапарт, – теперь Бонапарт и никто больше, он удален, опозорен, презираем всеми и только что увезен русскими в место своего изгнания, на остров Эльбу... Династия Бурбонов снова на троне. Равновесие в Европе восстановлено, и, может быть, будет достигнут всеобщий мир... И кому обязаны люди всем этим? Императору России! России! Варварам Севера! Этим именем звали нас раньше французы...»

– Свет не баня, для всех места хватит.

Бомбардир подвинулся у костра, чтобы сесть рядом дядьке прапорщика Рылеева: всю жизнь человек прожил в деревне, а на старости лет вон куда занесло, ходит, будто в воду опущенный. Не солдат, одно слово, кабы с молодости постоял под ружьем, походил бы с князем Суворовым по Италиям да Швейцариям – попривык бы к походной жизни, всякий бивак почитал бы за родной дом.

Павлов, подбирая локти, устроился. Пожаловался:

– Все при деле да сообщча, а я один-одинешенек, что верета придорожная. – Он говорил правду. Кондратий Федорович больше с офицерами да солдатами, для разговора с дядькой времени не находит, никакой минуточки. – Не приткнусь ни к чему, руки есть, да нет рукам места. Только и забот – что барин. Так я с целым двором, с хозяйством управлялся. За одним-то барином приглядеть много ума не надо.

Бомбардир из деревни забыл уж, в какие годы, столько дорог прошел по земле, столько гор за спиной оставил, дождей, туманов, потерялась деревня из виду, в памяти теряться стала: закроет глаза – и только ветла над речкою видится, старая и сумная, будто из всего, что окружало его в молодые годы, только она одна и осталась в родном краю, только одна осталась и ждет его... Редко-редко вспомнится хлебное поле, гумно – и тогда совсем уж невыносимо грустно рукам и душе.

– Не говори, – вздыхает бомбардир, обводит затосковавшим взглядом костровой круг товарищей, – да оно и война, вишь ли... Эку беду своротил мужик... Михайла Ларивонович говорил: «Каждый из вас есть спаситель отечества».

Костер бросает блики на ремни амуниции, на уса-
тые лица.

Пофыркивают в темноте лошади.

– У солдата что за хозяйство, – говорит бомбардир.

– Солдат что багор: ухватил – потащил, сорвалось – значит, не удалось.

– Нет, братцы, кончим кампанию, батюшка царь даст облегчение солдату, все же мы человеки.

– И нам облегчение даст, и народу.

Дядька Павлов думать не думал, что слова его лягут близ солдатского сердца.

– Такая охота помыться в баньке, полежать на простынке...

– ... под теплым бочком, в своей хатке.

Оживились, заподталкивали друг друга плечами.

– Куда хватил, не о вольной, чай?

– Не все то варится, что говорится...

Бомбардир глядит в землю, с опаленных ресниц соскальзывает тень костра, память прошлого – его и России – заполняет глазницы теменью. В далях времени много костров горело, да все гасли. Много надежд теплилось.

– На войне и пуля тебя находит, и штык ищет, навальешься в грязи и крови, а все душа свободнее, чем в казарме. На войне отечество спасаешь, государя императора; в казарме палки об тебя ломают, будто ты враг ему.

Павлову подобные рассуждения не в привычку: куда хватает солдатский ум, туда его крестьянский не помышляет. Он выпячивает бороду, чешет под нею черными пальцами, исподтишка подсматривает за каждым: слова соседа им не в испуг... И наталкивается на взгляд Щербинина, унтер-офицера – черного, дерганого, с сухим лицом, с густыми усами. Его глаза стоят близко один к другому, когда он всматривается в тебя, кажется, будто они сходятся в одну точку, в них ничего не видно, кроме вызревающего бабьего крика. Не повезло

на голос Щербинину, отчаянный человек, а откроет рот – баба бабой. Оттого, сказывают, глаза у него год от году ближе один к другому.

Унтер-офицера поднимает государственная забота: какими ведет он из Франции солдат под руку князя Репнина-Волконского?

Поднимается, сводит глаза в одну точку:

– Сколь ни вари мужика, все сырым пахнет. Ты что тут у меня лепечешь, Кузьма Недобитович?! Гляди, добыю, доувечу!

Что за порода такая – Щербинин? Двадцать лет с ним по свету хожено – и под Александром Васильичем, и под Михайлой Ларионычем, а все волком на солдата оскаливается.

– Угомонись, Лукич, – урезонирует бомбардир, – какая блоха укусила?

– Я т-те покажу Лукич, я т-те покажу «блоха»! Встать!

Крик переходит в визг, пронзительный, не вяжущийся ни с тишиной ночи, ни с людским настроением.

Павлов заотталкивался пятками и руками по молодой траве за черту кострового круга – от греха подальше. Пробрался к своей повозке, спрятался за нею, наблюдая. У костра все повскакали и загородили костер. Утром рота узнала: на унтер-офицера Щербинина ночью съехала фура с продовольствием, причинив телесные повреждения.

Буксгевден дознания не учинял, но приказал унтеру состоять при команде обучения верховой езде, во взводах отнюдь не показываться.

...Они прошли Старым городом, остановились над Эльбой у взорванного моста. За рекой лежал Новый город, правобережная часть столицы Саксонии – Дрездена. Два года назад отсюда Наполеон отдал приказ войскам – начался тщеславный поход, обернувшийся для него крахом.

Год назад Дрезден капитулировал пред партизанским отрядом Дениса Давыдова.

Вот она, жизнь: месяца не прошло, как он из корпуса, а успел добраться до Франции и вот – до Дрездена. В корпусе медленны дни, тут знай не отстань от них. Мир казался страшным не той стороной, коей мнился в корпусе. Он ожидал увидеть систему, упорядоченность, увидел нечто, составленное из не примыкающих друг к другу частей, из несообразностей, из чего никогда не собрать целого...

Под Косовским вдруг заржала лошадь, призывно и длинно туда, за реку, вытягивая морду, будто ждала отзыва из России.

Гардовский снял кивер – и стал похож на свежий ржаной сноп, раньше таким он не представлялся взгляду...

Собор Святого Петра сиял золотыми главами над городом и над ними. За многие века перед ним прошло много человеческих судеб, много людских признаний он слышал. За века мало что изменилось.

11

Им отвели казармы саксонских артиллеристов. Две комнаты для офицера, каморка для дядьки, прихожая для денщика. Повара усердствуют в угощении победителей, будто не на постое у них русские – на приеме: каждый день вина семи благородных марок, яства мясные и постные, овощи, зелень.

Господа офицеры за пиршественным столом не ведают удержу: пробку за пробкой выстреливают в потолок, состукивают пенистые фужеры, поют раздольные песни, падают головою на кулаки, пляшут или выписывают вавилоны по всей гостиной.

Штабс-капитан Буксгевден философичен:

– Не тот пьян, кто валится, а тот, кто не встает. – Он благодушен и разговор ведет невоенный. – В отставке не жизнь пойдет – рай: по средам пост, по субботам – баня.

Прапорщик Рылеев удивлен: как офицеру может мечтаться о статской жизни?! Все равно что соколу превратиться в курицу.

Хотя у них какая здесь жизнь, коль не статская? Какой он артиллерист, если ни разу не выстрелил из пушки?

И ни одного человека под командой...

От случая к случаю Буксгевден поднимает их на конь и экзерцирует во дворе артиллерийских казарм. Слабый пол Дрездена выстраивается вдоль железной решетки: шлет воздушные поцелуи, строит глазки. Чего ни разрушит женщина?! Даже фрунт. Густав, один из Унгерн-Штернбергов, закусив ус, выскакивает из строя, выхватывает платочек из юной ручки – вечером его будут ждать у ворот казармы. Второй Унгерн-Штернберг, Федор, адресок получает по утрам из рук молочницы...

За месяц он познакомился с каждым, узнал многое о них, порой в застолье они кажутся ему одним существом: то повернется лицо Косовского, просветленное песней, с тающими украинской ночью глазами, с усиками, оканчивающимися в один волосок, то отклонится ржаной головой Гардовский, то – сразу двумя – Унгерн-Штернберги, в подпитии Сливичкий опустит голову: Речь Посполитая болью в сердце, Царство Польское, в котором царствуют не поляки.

А в разговорах – женщины: ни одна не устает ни перед одним из них, каждый для женского сердца пагуба.

Прапорщика Рылеева полегоньку высмеивают: какие ему молочницы, когда еще молоко на губах не обсохло. Он ершится, читает собственные стихи о сем предмете. Они их не убеждают. Косовский едко шутит:

– Сии строки явствуют: женщины – твоя слабость!

Гостиная дружным смехом поддерживает его.

Кондратий Федорович признает для себя: стихи у него дурны, иначе находили бы отзыв в душах. Дает зарок не читать более в собрании творений своей музы.

Веселые пушкари привлекли внимание комендантского управления: гауптвахта заполнена нижними чинами, офицеры – в кутежах и загулах. В отместку за известное мародерство пруссаков во Франции, припомненное подшофе, они прошлой ночью раздели их офицера, оставили в ботфортах и кивере, в узел связали амуницию, навесили на палку через плечо и отправили по городу. Этой ночью кто-то из них в таверне сошелся на саблях с австрийским майором, когда тот упал – выбросил союзника в окно, следом саблю и произносил при этом непристойные слова на русском, немецком и польском. Выброшенный майор вернулся, схватил за плечо спокойно усевшегося за стол обидчика, требуя продолжения поединка...

Их собрали в гостиной.

Капитан с рукою на черной перевязи разложил на столе бумаги, с живостию взглянул в залу:

– Каких чудес ни повидал Дрезден, – явно невыспавшийся, капитан шурил притомленный голубой взгляд: балы не смолкают в городе, в нем женщины простодушны, девушки легкомысленны. – Хотя бы даже то, что мы в нем во второй раз за кампанию. А сегодня саксонская столица не устает восхищаться чудесами господ офицеров. – Обратился к бумагам: – По долгу службы проверяю прибывающих в гарнизон.

Но всем стало ясно, что к чему.

Названные офицеры кто поднимался, кто оставался сидеть, капитан будто не вел дознание – беседовал.

– Вы кем приходитесь Михал Николаевичу? – Спросил Кондратия Федоровича.

– Извините, кому?

– Генерал-майору Рылееву, коменданту Дрездена.

Он впервые слышит свою фамилию, принадлежащую незнакомому лицу. В молодом задоре на всякий случай якобы сознается:

– Племянником.

– Рад буду сообщить. Ваш дядя достойнейший человек.

Господа офицеры запереглядывались: не столь уж он прост и открыт, прапорщик. Не родство смутило их – должность генерала Рылеева: половина из них принадлежало к высшему сословию. Капитан собрал бумаги, свернул их трубкой.

– Рад оказаться знакомым со всеми сразу, – сказал и откланялся.

– Какие манеры! – Восхитились артиллеристы.

– Фронт на пластунах, тыл на лизунах держится, – уточнили.

Косовский изломал ус в усмешке:

– Вы у нас далеко пойдете, Кондратий Федорович!

Он долго не приходил в себя от содеянного: как можно назваться родственником незнакомому человеку! Из ревности к знатности сослуживцев?

Генерал-майор Кутайсов, преследовавший артиллерийскими наставлениями кадета Рылеева, был опорой его надежды: из безродных, а стал славой России – его отец, мальчишкой подобранный на поле брани, был подарен Екатерине, Павлом произведен сначала в парикмахеры, потом в графы.

Он закрывает глаза, и память погружает его в давние унижения.

Что у них есть с матушкой, так это Батово, и то оно – Петродар – подарено генералом Петром Михайловичем

Малютиным, дальним родственником с материнской стороны.

В корпусе за каждой колонной, за каждым человеком для него таился мрак, он жил на границе света и мрака, ему внушалось: светлая половина — для послушных. Он чувствовал в том чью-то корысть — и сопротивлялся, в нем нет расположения служить чужой корысти.

...Чопорные воспитательницы сидят на высоких стульях вдоль стен в кабинете директрисы. Она наставляет:
— Бей русских — часы сделают!

12

Май начинался высоким солнцем, шумной листвой, легкими нарядами женщин. В Брюлевом саду играл оркестр русской полковой музыки: русский генерал-губернатор вводил в быт Саксонии русские гулянья — они с приятностью принимались.

Король Саксонии, вкупе с Наполеоном пустившийся разбоем и разором в русскую землю, дожил до дня, когда надо было спастись самому и спасти преславное королевство. На последнее силы не оказалось — вместе с известной на весь мир своей картинкой галереей и государственной казной бежал в Кенигштайн, в горы.

Павлов стирал, подштопывал, откатывал на вальке мундир — готовил барина к посещенью Управления коменданта. Кондратий Федорович трепетал: изобличат в самозванстве, покроют позором имя, изгонят из армии. Дело вон куда повернуло — принесли приглашение, а в нем он назван, племянник. Может быть, так оно и есть, чего бы генералу играть с ним? Может быть, батюшке некогда было рассказать о нем.

— В казармах?! Это медхен, шампанское и дуэли. Не-

льзя его оставлять средь беспорядочного офицерства! – Воскликнула Марья Ивановна, супруга генерала Рылеева: за ужином он сказал, что в Дрездене оказался его племянник, что живет при роте, в артиллерийских казармах. В кринолинах, в тугих немецких бюстгалтерах, она вскинула русский носик, свела строчки бровок над веселой синеваой глаз: – Он будет жить у нас!

– Слушаю-с, ваше превосходительство! - Ответствовал генерал; слегка смутившись, что не спросили, откуда он объявился, племянник.

Высоким лбом, черными глазами и выдвинутым подбородком молодой офицер отдаленно напоминал генералу двоюродного брата, Федора Андреевича.

Встретив племянника в приемной, генерал провел его в кабинет, расспрашивал и слушал.

– Характер твоего отца исключает возможность общения с ним. Как жили, так и живем порознь. Ничего друг о друге не зная. Темны воды во облаках, но дело в том, что с этой минуты считай себя живущим в моем доме.

– Как понимать, ваше превосходительство?

– Очень просто: собирай пожитки – и ко мне. Хотя у прапорщика, должно быть, ни седельца, ни уздицы, ни той вещицы, на что надеть уздицу.

– Так и есть, ваше превосходительство!

Средь разговора он перехватил взгляд племянника, украдкой бросаемый на его руку, покоящуюся на черной перевязи.

– Так нам с Павлом Петровичем, – он кивнул в сторону приемной, – дался Дрезден. В одном бою обезручили.

Смотрел в окно, жестко расправлял усы и бакенбарды, было видно, что-то брал в соображение. Потом не то продолжил, не то наставил племянника:

– Служение Отечеству одаривает человека одною радостью: самим служением, других радостей доставляет мало...

Комендант с семьей занимал княжеский особняк: изразцовый паркет, лепные потолки с люстрами – чтобы зажечь или погасить свечи, до них дотягивались бамбуковыми шестами, окна – хоть всюю конно-артиллерийскою ротой въезжай.

Марье Ивановне двадцать три года. Она род свой ведет от людей служивых, исконно верных престолу, оттого богатых. Чтобы не скудеть роду в поколениях, дочерей в нем выдают замуж лишь за достаточных, имеющих чин и должность; пятнадцати лет она обручилась с тридцатипятилетним генерал-майором...

– Быть бычку на веревочке! – ворчал Павлов, размещаясь на новом месте.

Она переделала имя его барина в Конрад.

– Конрад, – произносит Марья Ивановна и тянет шейку, опуская плечики, – нужно причащаться европейской культуре, жизнь вам предоставляет случай. Король вывез в горы картинную галерею – мой комендант вернул ее на свое место.

Она не отпускает от себя прапорщика. Мишель вечно занят: то солдаты полками бегут в постели немочек, то офицеры, накуражившись в кабаках, вступают в сражения между собой. Такая беда – дуэли: в баталиях имут смерть от неприятельских пуль да сабель, в мирных днях – от собственных.

Он ходит с нею по городу, слушает ее гарнизонные рассуждения и чувствует себя деревянным, углами сложенным. Корпус – это лишь клингерур, а тут прекрасная ее превосходительство, тут Дрезден – столица иностранного государства, и они вдвоем на ее улицах.

– Королевский дворец, – показывает она. Он поворачивает голову в оглушенности разительных сопоставлений и ничего не слышит. – Японский...

В Цвингере, картинной галерее, Марья Ивановна то опускает, то поднимает голову перед каждой картиной – ее глаза наполняются то дневным светом, то ночной тьмой. Он не может понять, не может разделить ее чувств – видит только фигуры, лица, цвет. Он жил в столице, но провинциален... Они обходят залы дважды, но все проплывает мимо него – имена художников, названия картин, века и школы. Корреджо – единственное, что остается в памяти, имя, да еще что-то смутное, тянущееся за этим именем, как ночь, лунною затаенностью.

– Не ожидала, вы так глубоко чувствуете живопись, Конрад. – Рука Марьи Ивановны ложится на его локоть. – Она излучает из ваших глаз лунный свет.

Почему она тоже о лунном?!

– Так создан, – отвечает он наобум.

– Вы благородно созданы...

У ветра с Эльбы пути широки, как широки они у мая.

Генерал-губернатор князь Репнин-Волконский восстановление неприятельской столицы начал с восстановления моста через Эльбу, уступающего славою картинной галерее лишь тем, что моложе камнем, скульптурами, именами его создателей.

В Брюлевом саду песни, музыка, танцы. И еще – стрельба. Мишени разные, главная же – государственный герб Пруссии. Стрела за стрелою летит в растрепанного орла, злорадный смех сопровождает каждое попадание. «Святотатство! – порицает про себя прапорщик – Герб свят, неприкосновенен». Но с тех пор, как он из казармы переселился в дом дяди, границы осведомленности его о мире расширились, и он думает: «А впрочем, отчего не

стрелять саксонцам по прусскому гербу? Почти половину их территории готовятся передать пруссакам»

С террасы сада виделось далеко. По реке плавали лодки с празднично одетыми горожанами, подплывали к причалу, построенному русским генерал-губернатором, поднимались по лестнице на увеселительные представления. Люди, казалось, не замечали, что их страна – под чужой властью. На том берегу избегали в гору аккуратные домики под красной черепицей, зеленые виноградники догоняли и обгоняли их.

На восстанавливаемом мосту солдаты в русских мундирах возвращали первоначальный вид знаменитой скульптуре – Кресту.

Марья Ивановна перекрестилась и посмотрела на спутника:

– Учитесь доброму, худое само придет.

– Мишель, наш мальчик, похоже, бедствует, – высказывает она озабоченность перед супругом. – Пусть у него на каждый день будет хотя бы по талеру.

Алым трепетом растягиваются по белым зубам полные губы.

– Быть по-твоему. – Генерал щедр. Чуть касается губами алого трепета: – У тетки племянник баловень, у дядьки – племянница.

...Комната, отведенная ему дядей, огромна. Он с талером на ладони ничтожно мал за письменным столом. Михаил Николаевич определил ему из своих сумм пятьдесят талеров в месяц - целых полторы тысячи грошеников, целое состояние. Трать, как заблагорассудится! Он смотрит на поблескивающую серебром деньгу с годом и королем на аверсе, с короною и щитами на реверсе и вдруг понимает: этими деньгами он что-то оскорбляет в себе – высокое, живущее в нем давно, чему нет пока еще определения.

Эти талеры – как подачка, как унижение.

Он возвратит их дядюшке. Как? Так, чтобы не обидеть его отказом, чтобы не увидеть в его глазах недоумения. Он станет покупать Марье Ивановне подарки!

– Вам нравятся канарейки? – спросит он у нее на птичьем базаре.

– Они мне напоминают о детстве, – ответит она.

С закрытыми глазами над столом он дорисовывает картину: выкладывает продавцу грошени, показывает на клетку с птицами.

– Отнесите в дом коменданта! – И поворачивается к даме: – Вы будете чувствовать себя вернувшейся в детство.

13

– Прапорщик Рылеев. – Представился он в приемной знакомому капитану с рукою на черной перевязи. – Приказом генерал-губернатора переведен по службе в Управление коменданта.

– Князь Кугушев. – Капитан улыбнулся. Это имело смысл: я знал, что ты здесь окажешься. – У генерала полковник фон Шепинг. – И показал глазами на кресла: дескать, придется ждать.

В узкой приемной на стенах висят картины в тяжелых рамах, три окна полузанавешены тяжелыми шторами. «Германия тяжеловесна», – констатирует прапорщик.

За комендантскою дверью слышатся голоса: вопрошающий – неторопливый, низкий, отвечающий – суетливый, высокий. Князь поглядывает на дверь с холодной брезгливостью.

Спрашивают и отвечают долго. Кугушев втягивает дядюшкина племянника в разговор.

– Вам у нас будет лучше. Казарма, разумеется, армейский дом, но все-таки дом с отсутствием духовной пищи.

Князь ценил время жизни, посвящение ее одним удовольствиям считал безрассудством. Оказавшись в тылу, отстраненный ранением от боевых дел, вернулся к давнему увлечению философией, литературой. Германия немало способствовала тому. По российским меркам почти рядом с Дрезденом – Веймар и Иена. В первом, как гласит молва, проживает десять тысяч поэтов и несколько обывателей, во втором десять тысяч философов и несколько обывателей. Глава поэтов – Иоганн Вольфганг Гете, глава философов – Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Музы Иены и Веймара не молчали в грохоте пушек. Князь побывал и у Гете, и у Гегеля, беседовал с великими мудрецами... Слушая его рассказ, Рылеев благодарит судьбу и думает о себе: «Молодой обомшелый пень!» Не будь этого перевода, сверкал бы эполетами, офицерскими мыслями в обществе, полагая их умными.

– Вам у нас быть нужнее, – говорит Павел Петрович притихшему прапорщику. – А немецкой мудрости не пугайтесь, кое в чем мы обогнали германцев, например, в государственности. Мы давно уже соединили удельные княжеств, и Россия стала Россией...

«Соединились в одно сердце!» – мелькает в голове Кондратия Федоровича фраза из полузабытой летописи.

– ...а Германии еще нет. Мне представляется: одна горстка немцев сидит на одном отдельном острове, на втором – другая, на третьем – третья, на тридцатом – тридцатая. И каждый островок объявил себя государством с правителем и правительством, при каждом дворе – философы, музыканты, поэты; у каждого государства своя мысль, свой взгляд на вещи, своя политика. Сидя на островке, успеешь надумать многое...

Кондратий Федорович насторожился: что-то произошло. Оказывается, за комендантской дверью замолчали.

Вышедший из нее фон Шепинг, высокий полковник, немногим старше его, Кондратия Федоровича, приосанился, будто что-то стряхнул о себя, и, убыстряя шаг, прозвенел шпорами чрез приемную.

Капитан презрительно хмыкнул:

— Из свиты его величества. От самого Бородина в адъютантах при комендантах. — И, помолчав, добавил холодно: — Немцы объединены только у нас, в России.

Михаил Николаевич за столом — воплощение достоинства и силы. Эполеты ладно лежат на плечах, внушительно. Голова с широким лбом и узким подбородком — недостатком, тщательно скрываемым бакенбардами, посажена гордо. Гвардейские усы густы, смолянисты. Левая рука, снятая с перевязи, уставлена в бок, правая властно возложена на стол; глаза строги и добродушны одновременно.

— Наша служба предполагает общение с народом, среди коего мы живем, не просто общение, но, может быть, и проведение некоторых наших установлений, выполнение их потребует от населения известных усилий, может быть, даже раскошеливаний.

Он вводил племянника в суть новых обязанностей, посвящал в тайны, а сам думал: хоть бы удалась ему жизнь, не знал ни отца, ни матери, засиделся в кадетах, а юноша с головой.

— На раскошеливание ты у нас щедр, — сделал неожиданный поворот дядюшка, подмигнув племяннику. — Не смущайся, молодость должна тратить. Но какой это одой ты потряс роту?

Можно было бы не смущаться, если бы не стояло за сим талеров дядюшки.

Он лихо подкатил к артиллерийским казармам, оса-

дил у крыльца; Павлов начал снимать корзины и ящики, составлять на каменные ступени, а он возгласил:

– Господа офицеры! Прапорщик Рылеев закатывает прощальный ужин! - И предводительствуя Павловым, направился в обеденную залу.

– Куда спешите, Кондратий Федорович? Не на самый верх ли?!

В его душе били литавры: вот и он уже может давать свои ужины – не из нищих!

Офицеры роты получали вспомоществование от родителей. Роды остзейцев Буксгевденов и Унгерн-Штернбергов стояли прочно, гордились древностью и богатством. Им было чем гордиться: первый из рода Буксгевденов в Ливонии объявился в двенадцатом веке и основал Ригу; Унгерн-Штернберги выходят из века тринадцатого... Русские дворяне в роте не столь знамениты предками, но люди достаточные: у Косовского имение в Харьковской губернии, у Гардовского – в Полтавской хутор, у Сливицкого – на Волини. Лишь прапорщику Рылееву не от кого получать помощи, нищета их с матушкой одолела. Матушка при встрече с ним в корпусе всякий раз смиренно произносила: «Не родом ведутся нищие, а кому Бог даст». Все не так, матушка...

Полетели в потолок пробки, в высоких фужерах заискрилось шампанское.

– А что, он почти у самого верха! – смеялся Косовский: – Комендант под началом генерал-губернатора, генерал-губернатор – под началам царя...

– Кондратий Федорович, уж не на престол ли метишь?

Сливицкий на язык остер, но сейчас в его язвительности много желчи: прослышал, что в Париже августейшие победители делят Саксонию и Польшу; Саксония, черт с ней, поделом, но в сердце каждого поляка живет

боль за униженную и оскорбленную родину. – Чтобы вершить судьбы народов?!

– А почему бы нам не вершить?! – играет, не улавливая оттенков, прапорщик. – Одна приятность. Повелевай стадами овец! Высшее наслаждение...

– Не пори, когда шить не знаешь, – настороженно вскинулся Косовский.

– Но трон, господи, это несколько прозаично, наш сослуживец поэт. – Сливицкий вскинул руку, откинулся корпусом назад: изобразил читающего стихи.

Охваченный хмельной застольной радостью, широтой собственного ужина, Кондратий Федорович не уловил шутки, подумал, что Сливицкий и впрямь приглашает к стихам.

– Герой, Отечества спаситель!

Стройным рядом лежат в голове строфы, они новы, оттого равнодушно к ним сердце, равнодушен голос. Он воодушевляется, становится артистичным, как всегда под парами шампанского.

– Един лишь ты возмог сказать:

«Столицы царств не составляют!»

Ему долго хлопали. Он улыбался, счастливый.

И лишь наутро подумал: а если просто из вежливости?

– Так что она, ода? Можно и нам послушать? – повторил вопрос Михаил Николаевич. – Кроме того, коменданту должно знать все. – Встал, подошел к двери: – Павел Петрович, не хотите послушать?

– Полным вниманием, – вошел и сел напротив Кугушев.

– Герой, Отечества спаситель!

Прими от сердца должну дань...

«Ну что же, смысл толков. Может, что и получится из

него. Язык, правда, староват и тяжел, обращений и восклицаний бездна...», – мысленно судил произведение генерал.

В приемной Кугушев тронул его за плечо.

– К немцам и их мудрецам мы еще возвратимся. А пока посмотрите-ка это. Здесь поизящней и попрямее.

Выдвинул ящик стола, достал тоненькую книжицу в черном переплете.

«Поль Гольбах. Карманное богословие», – прочел Кондратий Федорович.

14

Недвижным зноем висит над миром июньский день, парит. По склонам гор пожухлые виноградники обнажили красноватые комья почвы, будто приготовились для встречи с дождем.

Полковник барон фон Шепинг отгораживается от солнца белесыми ресницами, молчит, ловит лицом и шеей малейшее движение воздуха – жарко. Верх коляски откинут, но и откинутый, он, кажется, зачерпывает зной, со спины окатывает им седоков. Прапорщик Рылеев приноравливается читать на снятом кивере, поставленном на колени, но приноровиться не может: дорога трясет, коляску кидает из стороны в сторону, кивер то и дело сползает с колен. Он смиряется с обстоятельствами, закрывает книгу. Ни окрестности, ни барон фон Шепинг его не интересуют: будто сам с собой едет.

«Гольбах, – читает на переплете Шепинг, – французский вольнодумец... Значит, партия князя Кугушева».

Флигель-адъютант его императорского величества, он считает себя униженным, ущемленным: служит не при генерал-губернаторе – при коменданте, где виден меньше, где ни орденов, ни чина. Ему на виду быть надо, Шепингу, он барон.

Вернется в Санкт-Петербург – все на свое место станет, пока же пыли саксонскими дорогами, следуя приказу да натыкаясь на ненависть в глазах Кугушева. У них, у вышедших из батальи из-за ранений, нет ничего, кроме презрения, к ним, штабным по призванию. Флигель-адъютант обиды складывает в копилку – придет время, откроет ее и разочтется со всеми. Ныне император то в Вене, то в войсках, не до него ему, не до Шепинга; Шепинг знает, когда открывать дверь. Он терпелив, но терпенье его кончается. Господин комендант еще поплатится: против субординации на равных отправил с ним в командировку своего племянника: с полковником – прапорщика!

И этот прапорщик невозмутим.

– Ви знаете, Дрезден основан на месте славянского поселка. – Он расшевелит его, вставит шпильку, кольнет славянскую гордость. – Каково это?!

– Занимательно.

И ничего в глазах – одно любопытство. Но он проймет его, Шепинг!

– Немцы очень сильный народ. Он однажды проснет-ся и ужаснется самому себе. Старый король из их сказок дремлет в каменном кресле, борода его проросла сквозь каменный стол, но они, немцы, верят: он проснется, и меч Нибелунгов утвердит на земле их величие...

Прапорщик отодвигается, забыв о кивере, скатившемся под ноги. Спрашивает с полуулыбкой:

– Вы поэт?

Проклятая Саксония! Барону фон Шепингу надо не этого юнца развлекать на ее дорогах, но светских дам Петербурга!

В знойном мареве плоскость одной зеленой погости пересекается с плоскостью другой, они по-разному освещены, по-разному воспринимаются глазом,

дорога высится над пересечениями плоскостей, над виноградниками и кажется придвинутой ближе к солнцу.

Дорога пылит. Зной становится тяжелым, набрякает духотой.

Полковник тычет в спину солдата на козлах:

– Бистро едешь – веттер болше. – И обращается к прапорщику: – Вас как звать?

Деревни жмутся спиной к горе, рассматривают проезжих рядами равнодушных окон, аккуратно зашторенных. Белые стены, красная черепица крыш, зеленые виноградники. Дорога разбита войной – колесами фур, пушек, ядрами и копытами. Коляска стучит по камням, пошвыривает седоков из стороны в сторону. Солнце печет меньше, запад обкладывают наполняющиеся тяжелой лиловостью тучи.

Ему захотелось в Петербург, в Батово, где матушка и сестрица, а над рекою Оредеж зеленеют березы.

Дождь начался с редких капель – круглых, холодных.

Пока раздумывали – всерьез ли?! – он обрушился водяной лавиной.

Солдат на козлах, казалось, втянул всего себя под гвардейский кивер: сжался в комок, подбородок лег на колени, усы обвисли, один султан на кивере гордо противостоял стихии.

Лошади, прижав уши, выбрасывали из-под копыт брызги и камни.

На почтовом дворе хмурый хозяин молча отворил ворота, молча их запер.

Барон с двенадцатого года страдает от невниманья к своей особе, будто мир обнаружил иные ценности, к коим он отношения не имеет.

– Вас ист гешеен?! – вопрошает он и наливается медленной краской, сквозь белые волосы становится видной на голове красная кожа, будто бы красными становятся

ресницы. – Что случилось? Или гостям не рад?! – В этой стране даже побежденные не считаются с ним.

– Мордари реген гибт дер эрнте кайнен зеген, – цедит хозяин. – Дождь на святого Мордари не принесет добра урожаю.

Им отводят комнаты: фон Шепингу – на втором этаже, Рылееву – на первом. Широкая деревянная кровать, окно на юг, окно на запад.

– Я приглашаю вас на ужин, Кондратий Федорович, – говорит барон. – Начинается совместная служба, распочнем свой пуд соли.

– Распочнем, господни полковник.

– Для вас я просто Иван Иванович.

Иван Иванович ест и пьет в две руки, слова выговориться не успевают, досказываются лицом, глазами:

– Куда повернет фортуна... то ты обласкан императором, то прозябаешь в паршивых комендатурах, где тебя ненавидят из-за того, что ты немец... Кто бы другой, но князь Кугушев! Сам по всем статьям недо-русок...

Прапорщик умерен в застолье, больше слушает, меньше говорит.

За постой рассчитывались наперед. Его удивила сумма – этак никаких прогонных, никаких дядюшкиных талеров до конца командировки не хватит. Хозяин увидел растерянность, объяснил:

– Мы разорены войною, господин офицер, берем с постояльцев за особый род услуг.

– Мне особых услуг не требуется.

Хозяин с непроницаемым лицом укладывал в кошелек деньги.

– Это девочка, господин офицер.

Крахмальные простыни приятной прохладой об-

нимали тело, луна растворяла сумрак в комнате, переплеты рам лежали на полу четкой тенью; он пытался закрыть глаза, но они оставались закрытыми самую малость: помнился особый род услуг; тревога и страх – не ожидание владели им. Как это можно человека вносить в стоимость?!

Отказаться! Но здесь все становится известно, поднимут на смех пред всею комендатурой, пред ротой...

В длинной – до пят – сорочке он прошел чрез лунную комнату к двери – проверил запоры: их не было. Осмотрел окна. «Но зачем я все это делаю?!»

Он открыл глаза.

Она стояла в лунном потоке, скрестив на груди руки – как перед речкой.

Качнувшись вперед, вышла из светлых струй, подняла край одеяла и нырнула в крахмальную прохладу его постели.

Он стеснительно прижался к стене.

Существо из потока луны возникло и исчезло в ее потоке.

...Петухи – один звонче другого – раскричались на всю деревню: то на окраине запоют, то в середине.

Она оповестила о возвращении коротким смешком.

Рыжие волосы, много рыжих волос. Темнее волос – глаза.

– Во вар ду гевезен? – растерялся он. – Ты где была? – Маленькая, теряющаяся в руках, она прижалась к нему, успокаивая: – Господин полковник платил те же деньги.

Одно за другим мелькают селенья, мелькают дни. В его дневнике пометы: двадцатого – Делич, двадцать первого – Дюбек, двадцать первого–двадцать пятого – Герцберг.

Фон Шепинг в ратушах строг, громоподобен, краснеют голова и ресницы:

– Мне армию вести по твоим дорогам, – наседает на жалкого бургомистра, – а ты не ударишь палец о палец! – Это звучит внушительно: – Ду крюмст айнен фингер фюр этвас нихт! – Грохочет кулаком об стол: – Ни мостов у тебя, ни дорог!

Бургомистр переступает с ноги на ногу, упирает взгляд в пол:

– Война, герр оберст, мы обездолены, ни лошадей, ни упряжи...

Герр оберст недоступно бел мундиром, при шпаге и орденах.

– Суму нищего не наполнишь. – Оборачивается к неизменному своему спутнику: – Кондратий Федорович, будьте любезны, поезжайте узнать, что он сделал. – Кивает головой на бургомистра.

Власть и стоящий под ее рукой, оставшись вдвоем, усаживаются за стол, составляют списки, считают деньги. Расставаясь, пожимают друг другу руки.

– Айнен гешефтсабшлюсс ист тетиген. – Дело сделано.

В той первой деревне Иван Иванович утром постукивал в столовой пальцами по столешнице, орлино поворачивал голову – слева окно, справа окно, и в каждом мир, принадлежащий ему, флигель-адъютанту его императорского величества, полковнику, потом генералу, потом генерал-фельдмаршалу, потом... Его мир чины, ордена, женщины. Он создан для него – Творец знал, для кого этот мир приготовить.

Не то марш отбивал пальцами, не то гимн.

– Нравы в этой земле грубы; семейство с семейством живет в немом разладе друг с другом, каждое копит, копит, копит. Дочери – дополнительная статья их послевоенного дохода...

У прапорщика поникла голова.

– Не мучьтесь совестью, Кондратий Федорович! У низкого люда мораль низка. Они еще из пещер не вышли, пугни – каждый в свою кинется...

«И это он о народе, в коем его родовые корни?! Что же тогда о русском?!»

Он понял ненавидящий взгляд князя Кугушева в приемной вослед удаляющемуся полковнику барону фон Шепингу.

– Что господам угодно на завтрак?

Сердце прапорщика остановилось – она!

Тоненькая ручка вдоль тела, другая, с салфеткой, согнута. Высокий чепец, белый передник. В темных глазах ни искорки, ни движения. Вежливая приниженность.

– Ви альт бист ду?! – вырвалось у него, но скорее шепотом. – Сколько тебе лет?!

В ее голоске не дрогнуло ни нотки:

– Их бин драйцен яре альт. Мне тринадцать лет.

Шепинг выстукивал пальцами по столешнице не то гимн, не то марш.

На обратном пути порою встречаются повозки, груженные русским военным имуществом. Прапорщик Рыле-ев выскакивает из коляски, интересуется: хомуты, седла, мундиры, шинели – куда, откуда?

– Из Дрездена. Распоряжением полковника фон Шепинга!

Он улучил минутку – повидал Павлова.

– Федор, не обасурманился еще в чужедальних странах? Поди, с тобой уже по-немецки можно?

Павлов поднял жалостливые глаза:

– Батюшка Кондратий Федорович! Изморилась душа по родному небу, по крестьянству. День-деньской руки в боки, глаза в потолки.

– Мы народ подневольный: где служба, там и мы.

Он улучил минутку повидать Павлова, Марья Ивановна – улучила повидать его.

– За делами вы позабыли о нас, Конрад...

Ему жарко и неуверенно в этой комнате, отчего-то не знает, куда отвести глаза. Немецкие бюстгалтеры, корсеты Марьи Ивановны туго и близки.

– Все не так, я к вашим услугам. Но пути службы...

Она вздыхает:

– Всё так, дорогой, всё так. Шей, вдова, широкие рукава...

15

Русская армия возвращалась домой морем и сухопутем.

Флагами расцвечивания на судах, почетным эскортом яхт, бесчисленным людом на пирсах встречали ее на морских дорогах. Салютной пальбой береговых батарей.

На всем сухопутье от Парижа до Санкт-Петербурга пред нею каждый город возводил триумфальную арку. «Храброму Российскому воинству», – писалось на лицевой стороне ее. – «Награда в Отечестве», – на обратной.

Военный комендант Дрездена стоял изо дня в день у арки – встречал победителей.

– Михаил Николаевич! – препоручив полк командиру первого батальона, подгарцовывал на коне очередной полковник к коменданту. – В кои-то веки!

– В кои-то веки! – восклицал комендант, ревнуя друга к пыли неприятельской столицы на подошвах его ботфортов. – Жив-здоров, братец. Каковы парижанки?

– Парижанки – нет слов. Да Франция – не Россия.

Полк за полком.

– Михал Николаевич!..

За спиной коменданта Дрездена все больше пригарцовывающих аргамаков.

Генерал-губернатор Саксонии тридцатишестилетний

князь Волконский (повелением государя он еще и Репнин, с фамилией деда по материнской линии, чей род пресекался) скошенным глазом выражает ревнивое неудовольствие. К нему не подъедут – должность держит на расстоянии. Подвиги командуемых им войск при вторичном взятии Дрездена остановили князя на пути к Парижу, оставили в королевстве, но сердце его среди возвращающихся боевых товарищей. Не поворачивая головы – идут войска! – говорит своему коменданту:

– Передайте господам офицерам: вечером генерал-губернатор дает в их честь бал.

Летнее солнце, не затмеваясь ни тучей, ни облаком, светит и светит, будто желает быть непременно участником торжества.

Серебряные трубы оркестров бросают в пространства чужой земли победные блики российской славы.

Русский генерал-губернатор Саксонии – будто ее король, только чуть помогущественней – за ним победительница Россия. К его дворцу съезжаются со всех сторон. Господа офицеры бросают денщикам поводья, меж лошадьми и колясками упругим шагом идут к подъезду. Господа генералы степенно выходят из экипажей, подают руку дамам, подхватив подолы, те осторожно нащупывают подножку изящной туфелькой и, охнув, падают в объятия кавалеров.

В сумеречной толчее снуют фрау и медхен.

Оркестр поднял трубы, смычки контрабасов, скрипок. Мгновение повременил.

Танцевальная музыка началась тихо, издалека. Она еще не играла – она настраивала на танец.

Люстры светили пятью сотнями свечей каждая.

Музыка медлила-медлила – и вдруг будто низринулась в залу, бал начался.

Мужчины и женщины заскользили по паркету, повторяя далекие, тысячелетние движения птиц и зверей, тысячелетние, как сама жизнь.

От белого до черного цвета парадные мундиры мужчин – зеленые, синие, красные, коричневые, красные с белым, зеленые с красным... Вышедшие из войны как из позорища рода людского, они счастливы от сознания, что победили, что путь их лежит домой.

А женщины – только в белом: мужчины пришли с победой, в их честь бал-парад.

Смерть отгрохотала свое – жизнь ведет свою песнь, старательно вытягивает шею женщин, доверчиво беззащитные, томится в плавных движениях рук.

Марья Ивановна пшеничная, сдобная, в колье и кольцах, совершенно русская во дворце срединной Европы, живет балом, легким флиртом его:

– Полковник, вы замедляете шаг, чтобы присмотреться к дрезденской даме: не слишком ли она гарнизонна?!

– Мадам, – увертывается полковник, – вы созданы для столиц, но в большей мере для расположенных чуть восточнее.

Меняются танцы, партнеры, Марья Ивановна остается собой. Глаза у нее – васильки среди хлебного поля.

– Поручик, вы сбиваетесь с такта, потому что привыкли к французской спешке?!

Поручика не сразишь словом:

– Вы полагаете, русские менее торопливы, сударыня?

– Русские поспешают медленно! – Она розовеет от собственной смелости, своей отчаянности.

И хлопает васильками.

В танцующей зале – французская и немецкая речь; но там и тут над иностранной речью, над мерным теченьем музыки взлетает звонко и высоко русское слово: дамы спрашивают господ офицеров, куда их пути в России.

- В Завражье!
- В Старую Руссу!
- В Оренбург!
- В Гатчину!

Родовые гнезда, начала начал...

Праздник идет мимо сердца Кондратия Федоровича. Прошлым утром собрал его дядюшка комендант всех своих адъютантов – как ни просторен, как ни широк кабинет, едва-едва они разместились в нем: значит, дел у дядюшки много больше, чем представляется! – и с новенькой Анной первой степени, чужеродно качнувшейся над старыми орденами, поднялся он над своим столом-плацем. О чем он скажет, все уже знали: от имени его императорского величества объявит всем благодарность за усердие в службе, а некоторым – о награждении орденом или чином. В возбужденном воображении Кондратию Федоровичу виделись листы своего формуляра, на кои первой строкой ложится изъявление государем императором отцовской признательности ему за службу.

– А прапорщика Рылеева, – сказал Михаил Николаевич, – будем верить, сия монаршая милость ждет в будущем...

Несправедливо обойденным чувствует он себя, не испытывает обиду, хоть за должное счел объяснить дядюшка: «неделю без году служит».

Кондратий Федорович не кажет вида, что праздник ему не в праздник; в глазах привычный ровный свет.

У Марьи Ивановны – свои заботы.

– Конрад, – напрягает она молодую грудь и обводит глазами залу: – Это все преходяще, как сама жизнь. Только мы с вами вечны, верно, в этом саксонском загоне.

Он теряется перед нею, неверным шагом делает па, неверным движением подает руку.

Языческие божества, стерегущие душу людскую, следили за нею из тучи и облака, из мрака и света, с верхушек деревьев, из колодцев, из пепла и пламени; стояли берегами родов, племен, держали их в обособлении; но души людей тянулись друг к другу, род к роду и племя к племени, их чувства и мысли облекались в давно обретенное слово – оно соединяло разъединенное. Оно жило в чувстве и мысли, а паче – когда звучало.

Кондратий Федорович томится Словом: неуловимое, оно блуждает и бьется в нем, подкатывает к губам, но с языка не может скатиться.

*Краса с умом соединившись,
Пошли войною на меня;
Сраженье дать я им решившись,
Кругом в броню облек себя!
В такой, я размышлял, одежде
Их стрелы неопасны мне...*

Херасков и Сумароков вышли из стен его корпуса; причастные пиитической славе России, они, наверное, тоже мучились Словом – и, найденное, оно оставило имена их в истории. Берясь за перо, он думает о славе – о собственной. Уверенный в совершенстве сих строк, влетает к князю Кутушеву...

– Ваши метрические... – князь затруднился в изложении мысли, – опыты далеки от устремлений моей души. Я не могу быть судьей их, на мой взгляд, они частны. Меня же интересует не человек в отдельности, но человечество. А в человечестве – люди, не обмираю пред высокоблагородиями-высокоблагополучиями, но глядяжу поверх их голов – дальше и выше. Я люблю будущее в человечестве.

Он, Рылеев, тоже любит его. «Любопытство знать

будущее сдает меня», – писал в письмах. Но Слово не приходит к нему. В корпусе мир виделся целесообразным, полным противоречий, но целым, войди в него – поймешь и определишься; потому, наверное, и стихи писались легко и принимались кадетами. В них не было Слова, и оно было не нужно им... Однако мир оказался составленным из не примыкаемых друг к другу частей, из несообразностей они не укладывались в прежние строки, стихотворения не получалось. Казавшийся совершенством плод пиитического досуга мерк – ни отзвука, ни звука. Спасибо Павлу Петровичу.

...Во граде Салуни, благоверен и праведен, живя со своею женою, родил некий доброго рода муж семерых детей, и младший был Константин, в пострижении нареченный Кириллом. В учении книжном он далеко обошел всех учеников, но когда вступил в мир больших рассуждений, высоких мыслей – не смог понять глубины их. О прилежании и способностях Константина стало известно многим – послали его учиться в Царьград, где за три месяца он овладел всею грамматикой, иными науками и получил имя Философ.

Ростислав, князь моравский, отправил посла к цесарю: хоть люди наши отвергли язычество и держатся Христова закона, нет у нас такого учителя, чтобы на языке нашем изложил правую христианскую веру; пошли нам, владыка, епископа и учителя. Цесарь, собрав собор, призвал Константина Философа: «Иди к ним и дай им буквы».

Взял Философ с собой в Моравию своего брата Мефодия.

Века порывали с язычеством.

Словянское слово искало своих письмен.

Теперь письмена ищут Слово.

Уезжая из корпуса, Рылеев оставил друзьям на память тетрадь со стихами. В ней ничего, кроме «Кулакиады». Долгая жизнь ей обеспечена: не стихом знаменита, но чрезвычайным событием.

Он совсем недавно был мальчиком!

Умер в корпусе Кулаков, старший повар.

Эконом бригадир Бобров извлекает из треуголки обычный утренний рапорт о количестве продовольствия на текущий день, подает на докладе Клингеру. Тот читает: «Шуми, греми, не звучна лира еще неопытна певца! Да возведу в пределы мира кончину пирогов творца...» Вместо рапорта в треуголке Старого Бобра оказалась вложена некая поэма о двух частях. «А ты, о мудрый, знаменитый царь кухни, мрачных погребов, топленным жиром весь облитый, единственный герой Бобров, не озлобился на поэта...»

Такая вот проделка над человеком, собравшим и проводившим его в дорогу лучше, чем батюшка. Были раскаяния, извинения, но на душе неуют по сей день.

А Слова нет.

Им постигнуто многое, он скорее серьезен, чем легкомыслен, но берется за перо, пробует свои сочинения на сослуживцах и видит по лицам – нет Слова.

Он сидит за столом, подпирает рукой подбородок – вогнутым полумесяцем делается лицо. Мысль сопоставляется с мыслью, чувство вытесняется чувством.

Приходит Марья Ивановна, поздняя, с распущенными волосами, в халате, мается, страдалица, одиночеством.

Запускает перстневые пальцы в его волосы:

– Конрад, мальчик, зачем жизнь придумала для мужчин войну?!

Полы халата расходятся, глянцевое колено ловит свет ламп, сквозь распущенные волосы светится упругая грудь без немецких бюстгалтеров.

Кугушев улыбнулся виноватой улыбкой:

– Мишура, а приятно. Таково уж, видать, офицерское самолюбие.

Обойденный благодарностью монарха офицер Рылеев поздравляет князя с производством в полковники, обойденный признанием поэт Рылеев говорит метафорой:

– Похоже, выбор вас обвенчал с фортуной.

– Не выбор под венец ведет – судьба, – отвечено ему.

За комендантскою дверью знакомые голоса: Михаил Николаевич выговаривает, Иван Иванович оправдывается.

– И оправдается, – напрягает лицо Кугушев. – Репнин убедил Михал Николаевича не возбуждать дела.

Красный Шепинг, счастливо улыбающийся, не взглянув, прозвенел мимо них шпорами.

Ненавидящие глаза Павла Петровича долго смотрели вослед ушедшему.

– Он уходит с мнением: воруй, как воровалось! А мы сидим с вами, ждем: вынесут не вынесут благодарность, думаем: обойдут не обойдут чином!

За окном Дрезден в зелени, в солнце, в щебете птиц.

– Кстати, – говорит Павел Петрович, – вас разыскивал капитан Булатов, огонь и вихрь. И тоже с правой рукой на перевязи. У него срочные семейные дела в России.

Как заколотилось сердце у прапорщика, как застучало! Шуля Булатов, что с ним, как с ним все эти три года?!

Очень просто с ним: четыре чина, ордена, золотое оружие. Три раны: в голову, в ногу, в руку. Рука изувечена навсегда. Ему двадцать один год, следующий чин его – полковник, потому что офицер гвардии.

Господи, как далек их корпус, их ребячество, их детские страхи и радости – они взрослые мужчины, воины,

дорогами Марса пришедшие в далекие страны. Он очнувшись от воспоминаний, проговорил невпопад:

– Вы доставили мне большую радость...

А сам в неловком положении: должен передать князю приглашение от Шепинга на маленький ужин в коротком кругу, по выражению барона.

– Павел Петрович неправильно меня понимает, – говорил Иван Иванович. – Он, во-первых, во мне видит немца, во-вторых, человека.

«Вот уж кого он в тебе не видит вовсе», – успел подумать прапорщик.

– ... Сам же не ахти какой чистой линии. Наполеоном сказано: «Поскреби русского – увидишь татарина». Нам надо протянуть друг другу руку, не думать друг о друге дурно. Как говорится, над другом посмеялся, над собой поплачешь. У моей матушки завтра день ангела, буду рад видеть вас с князем в шесть вечера.

– Я не могу ответить за Павла Петровича.

– Но вы можете передать приглашение, – он произносит длинную немецкую фразу, заканчивая ее пословицей, переведенною Кондратием Федоровичем приблизительно: – Ему стелешь вдлинь, а он меряет поперек...

«Поглядим, как друг по друге кутью поедим», – мысленно ответил ему Рылеев.

Прапорщик подбирается в креслах, выпрямляет спину.

– Я понимаю нелепость того, что должен сказать, но не сказать не могу: барон фон Шепинг приглашает вас и меня завтра вечером на ужин по случаю дня рождения его матушки.

Кугушев хмыкнул. Помолчал и еще раз хмыкнул.

– Стратег! В приглашении есть какая-то цель, но чистых целей барон не знает. Потому наш ответ – решительный отказ. И пусть примет оный как знак глубочайшего к нему неуважения.

Михаил Николаевич встречал-проводил войска, возвращающиеся домой, каждый раз уходил с ними душою, каждый раз возвращался: ему надо оставить королевство саксонскому королю Августу Фридриху в прибранности и обеспеченности.

Он появлялся в своем доме-дворце иногда под утро, но всегда за полночь. Племянника видел редко. Кондратий Федорович в его домашнем кабинете не был ни разу, потому насторожен и удивлен: не иначе что-то случилось, если дядюшка отыскивал время для встречи с ним.

Августовское солнце горит на бронзовых крышках чернильницы, на шарах полированных ножек стола. Старинные книги в старинных шкафах, старинные гобелены, вощеный пол.

Косые лучи солнца горят на эполетах его превосходительства генерал-майора Рылеева, делают тени под глазами густыми и острыми. Он увидел интерес племянника, объясняет:

– Здесь все, во дворце, до последней щепки в камине – собственность сбежавшего бюргера. Уйдем – ему все до последней щепки в камине вернется в неприкосновении.

Тревога в душе, но племянник не кажет вида:

– Неспроста, говорят, Август Фридрих молил Бога, чтобы Дрезден остался за русскими.

– Не очень заноситесь в похвальбах себе, молодой человек.

– Я не себе – России, русским.

Генерал повернул к окну голову, тени из-под бровей исчезли, темный янтарь засветился в глазах.

– Россия, русские. Загадочная, дескать, страна, загадочный, дескать, народ. Да мы и сами еще о себе мало знаем. Судьбы темны, запутанны. – Он видел напряжение племянника, своего пытался не выдать. – Ко мне перед самым Двенадцатым подходил человек духовного звания: мол, в Синодике по убиенным во брани среди боярских

детей, побитых на государственной службе в тысяча пятьсот семьдесят восьмом году под Кесью, значится имя Олеши Рылеева. Не нашего ли рода ратник? Может, наше дворянство древнее, чем мы с тобою считаем?

В прапорщике всколыхнулась кровь: вот бы доказать это! Как бы взглянули на него тогда Буксгевден и Унгерн-Штернберги?!

– Странные судьбы у нас, Рылеевых, – продолжал Михаил Николаевич: ему надо волей-неволей подводить разговор к печальному известию. – Ты учился у Клингера, любимца Павла, отец твой служил у князя Голицына, гонимого им.

Голицын – благотворитель отца, умер четыре года назад. Отец – главноуправляющий его имениями, их у князя – от Саратовской губернии до Киевской. Недоглядел ли чего?

Генерал не может решиться: мысль спасительно натолкнулась на князя Голицына, припала и отпасть не хочет: и генерал-то он от инфантерии, и друг-то Державина, и генерал-губернатор-то Риги после убийства Павла; баснописец Крылов, будучи секретарем у Голицына, водил дружбу с отцом Кондратия Федоровича – он может гордиться давними литературными связями семьи... Когда у Федора Андреевича появился внебрачный ребенок, князь при отстранении подполковника Эстляндского полка Рылеева от армии помог сохранить ему пенсион и взял к себе в управляющие...

– Что с батюшкой?! – заволновался Кондратий Федорович.

– Он оставил земную юдоль.

У спящего у него проступают слезы, медленную полоской стекают по щекам на подушку.

В понедельник одиннадцатого апреля далекого тысяча восемьсот десятого года Александр Муравьев, недавний выпускник Московского университета, в высоком

чине прапорщика свиты его величества по квартирмейстерской части писал братьям в Москву: «...Скоро и вам двум откроется поле славы, и мы будем все трое служить Отечеству до последней капли крови, услышат враги имя Муравьевых и устроятся!.. В той книге, по которой все в мире происходит, в книге судьбы, сказано, что мы своими услугами возведем Отечество на высочайшую степень совершенства...» Осенью восемьсот четырнадцатого они вернулись с полей славы домой – при чинах и наградах: двадцатидвухлетний Александр – капитан гвардии при золотой шпаге, двадцатилетний Николай – штабс-капитан, восемнадцатилетний Михаил – подпоручик. Они вернулись – и сердца их остановились на миг при встрече с родиной. Если Европа разорена войной, то русская земля разорена и неприятелем, и собственными помещиками, и собственным правительством: ей не от кого ждать защиты-помощи. Деревни поразбежались, голод и нищета глядели из каждой заборной щели, из каждых глаз, из каждой морщины крестьянского лица.

Генерал-майор Муравьев, Николай Николаевич, отец, сыновей растил в строгости, воздержании:

– При сытости помни голод, при богатстве – бедность.

Они следовали советам отца, обходились малым да еще подпускали шпильки друг другу:

– Кто малым недоволен, тому великое не дается, – поучал Александр младших, ибо о великом рассуждал всегда.

– Много слышится, да мало верится, – в тон ему отвечал Николай: мол, посмотрим, посмотрим, куда выведет тебя задиранье носа.

Михаилу, как младшему, оставалось только напоминать, что он рядом, при разговоре, и что тоже не лыком шит:

– Все великое выходит из малого, – закрывал глаза и полупшепотом добавлял: – Мала птичка, да коготок остер.

Они вместе с товарищами по гвардейскому Главному штабу собираются в Священную артель, у них общий стол, общая квартира, республиканский быт на манер вольного Новгорода: в одной из комнат висит вечевой колокол, по звону его они собираются вместе для решения общих дел. Все артельщики дают торжественное обещание быть полезными своему Отечеству, они занимаются наукой, изучают древнюю историю и литературу, берут за правило передавать знания другим – готовятся к большой жизни. Но дружба дружбой, а служба службой: они клянутся нести ее так, чтобы быть примером для сослуживцев.

Их гимн звучит:

*Теперь стремится глас сынов
К тебе, Отечество любезно!
Вели – и всяк из нас готов
Все сделать, что тебе полезно.
О да осуществишь ты процветать!
Твое величье – наша слава...*

С их артелью заводит дружбу артель Семеновского полка: Иван Якушкин, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы. «Мы стоим против крепостного права, жестокого обращения с солдатами, явного неуважения человека вообще», – рцы Александр Муравьев.

Солдату отец командир, мать и мачеха – служба. Войска через Дрезден идут домой, когда же им, гарнизонным, черед будет?!

18

Война сократила дистанцию меж нижним чином и офицером – один одного держатся, потакают и прикрывают. У господ офицеров в разговорах крамола и ересь. Господин

комендант в рассуждении вольности добродушно усмешлив, в рассуждении устава – непреклонен, суров: офицеры-душеньки под арест, по солдатским спинам прохаживаются палочки, без довоенной неистовости, но убедительно.

В приемной у Кугушева необычный посетитель – лютеранский пастыр: отмечает подорожный паспорт. Голубые глаза, светлые волосы.

– Что за город, – восторгается он. – Кажется, нет ему ни конца, ни краю, ходишь до изнеможения и никак не дойдешь.

Вошедшему Кондратию Федоровичу неловко за себя: нарушил ход разговора, и за пастора: что за преувеличения?!

Оказалось, пастор говорил не о Дрездене, о Санкт-Петербурге.

– Такое множество прекрасных площадей и дворцов, что теряешься от всего этого и сперва почти ничего не видишь...

– Привычное состояние впервые увидевших Россию, ее столицу, – деликатно отзывается князь.

Пастор молод, уважительны немигающие глаза, длинные волосы наползают на них. Он не ищет протекции, у него приход и пансионат в российской столице – свою должность он займет через полгода, а пока возвращается к себе, в Швейцарию, чтобы вывезти в Россию матушку. Он в восторге от российской столицы и от русской речи.

– Мой учитель Лагарп говорит: это очень богатый, очень сильный язык, очень звучный. В нем есть восхитительные выражения, и так как после китайского и арабского языков на нем говорит самое большое число людей, то скоро он сообщится и народам Южной Европы, которым он до сих пор известен под нелепо придуманным названием варварского наречия...

Пахнуло родиной. У прапорщика Рылеева заняло сердце.

С распластанной на кивере медной бляхой, в расстегнутом мундире с золотыми петлицами, с шашкой без темляка в Управлении коменданта – войсковом чистилище! – вдруг появляется поручик барон фон Унгерн-Штернберг – воплощение духа и буквы устава.

– Кондратий! – кричит с порога, видно – в поддании, и серьезном. Обнаружив князя, вскидывает руку к киверу: – Прошу прощения, господин полковник! – И опять к Рылееву: – У тебя ни слуха ни нюха: мы возвращаемся!

– Федор! – Рылеев потрясен видом и сообщением поручика: служить здесь и не знать такого о роте. – Я с вами!.. – Тихая речка Оредеж потекла через светлый лес в утро. Он трясет Федора за плечи. – Я с вами! И пусть господин полковник простит меня тоже!

– Я-то прошу, – смиренно увещевает Кугушев. – Простит ли служба?

– Страхов много, а смерть одна, – не сходит с высокой волны прапорщик. – Но служба – это серьезно. Значит, не с ротою – лишь до роты.

У артиллерийских казарм ни пройти ни проехать – слабый пол Дрездена встал кордоном. Поручик и прапорщик раздвигают кордон, принимают двусмысленные шуточки, таковыми же и отшучиваются.

А в знакомой столовой – шампанское и гитара, русские песни, дымящиеся чубуки.

– Кондратий Федорович! Дружище, забыл о нашей артели! – встречает его компания.

Косовский в белой рубашке, с взлохмаченной головой поднимается с двумя фужерами, вдруг всматривается в них:

– Ба! В поход отправляемся, а пьем эту бальную мерзость, – выплескивает под стол. – Буксгевден, водки!

Но тот перекинул руки чрез спинку стула, уронил на грудь голову – не отзывается.

– Э, Курляндия!

Буксгевден ждет увольнения от службы по прибытии в отчий долы, думает о мызе и женитьбе – невеста давно известна ему и дому. Домом-то и выбрана.

Кондратий Федорович над столом, в его руке чарка.

– Друзья, я ухажу вместе с вами...

– Ура! – возносятся чарки.

– ...но только душою. А тело воспоследует за нею незамедлительно.

– За великую душу Кондратия Федоровича, – качнулся над столом Косовский, опрокинул чарку, воскликнул:

– Буксгевден, водки! – взгляделся в невозмутимого штабс-капитана, махнул рукою: – Курляндия!

Братья Унгерн притворно вздохнули, а Федор изрек:

– Хоть заслужишь, а в русские не выслужишься.

Он сказал об этом безотносительно, себя к немцам как бы не причисляя. Они, курляндцы, русские немцы, и это их вполне устраивает: россиянин – вовсе не обязательно чистокровный русак. Потому и шутки были обычными. А Кондратий Федорович вдруг подумал: почему сослуживцы при нем говорят больше о пустяках? Или говорить не о чем, только стол и соединяет?

В полночь пиршеству дан отбой – утром в дорогу.

Прощались шумно – с клятвами и обещаниями.

– А что за награда ждет нас в Отечестве? – воззвудмался Густав.

– Свобода! – уверенно предрек Косовский.

В Герцберге, игрушечном городке близ Дрездена, в ночь на семнадцатое сентября среди благопристойной саксонской ночи в саду господина бургомистра раздалась две ружейные выстрела – в самом добропорядочном месте города. Истощенный мужской крик, воспоследовавший за сим, поверг обывателей в окончательное смущение – плотнее задернули шторы, попрятали головы под подушки: всяк, мол, живи своей славой.

Чуть рассветало, выяснилось: ночью мимо окна опочивальни господина бургомистра в глубину сада мелькнула тень и остановилась под яблоней, напротив окон его непорочной дочери. Тень взобралась на дерево, постучала в окно. Господин бургомистр в душевном потрясении схватил ружье, открыл форточку и пальнул. Тень сорвалась с ветки, сделалась белой и дала драпа. Господин бургомистр пальнул во второй раз. Искрящийся шар пыжа долетел до тени – она огласила ночь своим криком. Прибывший на выстрелы русский патруль признал в тени полковника фон Шепинга, а во дворе высокочтимого стрелка обнаружил три фуры с русским военным имуществом. На ветвях яблони болтался мужской халат. «Вон отчего он стал белым!» – смекнул пронзительный бургомистр.

О фурах и происшествии сообщили в комендантское управление.

Генерал Рылеев с полковником Кугушевым в полдень отправились в Герцберг.

– Извини, Кондратий, мы, вероятно, там заночуем, – сказал Михаил Николаевич огорченному племяннику.

Не в том дело, что овца волка съела, а в том дело, как она его ела.

На столе в его комнате лежал большой сверток – такой неожиданный своим появлением, что он остановился: «Не туда попал?!». Невольно обвел глазами окна, стены – розовые шторы, картины, камин, стулья, деревянная кровать.

На свертке записка:

Дорогой племянник Кондратий Федорович! В день твоего рождения прими от меня в подарок сию вещьцу.

г-м. Рылеев.

Сентября 18 дня 1814 г.

А он-то думал, что день его рождения с отъездом дядюшки отменяется, что отменяется его девятнадцатилетие!..

В свертке – офицерский мундир. Тончайшее сукно льется в руках, чистой зелени его цвет, чище чистого золота горят на красном воротнике петлицы. Он прячет лицо в дорогой ткани, признательность и благодарность заставляют звонче колотиться сердце. «Такого дяди, как он, больше не найти... он заменил мне умершего родителя», – напишет он матушке.

За именинным столом они сидели с Марьей Ивановной вдвоем. «Мой золотой век, – думал прапорщик, – или золотой миг?!»

– Завидую возрасту вашему, – говорила она. Обнаженные плечи в томной беспомощности притягивали взгляд; в ямке над ключицей пульсировала тоненькая жилка. – Десять лет – это ваши триумфальные ворота. Мой тост за них! – она смотрела в фужер с шампанским, легонько покачивала его.

В углу играли на клавесине. Поодаль стояли слуги.

19

Дядюшка вернулся на третий день – мрачный, ушедший в себя; даже с князем Кугушевым не разговаривал – ни в дороге, ни в управлении, махнул рукой, мол, оставайтесь в приемной, и захлопнул за собой дверь. Ходил из конца в конец кабинета напряженный, собранный. Готовился к тяжелому разговору, не как к бою готовился – как к отступлению, к ним на Руси привыкли. Имя им – поступление совестью. Закрываем глаза, затыкаем уши. Разворачивают Россию, разворачивают армию, разворачивают тем, что крадут на глазах у всех... Полковник фон Шепинг с головы до пят покрыт грязью, но белый его мундир остается белым. Он, военный комендант Дрездена генерал-майор Рылеев, поедет к генерал-губернатору князю Репнину-Волконскому с докладом об очередных проказах барона Шепинга,

и его сиятельство в который раз скажет: не надо из мухи делать слона. Он, Михаил Николаевич, посопротивляется для приличия и согласится с Николаем Григорьевичем. Увы, по прямой дороге сейчас не ездят, все объезжают крюком, надеясь быстрее доехать... Он о близости ко двору не мечтает, но благосклонностью сановников и его императорского величества не пренебрежет.

Итак, он едет к генерал-губернатору. Будто плеть для себя везет. Нет-нет, да-да. Он будет просить его сиятельство о более приличном поприще для племянника.

В приемной Кондратий Федорович так и этак выставляет перед окном мундир: подойдет к подоконнику, уйдет в тень – сукно светится молодой зеленью и в свете окна, и в тени угла. Но Павел Петрович не замечает счастья прапорщика и замечательности обнови. По-прежнему с рукою на черной перевязи, подтянуто напряженный, он занят своими мыслями:

– Заграница показывает нам Россию издали, со стороны. И видно: в ней надо мести да мести...

Прапорщик стыдится детскости, мелочности своей радости, вслушивается в слова Павла Петровича – они близки его мнению.

Звенит колокольчик – князь исчезает за дверью коменданта. Через несколько минут выходит вместе с Михаилом Николаевичем.

Рылеев-старший останавливается перед племянником, с пристрастием оглядев, изволит похвалить:

– Ну вот! А то говорят: у нашего командира ни шляпы, ни мундира.

Сказал – и уехал с Кугушевым.

Начальник артиллерийских складов полковник фон Пален сидел за роялем – меланхолически опущенные плечи покачивались в такт музыке, перед мысленным

взором его струились лесные ручьи, в лунном свете трепетала листва, рожок пастушка призывал к шалашу пастушку... Сквозь седоватые волосы на затылке полковника просвечивала готовая стать опустошительной лысина, прижатые к черепу уши открывали румяные щеки, лежащие на плечах.

Услышав шаги за спиною, указал затылком на кресла.

Руки перестали плавать над клавиатурой, уперлись в край деки: не поднимая головы, полковник вслушивался в угасание звуков.

– Ну-с, молодой человек, – повернулся к Кондратию Федоровичу, – с прибытием в нашу вотчину.

Прапорщик вытянулся, готовый представиться, но полковник махнул рукою:

– Садитесь, у нас не принято звенеть шпорой. – Во взгляде поверх очков – милостивое снисхождение к неопытности молодых лет. – Вам повезло, Михал Николаевич к верному делу приставил вас. «Люди гибнут за металл», – говорит Гете, и это его право. «Людей убивает Металл!» – говорит фон Пален, и он прав. На нашу жизнь войн хватит, значит, без пропитания не останемся. – Он рассмеялся неожиданно, раскатисто; не смеялся, изображал смех, показывал, как может смеяться. И смолк внезапно, ни одна смешинка не оставила на лице следа. – Это есть высшая поэзия.

Кондратий Федорович не успевал осмысливать откровений полковника.

– Я буду хорошо служить, – сказалось само собою.

– Хорошее русское слово – вотчина. Пойдемте, я познакомлю вас с нею. А служба – после.

Кондратий Федорович ответил неопределенной улыбкой.

Сквозь узкие окна в решетках внутрь складов белыми полосами проникает свет – будто прозрачные шелка

протянуты от окна к окну. Пушки и ядра, кожаная упряжь, артиллерийские передки, фуры, колеса, токарные станки, кузнечные горны...

– Господин полковник, если это вотчина, то достаточного дворянина, – восхитился прапорщик, потому что ему было девятнадцать лет и потому что вспомнилось Батово.

– О! – Воскликнул фон Пален, плеснул вверх пухлую ручкой и поднял за нею взгляд. – О!

Артиллерийские склады – магазейны – стоят на окраине города: приземистые кирпичные здания под черепицей.

Сторожевые посты во все стороны на триста саженей.

В проеме дальних ворот склада возник барон фон Шепинг, далеко, но видно, что красный и сияющий, такой у него была жизнь – сияющей. В управлении злословят – язвят: лишь один человек покарал вора-бургомистр Герцберга по мягкому месту. Из-за этого Шепинг вынужден был проделать путь от Герцберга до Дрездена на фуре – лежа.

«Чего он тут?» – подумалось Рылееву. И наметилась некая связь понятий: фуры, упряжь, обмундирование, Шепинг, Герцберг...

– Артиллерия – древнейшая наука, – взял его под руку фон Пален и повернул назад, в кабинет: – Вы офицер артиллерии, вам нужно знать о ней как можно больше.

В кабинете достал из книжного шкафа увесистый фолиант.

– Георг Агрикола. «О горном деле и металлургии», тысяча пятьсот пятьдесят шестой год. Взгляните. – И исчез – короткорукый, коротконогий, плотный, подвижности необычайной.

Кондратий Федорович перелистывал страницу за страницей – с каждой звучал гимн металлу: если бы не было его, люди влачили бы самую жалкую жизнь среди диких зверей, вернулись бы к желудям, лесным яблокам и

грушам, питались бы травами да кореньями, ногтями бы выгребали себе логовища... Металл необходим для пропитания и одежды, для поддержания человеческой жизни. «Это в каком смысле, в фон-паленовском?» Он возвратил фолиант книжному шкафу.

У дяди в библиотеке из Древнего Рима вещает Плиний Старший: железные рудокопи доставляют человечеству орудия, коими прорезываем мы землю, сажаем кустарники, срезаем грозди винограда, разбиваем камни, выстраиваем дома; но тем же самым железом производим брани и грабежи, употребляем оное не только вблизи – дабы смерть скорее достигла человека, создали ее крылатою и придали железу крылья: мечем окрыленное вдаль, но того ради да будет вина приписана человеку, а не природе...

Он понял, что зря учился. В просветлении разума пожалел графа Кутайсова и время, отданное его правилам. Мудрость древних устремлена во все века, которые грядут. Не теми дорогами ходит его жизнь: комендатура, магазейны, артиллерия, металлургия... Господи, как все это далеко от него!

20

Саксонский ноябрь солнечен, сух. В желтой листве переливы солнца звенят не прощально – счастливо. Тихая грусть в них едва различима.

Свободное время водит прапорщика Рылеева по тихому, размеренному городу: прошли победители, отзвучали фанфары, барабаны отбили. Понемногу уходят тыловые батальоны и роты.

У него все его время – свободное время. Фон Пален посидит с ним в кабинете, порассуждает – и поведет к воротам с высокой каменной аркой:

– Мой совет вам, Кондратий Федорович, наслаждайтесь жизнью. Не дело в девятнадцать лет пересчитывать хомуты да колеса. Возвратимся в Россию, такого божьего дара, как свободное время, не будет. – И подает руку, прощаясь. Тяжелый. Плотный. Уверенный.

Прапорщик рассматривает книги, привезенные с собою из корпуса, они возвращают его назад, а в нем – жажда понять настоящее. В записных книжках кое-что накопилось. Мудрец-иностранец советует: если ты под худым правлением, если видишь злоупотребления власти, уведоми ее о них, но не распространяй сих истин между простым народом. А как быть ему, заметившему закономерность: фон Пален подводит его к воротам с высокой каменной аркой за несколько минут до того, как появиться пред ними подводам фон Шепинга?!

Гарнизонная служба нетороплива, без всплесков: воинство отгуляло победу, начистило бляхи, ботфорты, приготавлилось к возвращению домой. Господа офицеры на службе редкие гости – отдыхают по частным квартирам после званных обедов, ужинов, раутов. Ни днем не сыщешь, ни ночью. Денщики да дядьки хозяйствуют в офицерских квартирах, преграждают дорогу каждому.

– Барин опочивают, – поважневший Федор Павлов свешивается через подоконник, не любит, когда стоят под окном, тарабанят и показывают записку. Хороша посланница, слов нет – росинка на майской травке, но посмотреть бы на барыню ейную, край любопытно знать: достойна ли Кондратия Федоровича. – Барин опочивают! – втолковывает, да разве втолкуешь немкету: настырна, да куда как бесстыжа; повыкатила груди, небось, понимает, – с высоты просматривается до сосков, а глаз не опустит; баба и есть баба, абы мужика заманить – хоть молодой, хоть старый. Машет обеими

руками, чтоб уходила: – Придет он, придет, куда надевается... – знает старый слуга: хоть Марья Ивановна и поднимается каждое утро к Кондратию Федоровичу поувещевать за поздние возвращения, он, видно, не больно ее слушается.

Саксонцы проиграли войну, но то в одном, то в другом доме вечерние торжества с приглашением победителей. Столы, прогибающиеся под тяжестью серебра столовых наборов, фарфора и фаянса тарелок, блюд и судков, от обильных яств и напитков. Музыка, танцы с откровенными улыбками женщин, чьи мужья лежат под Смоленском, на поле Бородина, под Тарутиным, Лейпцигом и рядом – под Дрезденом. (Хотя Лейпциг – это славянский Липецк, а Дрезден – Дражаны!).

Между танцами – разговоры.

Кугушев в ударе. Окружен слушателями: всегда нов и сведущ.

– Господа, король Вюртемберга решил даровать своим подданным конституцию, учредить парламент, – говорит он.

– Превосходно! – восклицает фон Шепинг. – Ура императору Александру Первому! Это его гений питает умы европейских владык! – Верноподданно хлопают красные ресницы, взволнованная краснота проступает сквозь светлые волосы.

Павел Петрович, не договорив, изучающе всматривается в лица. Фон Пален, почувствовавший подвох, толкает в бок Шепинга, что-то говорит шепотом.

– Король созывает представителей всех сословий, и... – в глазах Павла Петровича появляется иронический блеск: – Не дай Бог такому случиться в России: представители сословий отказались от конституции! – светлые глаза поскучнели, он будто бы сам впервые услышал о сем – на

лице недоумение, растерянность. – Отказались и потребовали восстановления доброго старого права.

– Такое могло случиться лишь в немецкой земле, - высказывается фон Пален в желании показаться единомышленником. – Не сразу проснется тот, кого только-только начали тормошить.

– В привычном уме привычен порядок и привычно право: король, император, царь; порка, шпицрутены, каторга; шоры, кляп, петля. Вот, дескать, наш удел, мы созданы для вас, владыки... – Кугушев брезгливо морщится, окатывает презрением залу. На прапорщика Рылеева находит стих:

– Да здравствует король! – провозглашает он, выкинув вверх руку. – Виват!

Показалось, что смолкла музыка. Однако оркестр на хорах играл, капельмейстер взмахивал тоненькой палочкой, вытягивался и опадал спиной. Но на лицах скрипачей и виолончелистов появилось странное выражение, он оглянулся: музыка продолжалась, остановился танец – все воззрились на юношу в артиллерийском мундире. Кто-то сказал:

– Племянник Михал Николаевича.

А прапорщика несло, к месту и времени в памяти встал Державин:

– *Кумир, поставленный в позор,
Несмысленную чернь прельщает...*

И рука вознесена вверх. Доколе ему считать себя мальчиком, молчать и смущаться?!

– Стихи, допускаю, к лицу молодому человеку, но не офицеру, – набычивается Шепинг. – Да еще о священной особе. Не предполагал за вами...

– Вы многого не предполагали, – и в запале читает по-французски из Руссо:

– *Я следую по стопам господина Дидро,
Я знаю все и ни во что не верю!*

– Ах, еще и французский! Но сии стихи – сомнительное откровение, достойное внимания тайной полиции. Пристойно ли служить Государю, ни во что не веря?

Перед глазами Рылеева к воротам с высокой каменной аркой приближаются подводы во главе с господином полковником. Но Кугушев опережает язвительный ответ прапорщика:

– Не очень ли суетны вы, барон, по праву ли здесь находитесь? В офицерском обществе неприлично упоминание о полиции, хотя ей стоило бы заняться грязью, из коей выходите вы в белом мундире и не запачкав подошв.

Фон Шепинг захлебывается краснотой – вот-вот пойдут изо рта красные пузыри. В проклятой Саксонии его норовит оскорбить каждый! Будь сие в Петербурге, он показал бы этим... этим – и не находит слова.

– Я вам... Я вас... К барьеру!

Капельмейстер с тоненькой палочкою в руке застыл на хорах. Свечи словно прикоротили язычки пламени.

Кугушев отступает на шаг:

– Жду в шесть утра.

21

Прямой и спокойный, стоял он посреди комнаты, думал. Взгляд переходил с вещи на вещь, ненадолго останавливался, следовал дальше; он не прощался с ними – отмечал существование их в сем мире. Стычка с фон Шепингом нелепа и мелочна. Набирался терпения, готовился для разговора не с одним, сразу со всеми Шепингами – получилось иначе. «Недорусок» – пророненное некогда бароном и переданное ему, ведущему род от раскосых племен Кугушеву, вспомнилось в острый миг, толкнуло на выпад... Но, может быть, в этом Божий промысел: все равно не сегодня - завтра кому-то вызывать их. За окном было тихо. Горели фонари.

– Прохор! – позвал он дядьку. – Давай-ка собираться в дорогу.

– Домой едем, Павел Петрович?! – У дядьки клокастые брови напоззли на глаза, но надежду, засиневшую в них русским небом, не скрыло; руки выжидательно согнулись в локтях – сейчас или повременив начинать сборы?! Переспросил: – Домой?!

– Может быть, и домой... Скоро места родные увидим. Во всяком случае – ты с непременностью.

Дядька побежал будоражить прислугу.

Павел Петрович переоделся, в халате полуприлег на диван. Мысли, хоть и думал о завтрашнем утре, были прозрачны, ясны. Привычная готовность жертвовать собою никак не проявлялась, предполагалась, как в бою. Однако предстоял не бой – поединок. Но почему не бой? Сойдутся два человека – два стана: один – живущий за счет России, другой – Россией...

– Батюшка Павел Петрович, – вошел в полудрему голос Прохора, – батюшка Павел Петрович... До вас прибыли.

В прихожей стоял плотный фон Пален.

– Милостивый государь. Барон фон Шепинг просил меня быть его секундантом... Его решимость к поединку иссякла. Эр вайсс зих кайнен рат мер... Он не знает, как быть. Я просил посредника вашего обратиться к вам с предложением решить дело миром, но Кондратий Федорович заявил: ваше решение непреклонно.

– Вы извещены верно, господин полковник.

Над Эльбой густой туман. В кажущейся неподвижности его все-таки происходит движение – в ленивых разрывах то обнажится речная гладь, то проступят на том берегу красные крыши садовых домиков. Деревья угадываются стволами, намечающимися и исчезающими контурами крон. До солнца час-полтора; но восток уже светел. Утренник свеж.

Отсчитаны шаги; противники стоят на исходных. Холодок пробирается под мундир, зябко сводит лопатки. Рылеев вдруг сознает чудовищность происходящего: вор поднимет руку на честного человека! По справедливости ему и глазо на князя поднимать нельзя. А ведь стоит, ждет команды сходиться. И тому он виною, Рылеев: шумел, витийствовал, а под выстрел поставил Павла Петровича.

Экипажи темнеют поодаль. Федор с Прохором стоят у заднего колеса, молча смотрят на господ.

Фон Пален взмахивает платком – противники идут навстречу друг другу, белые в белом тумане. Только черная перевязь князя отчетлива – все остальное размыто. «Не перевязь – мишень! – холодеет Кондратий Федорович. – Ну чего он медлит: Шепинг у барьера!»

Фон Пален уверен в исходе, потому на лице его невозмутимость: князь – боевой офицер, барону жить осталось мгновение. Равнодушно додумывает: жизнь логична, гешефт осуществлен, складам надлежит скоро свертываться, а лишние люди – лишние люди...

Эхо над рекой улетело в город, спугнуло ворон с колоколен.

Противники лежали каждый возле своего барьера.

Меркнувшими глазами смотрел Павел Петрович на прапорщика. Явившаяся в мгновение выстрела презрительная улыбка застывала на бледном лице. Ордена не прикрыли сердце: из продырявленной перевязи толчками проступала кровь – алая на черном.

Прохор с Федором перенесли тело князя в коляску.

Туман редел. Восток светлою полосой выше и выше поднимался над лесом. Кондратий Федорович держал на коленях голову князя, убирал неверною рукою волосы с остывающего лба.

Прохор прятал взгляд за кустистыми бровями.

— На смерть да на солнышко во все глаза не взглянешь, — он словно что-то припоминал. — Вот и повидал князюшка родину...

Федор теребил бороду, про себя благодарил Бога, что не с его барином смерть случилась: с какими бы словами стоял перед барыней?

Примирая Прохора с непоправимым:

— Всяк помрет, коли смерть придет...

Михал Николаевич откинул полу шинели с лица Кугушева и медленно опустил ее.

— Какими людьми расплачиваемся за существование подлецов!

На операционном столе выкрикивал немецкие ругательства фон Шепинг: пуля перебила ему переносицу, левый глаз вытек.

Репнин-Волконский кипел едва одерживаемым негодованием. На язык просилось бранное слово:

— С Шепингом разберутся без нас с вами! Пусть этим занимаются его покровители из окружения великого князя Николая Павловича. Я перешлю им ваш рапорт. Но вам в это дело лезть не советую. Вы понимаете, господин генерал?! — Высокий, подтянутый, с костистым вытянутым лицом аристократа, князь порывисто ходил по кабинету, огромному, как зал картинной галереи. Высшее должностное лицо в Саксонии, генерал-губернатор и генерал-адъютант, он постоянно при всех регалиях, аксельбантах и ленте. Золотом горит эфес шпаги. Голова запрокинута в гордой посадке. Такие мужчины нравятся женщинам: лестно видеть их преклоняющими колени, склоняющими голову перед ними. Лестно видеть их таковыми и государям. — Итак, будем считать сию историю исчерпанной. Кугушева не вернешь, как

ни жаль... А все ваш племянничек! И где только успел набраться дерзостного духа...

Князю известна эта порода людей: собственный братец, Сергей Волконский, хоть и в генерал-майорском чине, а тот же прапорщицкий сумбур в голове. Двадцать шесть лет, а вольнодум вольнодумом. Матушка так и пишет: «Присматривай, Николенька, за нашим полупомешанным Сержем». Присматривай... Скажешь Сержу слово, тот – два, и в каждом крамола. Да и где он сейчас витийствует, Серж? В Париже – на балах, в театрах. А Дрезден и Париж даже по российским меркам – не рядом.

Михал Николаевича насторожило молчание генерал-губернатора.

– Мое отношение к вам, естественно, остается прежним, – понял его тревогу князь. – Мы не в ответе ни за дела, ни за слова своих братьев или племянников... Но чтобы вашего хлыща в двадцать четыре часа в Дрездене не было. Донесете рапортом!

Кондратий Федорович обнаружил: вокруг него ничего не стало. Значит, и был-то один Кугушев... И некому излить душу. Только в письме к матушке. «Не родом ведутся нищие, а кому Бог даст», – говаривала она. Никакой божьей воли – мир устроен так, что нищий остается нищим, как ни бьется, знатный – знатным, а вор под высоким покровительством ворует почти в открытую. Мечты о полковничьих эполетах, дворце с садочком – мальчишеская, а может быть, нищенская блажь».

Марья Ивановна хлопает носиком:

– Господи, ты ни в чем не виноват, Конрад. Годы твои виноваты, не берут в голову, какие дела делают. Говорю ему, – имеет в виду супруга, – ведь мальчик еще, а он: оттого и мальчик, что долго с ним нянчатся. Утром велит тебе отправиться в роту, а где она сейчас, в каком захолустье?

...Федор покрикивает на прислугу, укладывает сундуки:

– Хорошо в гостях, да дома лучше.

К дилижансу выходит Михал Николаевич:

– Бог с тобою, Кондратий Федорович. Не учил отец, а дядя не выучит. Не знаю, свидимся ли когда, но будь осмотрительней.

Прапорщик вскидывает руку под козырек, только чувствует: неладно так расставаться, и дядя чувствует – обнялись, расцеловались.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Валяй, кургузка, недалеко до Курска: семь верст отъехали, семьсот ехать.

Невесомой легкости воздух наполняет грудь, нет-нет усомнишься – воистину ли дышишь?! Синяя даль поднимается над лесами, открывается с берегового яра, простирается до горизонта. Кажется, и его проехал уже, ан нет – опять отодвинут и опять до границ его недосягаемых – синие дали. Рожденному в них – в них возвращаться.

Россия.

По светлым лесам, неторопкая, ходит осень, шуршит опавшей листвой, владея ее просматриваются из края в край; голые ветки, покорные ходу времени, закону природы, стынут в недвижимом стремлении ввысь или опускаются долу. На придорожной осинке, тронутый верховым током воздуха, вдруг забьется багря-



ный листок – одинокий, забытый, и отзовется в сердце то ли памятью прошлого, то ли надеждой будущего.

Но глохнет и гаснет сердце при виде поверженных, опустошенных войной деревень. Над саксонской деревней звучит лай собак, мычание коров, пение петухов, а здесь – мертво. Окна заткнуты рваной лопотью, дворы пусты; ни соломы на крышах, ни снопов на гумне. Нищета. И никто не спешит на помощь.

На семи верстах один с денежкой Аким.

С покосившихся крестов у распутий сострадательными глазами взирает на жалкую жизнь распятый Христос.

В бурьянных полях у Столовичей, под Гродно, с утра до вечера раздаются команды, взмыленные кони оскалывают зубы, таскают по месиву стылой грязи пушки; потные пушкари, надавая плечом колеса, спешат занимать рубеж.

Его конно-артиллерийская нумер Первый рота. Батареинные ученья.

У незнакомого капитана, летающего на кауrom над выбивающимися из сил людьми, налево-направо в руках ходит плетка.

Кондратий Федорович останавливает коляску, ступает на землю – входит в новую жизнь. Дрезденская была праздник, эта, в Столовичах, станет буднями. На него не обращают внимания – просто проезжий офицер любопытствует.

– В отдалении что за честь для роты? – восседает на черном коне и зычным голосом подает команды молодой генерал.

– Конница справа!

Капитан поворачивает к нему непонимающее лицо. Бомбардиры постарше стенкой становятся у пушек, выставляют штыки, помоложе – тычутся кто куда, рассыпаются по полю.

Генерал поднимает на дыбы коня, широкой рысью идет к капитану:

– При налете конницы командуется: «Строй кучки!»

Капитан оглядывает роту, командует:

– Строй кучки! – пускает коня в галоп, хлещет плетью налево-направо, сгоняет рассыпавшихся по полю к орудиям: – Строй кучки!

– Перед фронтом колонна войск неприятеля! – подает новую команду генерал.

– По колонне огонь! – привстает на стременах капитан.

Генерал шажком подъезжает к нему, перебирая поводья, уму-разуму учит:

– Указывай род заряда. По колоннам и массам стреляют ядрами, гранатами... – внушающий истину и внимающий удивительно похожи друг на друга. – Картечью стрелять, только когда они в близком расстоянии.

Капитан вносит поправку в команду.

Мимо Рылеева лошади тащат пушку. Бомбардиры узнают офицера, приостанавливаются:

– Здравия желаем, вашбродь! – а в глазах радости никакой, напротив, сводят брови, скучнеют голосом: – Так вот и воюем, то мы с неприятелем, то офицеры с нами.

– В бою грудь под пули, в замирье спины под палочки, – они поспешают, торопятся, до него долетают слова: – Укроти, господи, командирское сердце.

Всем услышанным-увиденным он застигнут врасплох, сражен. «Это и есть «Награда в Отечестве?!» – думает.

Возле штаба ремонтерские офицеры сдавали закупленных лошадей. Шла выбраковка. Вахмистры – конь не дареный? – придиричиво заглядывали в зубы, поднимали копыто – не греется? Поворачивали подошвой кверху,

ковыряли ногтем – не пахнет? – ощупывали бабу – нет ли подвывиха?... Артиллерийский конь и скакать должен, и тягать пушку. Оплошку дашь при отборке – не пойдет служба ни у коня, ни у солдата.

Рота пополнялась лошадьми и людьми. Во дворе штаба раздавалась команда: «Сено!», а через мгновение: «Солома!» - рекруты поступали такой глухотой, что не знали, куда направо, куда налево – им привязывали к одному плечу сено, к другому – солому.

– Чем могу быть полезен? – вскинул глаза дежурный офицер. Выпрямился станом на табуретке: – Ба! Кондратий Федорович! Какими судьбами?!

– Не имею чести.

– Имеете, имеете! – дежурный вскочил, подросток подростком: светлые усики, еще не знающие бритвы, светлая прядь из-под кивера. – Я шел классом ниже. Прапорщик Миллер!

– Господи, Федька! – обнялись. Воинское братство воспитывается в корпусах с детских лет, у них одни и те же воспоминания, одинаковые, но окрашенные по-разному: у кого светлые, у кого темные. – Господи, Федька! – повторял Рылеев, чувствуя себя вернувшимся из дали, равной дали целой прожитой жизни.

– Ух ты, как хорошо! Прямо как у Старого Бобра: «У нашего старосты три радости: на масляной кататься, на Святой качаться, на Троицын день венки вить!» – Миллер ударяет ладонью в плечо Рылеева. – Вот ведь как бывает!

По корпусу они полузнакомы: Миллер пришел позже – и сразу в старшие классы, но они земляки - батюшка Миллера полицейский начальник Софийского уезда, рылеевское Батово – в его пределах. Матушка Кондратия Федоровича дружна с семьей исправника.

– Что корпус, что Клиггер?

Вопросы-ответы. Вопросы-ответы.

– А страшно в бою? – насмелился спросить Федор.

– Опасно, – был лаконичен Рылеев.

И минуты, казалось, не были вместе, а час пролетел. В русский час много воды утекает.

– ... командир капитан Сухозанет, Петр Онуфриевич, переведен из пехоты.

– Нечто новое в артиллерии. Великий, знать, человек?

– На словах, что на гусях, а на деле, что на балалайке. – Не так резко об отце-командире.

– ...генерал тоже Сухозанет, Иван Онуфриевич, начальник штаба артиллерии Первой армии.

– Братя, следовательно, – Кондратий Федорович сощурился. – Матушка Россия в новом платье, да старом разуме.

Федя, вскинул задорные брови: дескать, мудр-мудр, набрался ума за границей, потерялся между людьми. На всякий случай спросил-ответил:

– Много нового, да мало хорошего?

Он едва успел представиться Сухозанетам, отвезти вещи в мужицкую хату, выделенную ему под постой (у них с Павловым все наоборот: из князи в грязи!), как позвали на совет: генерал производил разбор учений.

– ...поручик Сливицкий будто впервые подошел к орудию: при выстрелах втягивал в плечи голову, искал глазами, нет ли где поблизости какого укрытия...

Неодобрительный гул прошел по горнице – напраслина. Во взгляде Сливицкого – пренебрежительная усмешка.

Сухозанет хорошо воевал в Двенадцатом, жаль, что ему теперь, похоже, до конца дней будет казаться, будто правильно только так, как у него было под Клястицами или на Березине.

– ... выше всяких похвал штабс-капитан Буксгевден, поручики бароны Унгерн-Штернберги и Косовский. Пои-

менованные господа офицеры, полагаю, станут достойными помощниками новому командиру.

Все смотрят на Рылеева, ждут, когда можно заняться человеческим делом – встречей товарища. Но генерал учит основательно:

– Ничего нет постыднее для армии и артиллеристов, как напрасная трата снарядов...

Колеблется пламя свечей, духота густеет, лица покрываются потом. Штабная изба с размахом, но даже с размахом – она изба.

2

Его формулярный список лишь начат: неполных три месяца в роте, вдвое дольше в комендатуре – и снова рота. Вне формуляра то, что он узнал о жизни, о России и что в ней понял.

Он обнаруживает, присмотревшись: те же, да не те господа офицеры: Сливицкий рассказывает анекдоты – смеются, но прежней бесшабашности в смехе нет, отсмеявшись, отулыбавшись, лица потухают сразу.

Он рад, что у него под команду опять ни одного человека. Великосветские остзейцы служат с ним в одной роте, в одних с ним гарнизонах. Он хочет стать с ними наравне хотя бы по образованности – укрылся в четырех стенах, заполняет досуг чтением, писанием стихов. (Вон как всколыхнулась кровь, когда Михал Николаевич предположил, что род Рылеевых, может быть, более древен, чем они с ним считают!).

Господа офицеры забегут на минутку – и покидают отшельника. Федя Миллер задерживается подольше:

– Живет не тужит, никому не служит, – берет первую попавшуюся книгу, не читая. – Хоть бы денек пожить так.

Федор Унгерн стоит у притолоки, не проходит дальше:

– Он живет правильно. Что, ему бегать к командиру за службой?

– Бегать не бегал, а спрашивать спрашивал, – вроде бы оправдывается Рылеев. – Обратись в Главный штаб, сказал Сухозанет, может, там для вас новый взвод учредят в роте. Но Главный штаб – это далеко.

Повеселятся, позлословят и разойдутся.

Один Федор Павлов не одобряет жизни барина: суров, неприступен. Ходит тенью по хате, на вопросы отвечает не вдруг, медлит. Да слышит ли он, думает, слушает ли?!

– Глухой и слушает да не слышит, – мимоходом изъясляет неудовольствие: – Скоро и слушать-то станет не о чем...

Прапорщику смешно.

А у Федора на уме: давно ли с барином отправились в путь – эвон куда приехали!

«Торопится, как поповна замуж», – ворчал он в недавних днях, укладываясь чуть свет в дорогу на иноземных постоялых дворах. Понимал нетерпение молодой души, но и сдерживал ворчанием: не на свадьбу скакали... На русских дорогах хоть поговорить было с кем, а как миновали границу – на козлах объявились не люди, колоды необоротливые: ты так к ним и этак – молчат. Басурманы и есть. А что город Дрезден – так хуже не придумаешь, кругом немцы: слуги – немцы, гости – немцы, барыня будто немка. Только с Кондратием Федоровичем и наговаривался по-русски. Да барину до разговоров ли со слугою?

Бороденка у Федора веником-голиком, нос вострый, глаза хитроватые. Но он их не кажет барину.

– Не хозяин, кто своего хозяйства не знает, – перебирает офицерский скарб в сундуке, ворчит будто про себя, слова у него одни, а разговоры другие: – Хозяин что ступит, то дело найдет... Но у нас слуге говорят: не делай своего хорошего, делай мое худое...

По собственной воле, в собственное удовольствие он занимается верховой ездой. Чувствует себя в седле то Александром Невским, то Дмитрием Донским, по меньшей мере – человеком, готовым вести за собою рать.

Унтер-офицер Щербинин – учитель строгий, взыскующий:

– Поводьями вот так вот надо, – показывает он, сидя в седле. – Лошадь на себе везти надо, а не то чтобы покататься сел. И махать хлыстом пуще всего вред. Стебай лошадку, стебай, а не гладь – подумает, что щекочешь, и забалует. Ей бег брать, а она не поймет, какой бежью иттить...

У Щербинина взгляд пугающий: черные глаза под низеньким лбом напрягаются у самой переносицы: такой мучительной работой мозг перегружен – смотреть страшно, кажется, там что-то должно загореться и перегореть. Но и еще кажется, что за темными глазами, в голове его так же темно, как во взгляде. Он аккуратно тяжел, аккуратно высок пеш и конно. Будь другого корня, другой крови – ходил бы в генералах давно. Но род не тот. Буксгевден определил вахмистру место на конюшне.

– Стебай сильно промеж вторым и третьим ребром, для лошади не в урон, а паче по крупу сама вперед подаст.

Показывает, как это делается: лошадь вздымается на дыбы – и сразу вскачь!

Господин прапорщик вместе с рекрутами постигает наездничью науку, не обижается на учителя: пусть душу тешит. Тот наполняется вдохновением, напряжение во взгляде сменяется размягченностью: он сколько угодно может бить парад лошади.

– Она не зверь какой, никогда на человека не кинется, – живет вдохновеньем и любовью вахмистр, – а ежели кинулась, то уж не человек ты вовсе, но изувер: надо же до чего довести животное... Садись на длинные стремена, по-ка-

валерийски, рукама-ногама эвот не делай, чай, не в ночное едешь... Эх, лошадки, лошадки! В прежнее время ремонтеры пригонят табун – загляденье: одна к одной, масть к масти... Повыбивала война породу – что у людей, что у лошадей. День ко дню, а когда теперь возвернется все? Чалых да каурых пригнали, саврасок да игренек. Что было доброго, так ваша караковая. Да и то сказать, зачем нам, к примеру, скаун арабский? Нашим лошадам не по пустыне скакать с легким седелком – из хомута не выходить, из-под солдата, або командира... Соскребешь с боков пену – и опять в путь.

Унтер-офицерская наука обнажала неизвестное в кажущемся известном, советовала, наставляла... Не принуждай коня к рыси – она супротив естества, ходи галопом. Конечно, конь и хлынью пойдет, и нарысью, и вперебой, и наметом, и иноходью, и впритруску, а все галоп лучше, ну случаем – слань да стелька. Дыбки – это для генералов, аще полковников...

Усердие прапорщика Рылеева в верховой езде заслуживает внимание командира роты:

– У вас есть упорство, значит, вы по духу командир. Потому назначаю вас начальником команды по обучению верховой езде.

«Вот так! – поморщился Кондратий Федорович. – Попался. Дотянулась командирская длань. Но что делать!?»

– Слушаю-с!

3

Он дал своему караковому имя Ней.

Ничего удивительного: девятнадцать лет прапорщику, а неприятель повержен, посрамлены его маршалы. Именем одного из них и названа лошадь – Ней. Все-таки наполеоновский герцог Эльхингенский, наполеоновский князь Московский.

Как, однако, заносит людей!

– Конная артиллерия – на войне главная сила, – обуче-

ние верховой езде рекрутов он начал с изложения правил генерала Кутайсова, они отложились в его памяти навсегда. — С быстротою и легкостью своею она может с великою скоростью переноситься в разные места и при этом брать некоторую часть людей на лафеты и подручных лошадей.

Голос господина прапорщика звучал уверенно — молодой, становящийся баритон, не приспособленный, однако, как оказалось, для подачи команд. Отговорив вступление, прапорщик стесненно замялся, заперебирал поводья, не скомандовал — дал петуха:

— На конь!

Вроде, не на чем потеряться голосу, а потерялся, рекруты выполнили команду не все разом, не в сей миг.

Щербинин пришел на вырубку, незаметным ходом сменил на командном месте Кондратия Федоровича, загенеральствовал над строем, взбодрил его:

— Смотри гвардией! Не забывай: у тебя золотые петлицы!

Напомнил о награждении роты «За неоднократно оказанные в сражениях отличные подвиги удачным действием из орудий...»

— Тому хвалиться, кто на конь садится, — сеял он семена превосходства пред другими родами войск. — Не тому же, кто коня не видывал... — Подшучивал над невезучим: — Не видал, как упал, погляжу — ан лежу... — Грозил выгнать из команды нерадивых увальней: — Ни роста, ни родства, ни виденья. Аккурат для обозу.

У Щербинина получалось ловко. И настал день, когда Кондратий Федорович послал к унтер-офицеру дядьку:

— Федор, поди скажи: пусть без меня проводит занятия.

Дядька со стариковской готовностью потрусил через улицу, приволакивая левую ногу, передал слова барина и

потрусил обратно, не зная, что этот путь он будет теперь совершать каждый день.

В манеже Кондратий Федорович любил появляться ранним утром. Перепопившийся усердием Щербинин подлетал с рапортом.

– Вашбродь! – заносил руку.

– Пустое, – отмахивался прапорщик и велел выпускать лошадей.

Они выходили в куржавый утренник, пружинили каждой мышцей, поглядывали по сторонам. Морозный воздух щекотал их, застоявшихся в теплой конюшне, – они отфыркивались, и видно было: каждая ждет предложения, чтобы дать заиграть своим пружинам. Его Ней косился на каждый предмет, даже знакомый-перезнакомый, будто не узнавая – искал повода для баловства. Хлопали ворота конюшни – Ней взбрыкивал, изображал панику, раздувал ноздри, подтягивал голову к коленям – задние копыта лягали воздух.

Рылеев влюблен в лошадей. Скромно приписывает в письмах к матери: «Надеюсь сам скоро быть ездоком...»

Он окликает своего каракового. Ней останавливается, присматривается к нему: лошадь человека узнает сначала по голосу, потом по запаху, только потом – глазами. Зрение у лошади никудышное.

Прослышавшие об усердии прапорщика господа офицеры собираются у манежа, переговариваются меж собою за пряслом; их группа иноземно не вяжется с серым фоном Столовичей, но и украшает их одновременно. По группке видно, кто к кому прилегает: Буксгевден всегда возле Сухозанета, Сливицкий всегда с Гардовским и Унгерн-Штернбергом Федором, Густав – чуть в стороне.

Седлают Нея. Подводят к господину начальнику.

Кондратий Федорович бравивирует – разгоняет коня

боковым пробегом, на скаку взлетает в седло и выхватывает саблю. Герой. Полководец. Генералиссимус. И действительно чувствует за собою готовность и способность вести.

– Будет прок, – переглядываются господа офицеры.
– Способный малый.

Он не слышит, не видит их – в нем азарт, молодость, сила. Горячит коня, срывается в галоп, в утреннем солнце взблескивает его артиллерийская сабля, и голова соломенного манекена, ссеченная вместе с правой рукой, отделяется от тулова, падает наземь.

– Так и надоть бить супротивника! – подбадривает Щербинин. – Дышло ему в ноздрю!

«Бить» – неожиданно напоминает прапорщику о клингеруре. Он вкладывает саблю в ножны, наеженно говорит наставнику:

– Бить-то бить, да добро бы не делать этого.

Унтер-офицер опешивает, хлопает глазами:

– Оно и верно, вашбродь. Это кто бьет, тому не больно.

«Не так уж и темно у него в голове, – думает прапорщик. Но и опровергает мысль: – Откуда ей быть светлой?! Забита уставами, наставлениями, зуботычинами...»

– Правильно думаешь, молодец! Чужим умом в люди не выйдешь, – говорит он, спешиваясь.

Косовский беззлобно шутит по-за пряслом:

– А что, если выставить Рылеева с его Неем на каком-нибудь дерби?

Сухозанет откликается светской осведомленностью:

– Между прочим, в прошлом году английский чистокровный Смоленск победил на Эпсомском дерби. Смоленск, господа офицеры! В честь нашей победы.

– Знаменательно и любопытно.

– ...но Ней-то бит не единожды.

—...одно к одному: куда нашей артиллерийской коняшке до английского чистокровного.

Где крыша над головою, там и дом: обжились господа офицеры, солдаты устроились – артельные кухни дымят над Столовичами, топят бани, совершаются браки: вечные – на небесах, на время постоя – в перинах. У гадалок выпадает на картах бабам да молодыцам – при своих интересах, солдатушкам да господам офицерам – дальняя дорога.

У штабс-капитана Буксгевдена внешность начинает лишаться примерности: по щекам курчавится рыжина, мундир мят, сапоги не чистятся. Капитан Сухозанет деликатно избегает встреч с ним, сторонится, да и сам Буксгевден на службе по несколько дней не появляется. Сухозанет пытается денщика штабс-капитана: что да почему, дескать; велит хорошенько обихаживать барина. Денщик отводит глаза, руками разводит:

– Косен языком, вашскоброть, сказать путно. Сохнет баринок, вяхнет...

Буксгевден в своем измятом состоянии наведывается к Рылееву. Наведываться наведывается, но на вопросы о причинах хандры не отвечает. Вздыхает и зарывается в книги, зачитывается – вроде отходит душою, а оторвется – тускнет взглядом, к двери направляется:

– Я отбываю, Кондратий Федорович. Постигай мудрость. – И кивает на книги.

И тут Кондратий Федорович догадывается:

– Как ее звать?

– Беата Хмелевська, – неожиданно для себя откликается штабс-капитан.

– Так в чем же дело?!

– Пан Хмелевський хоть и однодворец, ведет себя именитым шляхтичем. В Польше каждый – шляхтич и каждый – королевской крови. Я на порог, а он: «Цо пан

хце?» – Не скажу же: «Беату!». На порог не пустит. Да он и не пускает: глаза настороже держит, словом обменяться с нею не даст. А Беата... Видели бы вы... Даже мой денщик красноречивым становится: «Ножечка, что чайна ложечка!»

На Кондратия Федоровича нисходит вдохновение, в глазах возникает блеск, в голове роятся мысли и планы, он вскакивает со стула, возносит руку к близкому потолку:

– Приближается Рождество. Пусть Новый год станет двойным праздником.

Излагает план...

Вечеру Миллер – Федя Маленький (два Федора в роте: он да Унгерн, не считая дядьки Павлова) – постучался к пану Хмелевскому. Пан отворил дверь – прапорщик не вызывал у него подозрений-опасений: на такого Беата не заглядится! Провел в горницу, усадил в кресла, предложил чубук. Некурящий Федя от чубука не отказался; завел речь о жителях Столовичей: щедры гостеприимством, богаты душами и дворами, честь блюдут, высоко носят – напропалую улещивал высокородного. Европа являла собой пример совершенства, когда Речь Посполитая была единой – не в унижении, не в оскорблении...

Расчувствовавшийся пан выставил лафитник, в разговорах и тостах полнился королевской гордостью:

– Еще Польша не сгинела!

Седые космы нависали над черными бровями, глаза отливали королевской синевой. Наполняя аккуратные рюмочки, планы возрождения строил. К полуночи полюбощивал:

– Цо пан хце?

Чего пан хотел? Выездная командирская тройка, управляемая Федором Унгером, уносила Беату с Буксгев-

деном в Гродно, где штабс-капитан загодя снял квартиру. Столовический ксёндз широким крестом благословил их дорогу.

Утром местечко ахало, изумлялось, ксендз отпирался неведением, букогевденские злотые счастливо позванивали под сутаной. Сухозанет объявил розыск исчезнувших офицеров. Но они прибыли сами на третий день – честь честью! – готовые принять любую кару. Петр Онуфриевич, однако, ограничился замечанием, и только Феде Маленькому сказал:

– Умыкать умыкайте, но не нализывайтесь до положенья риз: пан Хмелевский неделю на старых дрожжах бродит.

4

В роту отовсюду приходят письма.

Господа офицеры удаляются в сторонку, вскрывают конверты. И преображаются лица: свой дом не чужой – из него не уйдешь.

– Смотри-ка, тыл осведомлен о войне более нас, – говорит Федор Унгерн. – Олсуфьев, потеряв корпус, оказывается, попал в плен. Наполеон в разговоре с ним обозвал пьяницей прусского главнокомандующего, но и побранил русских: «Зачем в 1812 году сожгли Москву, такой прекрасный город?!» На что наш генерал отвечивал: «Русские не сожалеют своих деяний, но гордятся ими». Наполеон топнул ногой и указал на дверь пленнику.

– Но это любопытно знать, господа, – отзывается Рылеев.

– Однако любопытней сообщенное мне. При наших Столовичах 13 сентября 1771 года Суворов разбил коронного гетмана Литвы князя Огинского, – говорит Косовский, – хотя у Александра Васильевича войск было в четыре раза меньше, чем у гетмана...

Они осведомлены в поэзии весьма и весьма: ни в дни войны, ни в дни мира не порывают с нею, в письмах к друзьям рассуждают: «Пусть Государь позволит одному Жуковскому говорить о его подвигах. Все прочие одорифмователи недостойны его. Они и стихи их, и проза, и ненависть их, и хвала их, и одобрение, и ласки, и эпиграммы, и мадригалы, и вся сия стишистая сволочь – надоела». И так далее, но в разном духе. Однако неспроста в дневнике почти у каждого среди списков стихотворений, целых поэм, есть это:

*...Я спал и видел чудный сон!
Как будто светлый Аполлон,
За что, не знаю, прогневленный,
Поэтам нашим смерть изрек;
Изрек – и все упали мертвы...*

Рылеев прочитал эти выписки у Федора Унгерна под эпиграфом: «Моя муза, благоразумная и скромная, умеет отличить поэта от честного человека», а называлось стихотворение «Видение на берегах Леты»:

*Везде пирует алчна смерть,
Косою острой быстро машет.*

Оно было переписано без фамилии автора, но Кондратию Федоровичу почему-то подумалось, что это Крылов.

*«Кто ж ты?» – Я Русский и поэт,
Бегом бегу, лечу за славой,
Мне враг чужой рассудок здравый...*

Стихи без Слова даются легко, всем легко. В один присест у него получилось «Подражание Крылову», или «Путешествие на Парнас»:

*Итак, предпринят путь к Парнасу,
Чего же медлить? Ну, смелей...*

«Видение на берегах Леты» написано, однако, Константином Батюшковым. Безжалостно бросившее в реку Забвения

русских писателей, оно разошлось не только по дневникам господ офицеров, но и по альбомам дам, тетрадям школяров, так совпало со мнением их, что породило множество подражаний.

В июльской книжке четырнадцатого года «Вестника Европы» появилось стихотворение «К другу стихотворцу» (позже выяснилось: к Вильгельму Кюхельбекеру) с мыслями и чувствами Батюшкова: и Парнас с Пегасом, и Аполлон, и Лета – все там было.

*Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет,
Сердись, кричи, – а я-таки поэт.*

Под стихотворением стояло «Александр Н.К.Ш.П.» Фамилия – безгласный перевертыш. Стояло «энкашапе», хотя в предыдущем номере журнала издатель просил «сочинителя присланной в «Вестник Европы» пьесы под названием «К другу стихотворцу», как всех сочинителей, объявить нам свое имя...»

Восьмого января 1815 года на публичном экзамене в Царскосельском лицее при чтении автором «Воспоминания о Царском Селе» в присутствии Державина это имя раскрылось – АЛЕКСАНДР ПУШКИН.

В январе этого же года конно-артиллерийской нумер Первый роте вышел приказ передислоцироваться в город Несвиж Минской губернии.

– Понятно! – стратегически мыслили господа офицеры.
– Мир заключен окончательный, в глубь России уходим.

– На сто верст, – уточняли.

На дворе дождь со снегом, сыро и холодно, а в хате тепло. Три свечи на столе в канделябрах освещают лица постояльцев, собравшихся ужинать: братья Унгерн-Штернберги, Миллер – Федя Маленький – и Рылеев. (Свечи и канделябры – дорожная принадлежность господ офицеров, хозяйский свет – лучина). Вторая ночевка их на недолгом пути Столовичи – Несвиж.

– В мире все исполнено смысла, значения, – Густав продолжает философический разговор, начатый в дороге. – Мы не всегда помним об этом, а может, не осознаем. С нами, с человечеством, может случиться то же, что с морем, из которого за сто лет испаряется на одну каплю больше, чем в него возвращается.

– Грядут страшные испытания, – Федя Маленький легкомысленно насмешлив. – Потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках в сретенье господу на воздуши...

– Федор Петрович, оставь свои вольности для бесед с единомышленниками, – не допускает покушения на брата Федор Унгерн. – Хотя, конечно, никто не войдет в царствие небесное, кто не пройдет через искушение. – И поднимает тост.

Кондратий Федорович состукивается с ним чаркой:

– Воистину, ты блажен, ибо ты понял.

На равных с братьями он не мог себя долго чувствовать: само собой за ними вставали древность рода, не муштра – воспитание, обширность званий. Их пестовал род, ему надо было род пестовать в себе. Ночь долга, разговор долог.

– Наша рота имеет номер Первый потому, что с нее началась конная артиллерия в России, – просвещает молодежь Густав. – В девяносто шестом по высочайшем утверждении она была представлена к смотру и заслужила общее одобрение.

Они будто заново познают Россию.

– Столовичи, Несвиж – это первый раздел Польши, – говорит Сливицкий.

Ему внимают. После смерти Августа II в Речи Посполитой начались раздоры. При поддержке Екатерины и русских войск на престол взошел Станислав Понятонский. Не согласный восстановить в правах православное

меньшинство, сейм был арестован русским послом князем Репниным и выслан в Калугу. Недовольные шляхтичи организовали конфедерацию и поднялись на вооруженное восстание. Понятовский обратился за помощью к Императрице ...Литовские конфедераты со своим маршалком князем Радзивиллом укрылись в Несвижском замке. Ни те, ни другие не устояли перед силой русского оружия.

В феврале 1772 года в уважение почина Фридриха II состоялся раздел Польши.

Несвиж куда значительнее Столовичей: над деревянными домами мещан тут и там высятся железными крышами каменные дома помещиков. Дворец князей Радзивиллов перенеси в столицу – окажется к лицу ей, библиотека их, может быть, окажется лучшей в городе.

В начале кампании 1812 года Наполеон приказал брату своему Иерониму – королю Вестфальскому – нагнать и разбить армию Багратиона. Под Несвижем тот упустил русского генерала, за что был отстранен от командования корпусом.

Хозяину нового постоя прaporщика Рылеева – под шестьдесят, сед и согбен, но скорей по привычке, не от старости, а хозяйке и тридцать навряд ли наберется.

– Бог не мужик, бабу отнимет, так девку даст, – проговорил старик, заметив недоуменно-сравнивающий взгляд постояльца.

– Видать, она у тебя верховодка? – спросилось тому.

– Коза не скот в скоте, не зверь в зверех еж, не рыба в рыбех рак, нетопырь не птица в птицах, кем жена правит, – опередила в ответе хозяина хозяйка.

Она не произносила – вышептывала слова, Кондратий Федорович вяз в ее речи, настороженный, думал: не в обитель ли раскола, крамолы и ереси поселен.

... Буксгевден выхлопотал отпуск, уехал в Ригу до августа.

– Беата – королевская кровь! – говорило содружество.
– Хотя сейчас возводи на трон! – но тут же передумывало:
– Только лучше Буксгевдена. При случае недурно иметь на троне своего человека.

Библиотека Радзивиллов сокрыла прапорщика Рылева от службы. Великие книги укрепляли в нем приверженность к Слову, сознание неотделимости его судьбы от Слова.

Кирилл, уходя на суд божий, сказал Мефодию: «Вот, брат, были мы с тобой парой в одной упряжке и пахали одну и ту же борозду, и я на поле падаю, окончив день свой...» Прапорщик читал и думал: «А я один, у меня в роте нет никого, кто бы мог разделить мои мысли, хоть они еще не созрели и не наполняют собой строки. Книга вела дальше, повествовала, он чувствовал, что о нем: «Сказали ему с яростью: «Будет же тебе худо». Ответил он: «Истину говорю перед кесарем и не стыжусь, а вы творите надо мной волю свою, ведь не лучше я тех, кто во многих муках утратили жизнь за то, что говорили правду...»

Княжеский библиотекарь приносил ему летописи, они входили в душу сознанием древности русского народа; он думал, зачем пылится преданиям старины в библиотеках, надо выносить их на свет, пусть все видят, как велик и древен русский народ. «И славна бысть вся земля его во всех странах страхом грозы хрбрѣства князя Дмитрея, и зятя его Довмонта, и муж его новгородцев и пскович». Он перекладывал страницы, разглаживал бережною рукой и чувствовал: в нем начинает напоминать о себе готовность вести за собой. Она с особой резкостью поднялась вчерашним вечером: от матушки пришло письмо, покорное, скорбное – со вложением. Киевское губернское правление

через канцелярию Первого кадетского корпуса уведомляло прапорщика Рылеева, что на все имущество его отца наложен правительственный секвестр. Матушка добавляла: нынешняя владелица голицынских поместий вдова батюшкина благодетеля предъявила им как наследникам Федора Андреевича иск в восемьдесят тысяч рублей, хоть все его имущество не стоит и десяти тысяч. Сама же она не может найти трех рублей, чтобы выкупить хранящийся в киевском доме ее портрет. «О вельможи, о богачи! Неужели они ничего не чувствуют, отнимая последнее?! Не присылайте лучше ко мне ни копейки, я, право, не нуждаюсь в деньгах, ей-богу, не нуждаюсь, постарайтесь только выкупить портрет!..» – отвечает он матушке. В угрюмых рассуждениях он увидел себя стоящим посередине: выше его те, у кого дворцы и поместья, от кого зависит его судьба; ниже его – солдаты, крестьяне, их судьба зависит от его воли. Дописывал письмо: «Жене Федора Павлова скажите от него, чтоб она не печалилась, что он все, слава Богу, здоров и при первой оказии приедет, я никак не могу нахвалиться сим добрым стариком – и желал бы, дражайшая матушка, дабы вы его, когда он приедет, отправили в деревню на покой за его труды и добродетель». Представил отъезжающего дядьку и вдруг подумал: «Кто же будет прибирать на конюшне, кто за комнатой следить станет. «Приписал: пусть матушка взамен пришлет Федьку, который будет за лошадьми присматривать, как охотник до них, и Ефима, который будет в горнице.

За дверью комнаты с иконостасом слышалось протяжное, истовое пришептывание:

– ... ни мужик, ни баба, ни молодец, ни девица, ни пожилой, ни ведунья, ни колдун с колдуньей, ни киевская ведьма...

Павлов испуганно косился на дверь, румянился старческим лицом, крестился.

Это начало службы, видать, а конца-края ей нет – до того долгая, неповоротливая. Сперва аз да буки, сказано, потом науки. Но пока дойдешь до них, в тебе мало тебя останется. Уездная глушь, бесполезное существование, запустение души. У них здесь свои хитрости, на что только не идут, чтобы не пропасть, не запить с тоски. Сегодня разговор-игра о блохах-спутниках, если не участниках армейской жизни: кто что сообщит или выскажется позабавней.

– Блохи первые по поднятию тяжестей, – начинает Рылеев.

– Это общеизвестно, молодой человек, – высокомерно поднимает подбородок Густав. Братья к разговору подготовились загодя, тема предложена ими. – Зато мало кто знает, что они поддаются дрессировке, хотя о блошиных бегах слышаны, пожалуй, все.

Сослуживцы хмыкают.

Кондратию Федоровичу увиделись гарнизоны в бесчисленных уездах России, такие же бессмысленные посиделки. Неужели армия живет только в дни войны, живет, умирая, а в дни мира погибает, живя? «Наконец после годовой разлуки получил я от вас письмо. Сколько неизъяснимого удовольствия принесло оно мне. О дражайшая матушка! Я молю только создателя, да продлит он дни ваши...», – откликнулся он на первое материнское письмо.

– Одна знатная особа, – продолжает Густава Федор, – имела блоху, которая возила пушку с полногтя величиной и палила из нее по команде,

– Но–о! – гудит собрание. – Может, взять ее в роту?

– Блоху или даму?

– Обеих взять!

Обычный юмор и смех обычный.

– Барон Валькенер рассказывал о четырех блохах, которые могли, стоя на задних лапках, экзерцировать с деревянными пиками...

– Их тоже взять для Сухозанета, пусть экзерцирует!

Служба смущает Кондратия Федоровича бесполезностью. Сухозанет просит начальника армейской артиллерии Меллер-Закомельского, близко знавшего папашу прапорщика Рылеева, о переводе его на вакантное место. «Вакансий нет», – отвечают. «Переведите в другой род оружия!» – не отступает Сухозанет. В ответ нотации: не избавляться надо от прапорщика, но, напротив, заниматься им как родным сыном. Уязвленный командир с тою же просьбой обращается к собственному брату, начальнику гвардейской артиллерии. Оказывается, с тем же к нему обращались генералы Рылеев и Малютин. «Вероятное место для прапорщика – адъютантство у генерала Бенигсена», – отвечал брат.

Адъютантство для него было бы в самый раз. Но все где-то остановилось, затерялось.

5

Наполеон покинул свой ссыльный остров, без единого выстрела завял Париж. Со всех концов Франции под его знамена стекались солдаты.

Конно-артиллерийская нумер Первый рота выступала во второй заграничный поход – барабаны били сбор, вчерашние рекруты приступали с вопросами к седоусым молчаливикам.

– Война – это как Страшный Суд – огонь и полымя?

Про войну легко рассказывать, видеть страшно.

У хозяйки платок, туго обтягивающий лоб, опущен ниже бровей, погашенными глазами из-под него глядит она и вышептывает:

– На смерть детей не нарожаешься... От смерти не посторониться...

Сухозанет назначил Рылеева квартирмейстером – ска-

кать впереди роты, выбирать место для постоя. Он теперь во всегдашней удаленности от командира. С малой командой разъезжает по российским дорогам, останавливается на почтовых станциях, распивает чай, за пределами Отечества вступает в переговоры с властями – податливыми, угодливыми, со всем соглашающимися, но во взглядах, в подергивании плечами проступает одно желание – поскорее избавиться от него. И он разделяет это желание.

Сердце живет свободой, он полон чувств, в восклицательных знаках после каждой строки доходят они до матушки в письмах. Восторги по всякому поводу: минул год – и он снова на Рейне, но река ныне не представляет никакой преграды для русского войска; время многое изменило: французы теперь не великая нация, а слабый народ. Наполеон – странствующий Дон-Кихот, его войска – шайка разбойников...

Солдаты прусского короля Фридриха III привычно грабят подданных саксонского короля Фридриха I, немцы – немцев.

Из окон второго этажа летят вниз подушки, перины, корбки – рослые гренадеры подхватывают их на лету, гогоча, укладывают на фуры, деловито увязывают. В двери нижнего этажа бьют бессильными кулаками запертые отец и сын, из окон второго раздаются крики о помощи матери с дочерью.

Прапорщик Рылеев с малой своей командой въезжает настороженным шагом на почтовый двор. На лестнице, ведущей в верхние комнаты, очередь ржущих и расстегивающих гренадеров.

Он вылетает из седла, бросается наверх – отбивает выхваченную опешившим лейтенантом шпагу – она втыкается в стену и раскачивается из стороны в сторону золоченым эфесом. Подоспевшие бомбардиры обращают пруссаков в бегство.

Он врывается в спальню: на голых деревянных кроватях сопротивляются мрачной силе двух верзил мать и дочь.

Тупой стороной сабли он бьет по налитому жиром затылку одного, другого вытягивает вдоль спины – подхватывая рейтузы, оба ошалело скатываются вниз. Пушкари добавляют им резвости пинками – гренадеры кричат вослед улепетывающим фурам, пылят вдогонку...

Он долго не мог отдышаться, сидел на скамейке в уголке двора и повторял:

– Сволочи, сволочи...

От городка к городку, от селенья к селенью. Дороги отремонтированы, восстановлены хозяйства, дома зажиточны.

А победительница Россия нища, разграблена. Прошел год после выпуска прапорщика Рылеева. Русская армия во втором заграничном походе составляла резерв объединенных армий. Пушки конно-артиллерийской нумер Первый в этом походе не выстрелили ни разу. Она разместилась в одном переходе от французской столицы, в городке Васси.

На сентябрь был назначен высочайший смотр.

С утра до вечера рота в строю. Господа офицеры совершенствуют на плацу фрунтовую выучку.

– Штабс-капитан барон Унгерн фон Штернберг-первый! – вызывает Густава Сливицкий.

– Я!

– Ко мне!

– Слушаю-с! – подбегает к Сливицкому. – Господин поручик! Штабс-капитан барон Унгерн фон Штернберг-первый по вашему приказанию явился!

– Явился?! Подумаешь, явление Христа народу!

– Так точно, господин поручик!

Сливицкий щурит голубые глаза, истинное отношение к происходящему высказывает:

– Когда это кончится?!

– Это будет всегда, ибо фронт вечен. Вам, Валентин Валентинович, надо знать мнение великого князя Михал Палыча о войне и смотре: «Война разлагающе действует на армию, лишает выправки. Место армии на смотрах».

– А мы из Глухо-Задвиженска...

6

Прапорщику Рылееву поручено военно-географическое описание окрестностей городка Васси – его участие в высочайшем смотре невозможно в рассуждении выправки и обмундировки.

Он снова скачет со своей командой от селенья к селенью, собирает сведения об устройстве и достатке коммун, состоянии дорог, мостов. Мысли нерадостны: второй раз русская армия в Париже, второй раз ему у самого порога поворот от ворот.

В полях богат урожай, суслоны высокие.

– Нерадение! – указывает он крестьянину на несжатые десятка два колосков на поле. – В России за это строго взыскивают. – Говорит и спохватывается: здесь хозяин земли тот, кто на ней работает, ему спрашивать с самого себя...

– Господин офицер! – не робеет перед ним крестьянин – на нем белая рубаша из тонкого полотна, жилет и шляпа, на шее красный платок. – Мы оставляем дожинки духам поля, кормилице земле нашей.

Кондратий Федорович отъезжает и утешает себя тем, что его солдаты не понимают французского.

В другой деревне, на другом поле у снопа–одиночки – не поставленного в суслон – собираются жнецы и жницы, плетут ему бороду, торжественно грузят на телегу...

Он не рискует подъезжать с расспросами, пусть они, завершающие свой труд исполнением векового обряда, не будут стеснены посторонним присутствием. Но насколько же праздничней, радостней жизнь на свободной земле. Россия празднует свои праздники за решетками крепостного состояния. Россия, Россия! Не на жизнь твою, в глаза твои смотреть страшно... Во всей Европе только на твоих газетных страницах можно читать: «Желающие купить 2 человек из крестьян хорошего поведения и годных в рекруты и во всякую крестьянскую работу, могут спросить в 5 части 1 кварт. под №. 33, в приходе Триех Святителей на Кулишках, у домоправителя Ивана Шутова. В оном же доме продается пара выезжанных белогривых весьма хороших лошадей за сходную цену; также несколько кусков из верблюжьей с черною шленкою шерстью байки, способной для сюртуков...»? Оттого страшно смотреть в глаза, что можешь прочесть в них: как ты допускаешь такое?! Как ты допускаешь...

Возвращаясь в роту, он слышал слова, полные усталости и горечи.

— Играем в солдатики... — поднимал голубые глаза Сливицкий.

— ...в оловянных, — уточнял Косовский.

— Нас уединоображивают. Как чудовищно слово, так чудовищен и его смысл, — взгляд Феди Маленького стынет тоской безнадежности: он не видит выхода. — Для господина Сухозанета плац — как школа уединоображивания. — Помолчал, подумал: — А может быть, вся Россия для нас такой плац.

— Это вы, конечно, в запале; мысль резка, но в ней что-то есть, — Густав Унгерн даже за общим столом кажется сидящим на отшибе. — Меня возмущает, что этот немец вбивает в нас прусский дух.

– ...и считает при этом, что нам чета, – возмущается Унгерн-второй, Федор, барон и немец. В офицерах редко какой из них без баронского титула. – Вобьет – и понесем мы его в Россию.

– Вобьет, да не в каждого, – мотает головой Гардовский.

Кондратий Федорович слушает, смотрит на товарищей.

В комнате осенние сумерки, доверительные, особенные тем, что не хочется зажигать огня.

– Какое достоинство в здешних крестьянах! – неожиданно для себя произносит он. – Эх, да что там...

На восемь дней он отпущен в Париж.

Столица Франции предстала пред ним в лилово-сиреневом цвете. Улицы патрулируются англичанами, на перекрестках прусские часовые, но Париж, кажется, не берет их во внимание. Революция живет в названиях улиц и площадей: улицы Прав Человека, Закона, площадь Согласия... – в именах людей, ходивших по этим улицам: Руссо, Дидро, Монтескьё, Вольтер... Над Вандомской колонной – памятником Аустерлицкой победе Наполеона – полощет белый флаг короля. На одном из барельефов постамента – изображение артиллерийского офицера русской армии, защищающего свое орудие: такой доблести исполнен его подвиг, что неприятельский император повелел запечатлеть его на памятнике самому себе. В столице Парижа – Пале-Рояле, вместившем, кажется, не жизнь города, но жизнь всего мира, он признается в бессилии когда-нибудь описать все это. Два этажа лавок, кафе, магазинов, клубов, концертных залов, выставок. И третий этаж – обиталище презренных жертв распутства...

В Пале-Рояле к его столу подходит много разного люда – солдаты и офицеры разгромленной армии, говорят добрые слова о русских: побежденные – победителям. Он

видит в этом связь с барельефом на постаменте Вандомской колонны. Офицер французской армии с орденом Почетного легиона на груди подходит к нему, стуча деревянной ногою:

– Мы спокойны, сколько можем, но союзники ваши скоро выведут нас из терпения. Мы – французы, мы с чувствами!

– Я – русский, и вы напрасно обращаетесь ко мне.

Офицеру, оказывается, и нужен русский: русские – друзья французов, русский император – покровитель и благодетель их; союзники России – кровопийцы, им мало видеть Францию побежденной, хотят видеть ее униженной.

Рылеев совершенно растроган признанием офицера – встает и целует его.

Париж имел достопримечательность, рассказы и разговоры о коей интриговали всех – «Сивилла Сен-Жерменского предместья», прорицательница, предсказывающая будущее, госпожа Мари Аделаида Ленорманн. Говорили, что ее предсказания всегда сбывались, она вещала только правду, какою бы беспощадной та ни была.

Он тревожился не за себя – за будущее, когда дернул кольцо колокольчика в подъезде прорицательницы.

Белокурая горничная с сиреневыми глазами, в лиловом переднике отворила дверь, спросила о цели прихода.

Он ответил.

Горничная раскланялась, впустила его и исчезла за стеклянной дверью, ведущей во внутренние покои. Он остановился посреди просторной передней, рассматривал картины, развешанные по стенам. Его насторожило чье-то внимание, он огляделся, но в комнате никого не было. Лишь на стеклянной двери чуть шелохнулась зеленая драпировка, за нею едва увиделся исчезающий черный взгляд.

Он улыбнулся загадочности происходящего – и тут же дверь открылась, лилово-сиреневая горничная пригласила мсье офицера пройти за нею.

Мадам Ленорманн – женщина в возрасте за сорок, черна и дородна, подняла на него магнетические глаза.

«Изучает», – подумал Рылеев.

Действительно – изучала: она же пророчица, всевидица, жизнь человека лежит перед нею, как на ладони.

Как на ладони.

В ее кабинете – глобусы, циркули, чучела крокодила, змеи, попугая: магические символы, предназначение коих – поразить воображение.

– Вы хотите знать будущее?

– Да!

Она взяла его руку – и оттолкнула. Черные глаза стали еще чернее, показалось – стало чернеть лицо, губы. Когда она заговорила, зубы за ними забелели недобро, зловеще:

– Вы умрете не своей смертью.

Мадам в пророчествах офицерам русской армии не ошибалась – у них, только что вышедших из баталий, столько жило тревоги в глазах, столько решительности и готовности к самопожертвованию, что будущее их определялось с высокой степенью достоверности.

– Меня убьют на войне?

– Нет.

– На дуэли?

– Нет-нет, гораздо хуже! И больше не спрашивайте.

Не на роду написано быть убитым на войне офицеру – определено его поприщем. Но смерть на поле брани, от пули, штыка – почетна. Оскорбительную смерть для него придумывает не война...

Он оценил ответ. Тронул улыбкой уголки рта. Произнес на русском:

– Бога прогневишь, так и смерти не даст, – увидел удивление на лице прорицательницы, конечно, ничего не понявшей, продолжил: – Уж лучше смерть, чем зол живот, как говорят у нас солдаты.

Лилово-сиреневая горничная закрыла за ним дверь.

«Если она права, – думал он на улицах французской столицы, – надо жизнь посвятить главному, иначе ничего не оставишь после себя; смерть – лишь конец земного существования твоего тела, разлучение души с ним: тело уйдет в землю, откуда пришло, а душа. А душа – то, что тобой сказано, сделано, как поступлено. Смерть – соединение с духовной жизнью человечества, вечная жизнь».

Восемнадцатого сентября тысяча восемьсот пятнадцатого года прапорщику Рылееву исполнилось двадцать лет.

В тысяча восемьсот пятнадцатом году в России руководство Государственным советом, комитетом министров и канцелярией его императорского величества перешло в руки генерала от артиллерии графа Аракчеева.

7

Рота поздней осенью вернулась в Россию; остановилась у самой границы с Пруссией: в двух местечках Виленской губернии – Ретово и Вижайцы. В Ретово разместился штаб, Рылеев же определил для себя Вижайцы – семь верст от начальства: у него опять под началом ни единого человека – школы обучения верховой езде не стало за ненадобностью.

Граница проходила по Неману, ранним утром и поздним вечером было слышно, как он плещет волною. Или казалось, что слышно.

Вижайцы в семи верстах от Ретово, в восьми – от приморского Мемеля. Прапорщику то слышится шелест волн Немана, то волн Балтийского моря. Это не шелест – раскат, он шире, могучее и более соответствует настроению

души. Будто будущее перекатывает валы всего-то в восьми верстах от сегодняшнего дня.

У него еще всё только что, всё рядом. Только что, в сентябре, писал из Парижа другу в свой день рождения, что прошлый праздновал в Дрездене; и еще, что нынешние времена удивительны: один ничтожный смертный стал причиной столь ужасных политических переворотов! В продолжении не более десяти лет возродилось и упало до десяти государств, восстановилось и низверглось несколько монархов – и все по прихоти одного человека... Вчера Париж, сегодня Вижайцы. Всё рядом.

В поисках постоя он проскакал на Нее местечко из края в край. Средних лет мужичонка – руки до колен, борода по пояс – заломил перед ним шапку:

– У меня есть хата с мазанкою. Сам-то хожу в примаках.

– Показывай! Как звать тебя?

– Кузьма, сын Кузьмичов.

И зажили они с Федором на новом месте: дядька в мазанке, барин – в хате: разложил по лавкам да подоконникам книги, перечитывал старые, читал новые, вникал в суть. И однажды пригожим утром вышел на крылечко, позывал дядьку:

– Собирайся-ка, Федор, в Батово, к Анастасии Матвеевне, я ей уже отписал, чтоб отпустила тебя на покой. Давно отписал, да Бонапарт стоял у нас с тобой поперек дороги.

Федор расчувствовался, задремезжал: кто постелю постелет, приглядит за мундиром, кто ходить лошадей станет?

– Федька с Ефимкой приедут.

– Да мальцы ведь совсем.

– Мое решение твердо, – закончил Кондратий Федорович разговор. Одарил дядьку чем мог: старую шинель-

кой, панталонами да рубашками, всем, что есть завалящего у офицера.

Федор уехал. Но замолил Кузьму присматривать за барином да хозяйством.

Прапорщик заводит сношения со своим корпусом – собирает адреса однокашников, выписывает книги, журналы, газеты и убеждается, что в России хорошо работает почта: запрошенные книги пришли через неделю, адреса из корпуса – тоже, а газеты из Москвы и Петербурга он получает на второй день. Получает и читает привычные для русского глаза и уха объявления: «Продаются дворовые люди поведения хорошего...» Неколебимая, неизменная его родина! Он читал и обхватывал голову руками: «До каких пор мы будем поведения хорошего?!».

На пороге стоял Косовский, смеялся глазами, щеголь щеголем, и два пальца у козырька.

– Я из Вильны, выполнял приказ Петра Онуфриевича, если помнишь, это имя нашего командира, – обернулся и крикнул в дверь: – Самовар, тащи-ка сюда подарок для прапорщика!

Пиита смахивает со стола книги, бумаги, раскупоривает бутылку и поднимает тост за встречу.

– Оброс ты, Рылеев, оброс, – веселится Косовский. – Всем оброс: в доме сажей да паутиной, сам волосами да щетиной. – Увлеченный примером Рылеева, он временно побалывается метрикой. – А впрочем, какой с тебя спрос?!

И сверкает зубами из-под черных усов.

– Чудно. Никак сочинительствуешь?

– Бывает...

Денщик, зовомый Александром Ивановичем Самовар, вносит седло.

– Нуу-у! – восхищается Рылеев. – Царский подарок.

Касается рукой желтой скрипучей кожи с тиснением, полированной луки. Говорит:

– Видать, у поручика Косовского не по сусекам метут.

– Да, кое-что есть в Харьковской губернии...

Прапорщик Рылеев в Вижайцах будто вышел на статскую стезю: отдал Федору офицерские обноски, ничего лишнего не осталось, но и необходимого не было. Решил обзавестись партикулярным платьем. Посидел над чертежами, и что-то получилось: будущий наряд выглядел пиитическим, с приятностию действующим на глаз. Поехал к портному в приморский Мемель: сухонький старичок – не то иудей, не то поляк – долго хмыкал, вертел чертеж так и этак, посматривал на заказчика.

– Вполне прилично, вполне прилично, – снимая мерку, шутил на портняжий манер, смеялся самому себе. – На аршин унести грешно, на ножницах бог велел.

Через неделю Рылеев был в новом сюртуке, новых панталонах.

– То-то посмешу господ офицеров! – поворачивался перед зеркалом: на сюртуке покачивались многочисленные шнурки и кисти, широкие рукава свободно скатывались к локтям, когда он поднимал руки, на груди оттопыривались два кармана. – А господину Сухозанету испорчу кровь! (Петр Онуфриевич за успешно проведенный смотр в Васси произведен в подполковники!)

Пред Новым годом писал в Ретово: «Друзья! Прошу, спешите; я ожидаю вас! Мрак хаты осветите весельем в добрый час! В сей хате вы при входе узрите: стол стоит, за коим на свободе ваш бедный друг сидит в своем светлокофейном, для смеха сотворенном и странном сюртуке, в

мечтах, с пером в руке!..» Стихи писались легко – эти и другие – но не было Слова...

В Васильев вечер, под Новый год закружил снег большими мокрыми хлопьями, медленный, прилипал к окнам. В его одинокой хате появился Кузьма, наговорил слов-пожеланий: чтоб не сох вербою над рекою, молодой да ладный, жил бы, пока живет. Потащил на улицу, в одном конце ее играла скрипка, в другом – балалайка: начались колядки. Шабаш ряженных баб и девок кружил их колдовским танцем, звонкая баба в вывернутом полушубке забегала в чью-нибудь хату, из подвернутого подола рассыпала горстью овес по полу.

– Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю! – и желала дому селянского счастья: – Сноп к снопу, копна к копне...

И еще много хождений, барахтаний в снегу, а он в шуртке, прапорщик. Простоголовый. Думал: вот он, кусочек России. Удивительно – русское селение в литовском краю, у самой прусской границы...

– Только славу ведет, что рано встает!

Он проснулся оттого, что его разбудили. Головы не поднять, озноб, грудь заложена, не разлепить век. Слухом узнал Кузьму, набрался сил пошутить:

– Подкузьмил ты мне, братец.

Тот подошел к постели, посмотрел на постыльца, потрогал лоб:

– Лихоманка у тебя, барин.

Январь прошел, и февраль, и март...

О времени он не помнил. Открывал глаза, показывал, что еще жив, и закрывал опять. В бреду всплывали лица незнакомых девок и баб, но чаще – две мужские головы, русые, два лица с голубыми глазами. Потом раздавались артиллерийские

команды, на плац кадетского корпуса выходил генерал Клингер, поднимал палец: «Во время сильного нападения, когда бы предполагалось отступать, то артиллерия, прикрывая ретираду, должна ставить батареи в две линии...» В светлом разуме недоумевал: почему Фридрих Максимилиан излагает общие правила артиллерии генерал-майора Кутайсова, когда Клингер – это лишь клин герур?! Просветление проходило, и палец Фридриха Максимилиана вновь возносился над ним: «Артиллерия во всяком случае должна покровительствовать движению войск...» Начинали визжать собачки, связанные Шулей Булатовым, появлялся Старый Бобер в засаленном мундире – вручал ему выпускное приданое...

Светлые волосы, голубые глаза – он узнал прибывших Федьку с Ефимкой.

«Молодцы. Хорошо...», – успел подумать.

8

Россия посмотрела на себя со стороны, из чужих краев, и ужаснулась молодая Россия.

Дух времени соединял единомышленников в масонских ложах, офицерских артелях, литературных обществах...

Снежным днем девятого февраля тысяча восемьсот шестнадцатого года в Санкт-Петербурге родился Союз Спасения – сообщество молодых людей, поставивших целью истребить крепостное право, учредить представительное правление, ввести конституцию.

Союз составили офицеры гвардейского Главного штаба:

капитан Александр Николаевич Муравьев – 23 лет;
поручик князь Сергей Петрович Трубецкой – 25 лет;
прапорщик Никита Михайлович Муравьев – 20 лет;
офицеры лейб-гвардии Семеновского полка:
поручик Сергей Иванович Муравьев-Апостол – 20 лет;

подпоручик Матвей Иванович Муравьев-Апостол – 23 лет;

подпоручик Иван Дмитриевич Якушкин – 22 лет.

Москвичам Муравьевым тяжело ложились на сердце виды сожженной Первопрестольной, в ней погибли не только жилые дома, хозяйственные постройки, но и фабрики со всем оборудованием. Офицеры квартирмейстерской части, они по долгу службы знали и видели: двукратным проходом французской и русской армий вытоптаны хлебные поля, запасы зерна уничтожены, расхищены съестные припасы. В одной Московской губернии сожжено четыре сотни крепостных деревень, в них было не менее семи тысяч домов. Расположенные в стороне от военных действий губернии истощены бесконечными реквизициями и поставками. За время войны на пятьсот с лишком тысяч человек уменьшилось казенных крестьян, почти на столько же – помещичьих. Возвратившиеся с войны калеками солдаты были навсегда потеряны для крестьянского труда. Еще в четырнадцатом году министр финансов писал Аракчееву: «Мы касаемся до столь трудной развязки финансовых оборотов, что нельзя без ужаса подумать о последних месяцах сего года и чем они кончатся». Жалобы, повсеместное недовольство – и непрекращающиеся грабежи откупщиков, хищения провиантских чиновников. В казнокрадстве изобличен военный министр, светлейший князь Алексей Иванович Горчаков, генерал от инфантерии!

Все молодое офицерство, вернувшееся из-за границы, острее и чутче воспринимало родную русскую действительность.

Девятого февраля тысяча восемьсот шестнадцатого года Якушкин вместе с Трубецким зашли к братьям Муравьевым-Апостолам, чуть погода сюда же подъехали дальнего родства братья Александр и Никита Муравьевы.

Полилось шампанское, зазвенели бокалы, молодежь все-таки! Младший по чину Никита Муравьев говорит первым тост.

– Неделю назад православные праздновали Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В евангельской истории это событие трактуется как встреча Ветхого и Нового Завета. Я поднимаю тост за жизнь по Новому Завету! – со значительностью произнес он.

Тост выпит. К нему последовали добавления.

– В этот день зима встречается с летом.

– На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную хочет.

– Кафтан с шубой встречаются.

– А у нас в Смоленской губернии деревенская детвора собирается перед сумерками за околицей на пригорке и закликает солнце:

*Солнышко-ведрышко,
Выгляни, красное,
Из-за гор-горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!*

– Но тост-то все-таки за жизнь по Новому Завету!

И открылись шлюзы: рабство народа русского далее нетерпимо, нетерпимо далее посягательство на его честь, где не существует границ царскому произволу, там не существует гражданских свобод...

Муравьевы-Апостолы и Якушкин были втянуты в подготовленный заранее разговор и пришли к той мысли, к которой их вели два других Муравьева и Трубецкой: создание тайного общества для достижения известных целей (они будут изложены в уставе позже).

– Во вторник, то есть вчера, был день пророка Захария Серповидца, – поднялся и выпрямился во всю свою дли-

нушку князь Трубецкой, – в этот день крестьяне кропят святою водой серпы: не обережешь серпа – не пожнешь снопа. Я пью тост за наш серп и будто окропляю его. Да благословит Господь наше начинание.

Восторг. Ликование. Летящие в потолок пробки.

– Одиннадцатого февраля – Святой Власий, защитник и покровитель стад, – напоминает, но будто иносказует капитан Муравьев. – Святой Власий, дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, с поля шли-скакали. И еще, Власий, сшиби рог с зимы...

Седьмого марта капитан Александр Муравьев произведен в полковники квартирмейстерской части.

К осени в Союз Спасения вошли:

чиновник Министерства юстиции Михаил Николаевич Новиков – двоюродный племянник известного просветителя Николая Ивановича Новикова – 39 лет;

поручик Павел Иванович Пестель – адъютант главнокомандующего Первой армией – 23 лет.

...О существовании прапорщика Рылеева никто из них не подозревает.

В Священной артели били в вечевой колокол, высказывали суждения – продолжалась жизнь, молодая, чистая. Николай, средний из Муравьевых, влюбляется в дочь двоюродного дяди – в дочь адмирала Мордвинова! – тот в руке дочери отказывает и советует юноше оставить Петербург, Николай избирает Кавказский корпус и там грустит сердцем. Словами торжественными, как месса, друзья укрепляют его дух:

ПОСТОЯНСТВО

Почтенный друг и товарищ! Дружба, постоянство и правота, сущность и основание, артели, коея ты еси член, принудили нас, твоих братьев, лист сей послать тебе и тем

нашу любовь к тебе и доброжелательство изъяснить. Да будет он тебе воспоминанием святого братства и верным залогом дружбы нашей! И тако, пребудь здоров и, сколько Творцу угодно, благополучен. Бог да благословит тебя, честная душа, и любовь к Отечеству да руководствует тобой, а воспоминание о неразрывной артели да усладит тебя во всех твоих трудах и начинаниях!

В Святом Петрограде 30 июня 1816 г.

Священная артель растет числом, углубляется помыслами. Дружба возводится в культ, питается ревностью ко благу Отечества.

В тысяча восемьсот шестнадцатом году конно-артиллерийская нумер Первый рота высочайшим рескриптом переименована в нумер Одиннадцатый.

Прапорщик Рылеев появился перед сослуживцами тень тенью: скулы обтянуты желтой кожей, щеки ввалились, глаза – в пол-лица. Жалко смотреть, но он спокоен, читает неожиданные стихи на французском:

*Я видел мрачную Бастилию и тысячу других темниц,
набитых честными и смелыми людьми;*

*Я видел наш народ несчастный,
согнувшийся под игом рабства.*

Я видел смелых воинов...

В Ретово, как заведено, зал офицерского собрания – пустующая изба, содержащаяся на общие средства. Господа офицеры слушают товарища: в недуге он не терял дорогого времени, успел передумать о многом и увидел, что перед ним множество великих трудов.

Они интересуются: в чем же открылось ему новое поприще?

– В том, что для вас ново и неожиданно, – отвечает он.

А служба шла.

Командиру конно-артиллерийской № 11-ый роты
господину артиллерии подполковнику
и кавалеру Сухозанету
Оной же роты прапорщика Рылеева

РАПОРТ

За отсутствием росиянского исправника, получив от нижеземского заседателя билет в ратушу, по коему следовало мне получить от оной подводы, я пришел к бургомистру, бывшему тогда в ратуше, и, отдавая полученный мною билет, сказал, дабы он велел, кому следует, как можно скорее выдать мое означенное мне в оном число подвод; бургомистр, не знаю с какого повода, разгорячась, с грубостью вырвал у меня подаваемую мною бумагу и с горячностью сказал мне: «Ваша бумага ничего не значит! Суд не имеет права предписывать мне!» – бросил оную под стол. Я сказал ему, что если он имеет с судом какие распри или неудовольствия, то я оным вовсе не причиной, а почему и прошу его быть немного повежливее и подаваемых ему мною бумаг столь нагло не вырывать и не бросать оных под стол. После сих слов моих он вскочил и закричал мне: «Как смеете вы делать мне такие грубости и кричать на меня в присутственном месте?» Я отвечал ему, что если я сказал громче обыкновенного, то он сам тому причиною; между прочим просил его дать мне подводы или письменно отзыв, что я не получу оных. На что сказал мне ни того, ни другого.

О таковых грубостях г. бургомистра, сделанных мне им без всякой на то с моей стороны причины, и о данном им мне касательно получения подвод ответе спешу довести Вашему Высокоблагородию и прошу сделать мне надлежащее удовлетворение.

№ 8-й

Октября 19-го дня 1816 года
Прапорщик Рылеев

г. Росияны

Февраль – поворотный в судьбе Кондратия Федоровича месяц: в феврале произведен в прапорщики, в феврале ушел в заграничный поход, в феврале уходит в настоящую глубь России – в великий град Мценск.

Вернувшегося из отпуска горемыку подполковник Сухожанет употребил по фурштадской части. Кондратий Федорович воевал с бургомистрами, требовал сатисфакции, а в голове военного ведомства родился тактический план: перевести конно-артиллерийскую нумер Одиннадцатый роту в Орловскую губернию.

Квартирьером господин командир роты определил его.

Прошло три года пребывания прапорщика Рылеева в армии.

Он не видел в них пользы ни для себя, ни для Отечества.

Мценск встает в памяти как воплощение бессмысленности существования его, Кондратия Федоровича.

Рота долго не приходила, медлила в дороге (везёт лошадка передние колеса, задние сами идут!), он завел многочисленные знакомства, развлекал душу амурной отчаянностью:

*Когда б вы жили в древни веки,
То, верно б, греки
Курили фимиам
Вместо Венеры – вам.*

Мадригалы легкие, мимоходные, но местные ловеласы к нему с предупреждением, с угрозой:

– Господин прапорщик, не думайте, что у нас здесь глухая провинция.

– У вас провинция с хорошим слухом?

С ним шутить не намерены – у статского в судейском мундирчике глаза сдвинуты к переносью, как у Щербинина, ретивого унтера, в них не то что предупреждение – обещание некой каверзы.

Он пренебрег пустыми словами: что ему может грозить в городе, где на тысячу деревянных домов – десять каменных?! А подошел к коновязи – Ней стоит с поднятою ногою, ступить на нее не может. Осмотрел – перерезаны сухожилия. «Кто же тебя обрек на смерть?!» – прошептал и вспомнил глаза судейского.

– Подлец! – хлестал он его по лицу, вернувшись. – Секундантов теперь же!

Для поединка выбрали невысокий мысок, вытявшийся на каменистом берегу Зуши.

Ней тихим жалобным ржанием, стоящим в ушах, вызывал к мщению.

Противник обеими руками наводил пистолет, немех-штафирка, ствол плавал вверх-вниз, влево-вправо – выстрел грохнул сам по себе и напугал стрелявшего: он сжался в ожидании ответа, закрыл глаза. Прапорщик усмехнулся, пальнул высоко над своей половиной, повернулся и пошел прочь, не оглядываясь.

Мценские девицы и дамы улучают мгновенье в говоре бала:

– Господин прапорщик не спешит окончить войну, упражняется в стрельбе по живым мишеням?

– Воинский дух присущ мужчине.

«Конечно, мужчине: двадцать один с половиной!», – самолюбиво утверждался он.

А Ней погибал, смотрел жалобными, почти человеческими глазами. Понурый Федька ходил по пятам, упрасивал: окажите милость, велите пристрелить лошадь, вторую неделю мается...

– Нет мужчин в городе, одни пакостники, – сказал прапорщик, прощаясь с Неем.

Городок маленький: шепни в одном конце – в другом конце услышат. Потому и явился к Рылееву поздний посетитель, не назвал имени, лишь уставился медленными глазами да расправил значительные усы:

– Вы дурно отзываетесь о мужской части города. Не сочтите за труд в шесть утра быть на известном вам месте. И приготовьте саблю.

– К вашим услугам! – ответил прапорщик, и сухой вежливый человек ушел, в меру кривоногий, чтобы определить в нем бывшего кавалериста.

Река Зуша рано и широко разлилась, ломала лед, неслла его в далекие моря, где-то за горизонтом воды ее становились принадлежностью Мирового океана. Кондратий Федорович подумал: «Мы все принадлежность мира», – и пошел в бой. Испытанным приемом выбил саблю из рук кавалериста и, как в первый раз, не оглядываясь, пошел прочь.

– Как вам пришелся мой офицер? – выпытывал прибывший Сухозанет у городничего.

– С ним в нашем городе потянуло столичным духом, – хмыкнул тот.

Кондратий Федорович после задумывался: что это было с ним в Мценске? Не слишком ли он изменял себе в волокитстве, в бесшабашной отчаянности? Все из-за той потери?! При подъезде к Мценску он хватился сумы с деньгами – там были и казенные, и врученные сослуживцами для покупки им при случае достойных победителей лошадок, снятия достойных квартир. Сумы не было: или потерял, или украли. Ни Батова, ни прапорщического жалованья за много лет не хватит для возмещения пропажи. В каморке почтовой станции он пишет потрясенные письма дядюшке Михаилу Николаевичу и генералу Малютину: до лучших времен не одолжат ли ему эти деньги. И домой пишет, в Батово. Не верил в благополучный исход своих обращений и куролесил в достославном городе – назад не оглядывался и вперед не глядел?

...Дай бог всякому таких сослуживцев! Узнав о пропаже, присудили: общими вкладами возместить казенные деньги, прочие, принадлежащие им, разнести для покрытия равномерно по месяцам на три года... Пришли деньги от дядюшки с обещанием еще прислать, пришли от Милютина.

10

Во всю ширь и длину, с юга до севера, от запада до востока зеленеет лесами, синее небо, голубеет реками да озерами апрель – Кондратий Федорович снова в правах квартирмейстера катит в коляске весенним трактом: вышел приказ убыть в Острогожский уезд Воронежской губернии – с каждым новым перемещением роты постои делаются короче.

В Острогожске места для роты не оказалось: городок только что разместил четыре полка драгунской дивизии. Артиллеристам отводилась слобода Белогорье – в восьми-десятипяти верстах южнее.

Над тихим Доном по Белогорью расхаживают петухи, лежат под плетнями свиньи, от колодца на коромыслах несут воду бабы.

В Белогорье расположатся рота и батарейный штаб, для своего постоя он избрал слободу Подгорное в двадцати верстах отсюда.

...В усадьбе господ Тевяшевых петухи не расхаживают по двору – с важностью дремлют под навесом, свиньи не лежат, но как привалились к пряслу потереться боком, так и задремали, только собаки нет-нет клацнут зубами у будок, отгоняя мух. Артамон, управляющий, стоит посреди двора с соломой в бороде. Помещик, в халате и шлепанцах, дремлет в креслах за «Московскими ведомостями», помещица рядом клюет

носом за вечным вязаньем. «Для чего живут люди?» – думает Кондратий Федорович. Для него в господском доме открытый стол: просят быть к завтраку, обеду и ужину.

Просыпаясь, старик помещик выказывает суровый взгляд на действительность, обозреваемую им чрез окна прошлого столетия.

– Михайла Андреич! – налетает иногда на горячей тройке уездный исправник Станкевич, полный энергии. – Все спите?!

– Куда спешить, голубчик Владимир Иванович? – встряхивается Михайла Андреич. – Мельтешенье людское неуютно Богу: не разглядит, кого когда призывать в свою обитель.

– Божие царство вечное, наживетесь там. Поживите в этом, – призывал исправник. – Взгляните на Артамона: с утра, поди, стоит, зевает да кумекает, как объегорить барина.

– Не скажите, батюшка Владимир Иванович! – вступала в разговор старушка помещица Матрена Михайловна. – Совсем нас обеднил, скоро по миру пустит, негодник.

– Распустили людишек, – Михайла Андреич, офицер времен Екатерины, начинал вспоминать, что он душевладелец. – В наше-то время отцы и деды знали, как народ держать в кулаке. Бывало, батюшка за худое топление кабинета не давал сенной девке в мясоед до семи дней ничего, кроме простокваши, а паче ежели не положится в карман гребенка при езде его в гости да щетка для чищения платья – лакею давал розгами по пяти тысяч раз нещадно. – Старческие глаза загорались приятными воспоминаниями, голова поднималась в гордости: вон, мол, какие орлы были наши пращуры, но и мы, дескать, тех же кровей. – Обмякли душой мы, Владимир Иванович. Бывалыча, ежели кто из

людишек наших высечется плетьюми ста ударами или там розгами десять тысяч будет дано, так более недели на отлежку не позволялось. Битому же плетьюми по полусотни, або же розгами менее десяти тысяч, таковым более полунедели не позволялось лежать, а буде пролежит долее – вычитали положенную месячину.

– Однако это жестоко, если не сказать, кровожадно.

– Ничего, батенька мой, ничего: все шло в народное благо, в тяжкий грех не впадали и умысла на грех не имели.

«И чего не наговорит на себя старый, – бормочет под нос себе Матрена Михайловна, отправляясь на кухню распорядиться насчет обеда. – Все боевым показаться хочет, а дух-то боевой весь вышел. Мухи за всю жизнь не обидел, а страсти какие баит. Десять тыщ... Да слыханное ли дело-то!»

Вдвоем они выходят в сад. Исправник поворачивается к Рылееву.

– Безобразно, страшно наше прошлое, – всматривается в глаза прапорщика, изучая. – Да только чем настоящее лучше? По всей империи то же, что было при матушке Екатерине, при батюшке Павле Петровиче. Того, чем Михайла Андреич похваляется, сейчас нет, но не потому, что что-то изменилось на Руси – просто сечь ему некогда, проснуться не может. А возжелай – какой закон удержит руку хозяина?

Рылеев неопределенно кивает, положение новенького сдерживает. Помолчав, говорит Станкевичу:

– Ваши слова – для будущих поколений. И мысли ваши.

– Вы пессимист!

Уездный исправник думает и живет по-современному, женат на дочери уездного врача – не на дворянке. Помес-

тьице их пополняется каждый год детскими голосами – и в нынешний ждет пополнения. Голоса далеко летят по помещью. Владимир Иванович посмеивается:

– Со счастьем на клад набредешь, без счастья и гриба не найдешь. У меня и клад – имеет в виду супругу, – и грибочки: мал мала меньше. Но зато голосисты. Этак пойдет – на всю Россию слышны будем.

Иногда в доме Тевяшевых степенно появлялся, степенно расправлял могучие усы соседний помещик – богат и якобинец Астафьев, тоже Владимир Иванович. Здороваясь, он подавал руку так, будто хотел охватить весь мир. Говорил широким басом:

– Здорово, молодцы лежебоки! – если в доме был один Михайла Андреич, или: – Здорово, молодцы лежебоки и государственные воротилы! – если в доме был и исправник. – Долежались и доворотили, что пятнадцатый год рассматривается в губернском суде дело Тараски Зозули: никак не может земли свои вытребовать у княгини Голицыной. У неё от земского суда до Сената свои люди расставлены.

Упоминание о Голицыной портило прапорщику настроение: над ним все еще висел отцовский долг княгине.

Астафьев вольно садился на широкий диван, раскидывал руки по спинке. Испранник поглядывал на него, со знанием дела любопытствовал:

– Святой человек, хотите в ваших судах найти управу?

– Я повторял и повторяю: только решительные шаги спасут от гибели Русь, решительное вмешательство в ее внутреннюю жизнь.

– Что вы под этим понимаете? – прапорщик вопросом отодвигал на задний план княгиню с ее неотступностью.

– Я бы смолчал, Кондратий Федорович, да перед исправником запирается нелепо: коли сам не дознается – донесут доброты, – Астафьев смеялся широко, свободно,

запрокидывал голову на спинку дивана. – Их у нас не сеют, а всходят гуще посеянных. – И вдруг грустнел, потухал на глазах. Говорил блеклым голосом: – Чего ж, друг любезный Михайла Андреич, не прикажешь Матрёне Михайловне подать лафитничек?

Матрена Михайловна, маленькая, сухонькая, с белым личиком, семенила на кухню, разыскивала экономку.

– Надо очистить правительство от людей, пекущихся лишь о своем благе, до Отечества им нет дела, – Астафьев пьянел с первой рюмки. – Граф Аракчеев, к примеру, изрек в двенадцатом году: «Что мне до Отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь?»

– Граф – государственная голова! – ерзал в креслах Михайла Андреич. – Не каждому дано оценить его благодеяния. Он столько сразу забот снял со столько плеч. В ноженьки ему кланяться надо.

Все молчали. Прапорщик думал: сколько в канцеляриях и департаментах таких вот Михайла Андреичей, даже не возрастом – духом устаревших или старых с рождения.

Молчание за столом старик принимал за выражение внимания к его словам и потому продолжал:

– Я засиделся дома, но молодым, здоровым чего не взяться за хозяйство, как Владимир Иванович, будь к слову сказано? Наведи каждый помещик у себя порядок – во всей России он изладится. А то ведь все прахом! Мы расписывали по книгам: «ужато на усадиской пашни ржи софейских семян 81 копна сотная и 65 снопов». Теперь такой кропотливости стыдятся. – Часто моргая, смотрел на гостей и заключал: – Прижать мужика надо – вот и возродится порядок.

– Так-то оно так, – грустнел Астафьев и наливал себе из лафитничка рюмку за рюмкой, – да куда более? К тому же, Михайла Андреич, вольный – продольный, невольный – поперечный.

Союз Спасения пополнялся новыми членами: его развитие следовало естественному порядку вещей. Освобождение крестьян от крепостной зависимости составляло первоначальную цель Союза, но вскоре определилась вторая – ограничение власти монарха, введение конституции. Внесено предложение: небольшой отряд обреченных, скрывая лица под масками, останавливает царскую карету на Царскосельской дороге, по которой он ездит с малой охраной, и кинжалами прекращает земное бытие императора. Однако трезвые умы усомнились: может ли Союз Спасения, разрушив старое государственное устройство, создать новое? И большинство ответило – нет!

Подвизаться на пользу общую всеми силами – записано в уставе общества; он обязывает елико возможно умножать число сочленов, занимать важные посты в военной и статской службе, стараться в отстранении иностранцев от государственных должностей, к уничтожению их влияния в государстве...

В семнадцатом году общество получило новое название «Общество истинных и верных сынов Отечества».

Отец Иоанн был единственным, кого Михайла Андреич вставал из кресел встречать, шел до первой ступеньки крыльца:

– Во спасение души прибываете вы к смиренному прихожанину. – Батюшка невысок, сух, но широкие черные одежды кажут его значительным, тому способствуют окладистая борода, длинная грива волос, тоже черных. Михайла Андреич берет его под руку, семенит рядом: – Без вас терзают меня еретики да вольтерьянцы.

Батюшка садится за стол, расправляет сутану. Он косит на правый глаз, Рылееву кажется, будто святой отец видит больше других – сразу рассматривает каждого в комнате.

– Никак сатана смущает душу, Михайла Андреич: больно много тревоги да суеты.

– Не скажи, батюшка, из-за неустройства государства нашего чего только люди не городят. Неустройство-то, может, всегда существовало, но причину мы видели в нераспорядительности нашей, теперь ее в другом видят: дескать, менять надо государственное устройство. А это – бунт.

– Время бунтов прошло, – успокаивает мирянина священник. – Наступило время революций...

Михайла Андреич даже откинулся в креслах, перекрестился: чур-чур, не оборотень ли?

– Они суть брожение ума человеческого, а на него узды не наденешь – ни духовной, ни светской.

– Вот то-то! – по-своему понимает Михайла Андреич.

– Всяк холоп говорить волен, что вздумает. Ослабили мы поводья. Строгости нужны прежние, строгости!

Батюшка ценил Бога: признавал за ним одну добродетель – служить утешением бедному люду, утешением временным – в Европе все меняется, дойдет черед и до России.

Батюшка по-светски начитан, ум его свободен от догм.

– По свету ходит молва, что Русь говорлива. Нет большего на нее наговора – она молчит. Молчит русский народ – говорит правительство. А это доказывает одно: дела на Руси действительно плохи. И оставаться будут такими, пока не заговорит народ.

Кондратий Федорович понимает: здесь, в Подгорном, он приближается к тому миру, в котором живут его мыслями, надеждами, разочарованиями. К миру сегодняшней России.

– Народ – это неопределенно и много, – вступает он в разговор. – Пока не заговорят люди!

Священник удовлетворенно хмыкает:

– Истинно!

Он приезжал обыкновенно под вечер, отец Иоанн. Разговаривая, одним глазом поглядывал на собеседников, другим – в окно, оно выходило в сад, там в этот час совершали вечерний моцион хозяйские дочери: Анастасия – восемнадцати лет, Наталья – шестнадцати, одна в голубом платье, другая в розовом.

За взглядом священника тянулся взгляд прапорщика.

Сердце Кондратия Федоровича трепетало. Сказки о прекрасных принцессах всплывали в памяти сами собою, в райском саду били хрустальные фонтаны...

Трепетало ли сердце отца Иоанна – неизвестно: своих стихов он не писал, но чужие в тетрадь переписывал.

«Пусть переписывает, – думал Кондратий Федорович. – Пусть смотрит в сад, только не на Наталью».

У Тевяшевых две дочери, три сына: двое служат в армии, младший учится в пансионе при Харьковском университете.

Михайла Андреич бранит век и молодежь, Матрена Михайловна хлопочет об ужине, гости философствуют, высказывают вольные мысли.

Непроизвольным стремлением сердца прапорщик Рылеев возвеличивает край своего обитания, его людей. Острогжский уезд обширностью более многих германских государств, над ними стоят там князья, эрцгерцоги, короли, при них – премьер-министры, министры двора, церемониймейстеры, а здесь со всем управляются уездный предводитель дворянства да уездный исправник. Если важность особ определять пространством, подвластным им, – острогжские начальствующие лица носили бы титулы князей, эрцгерцогов, королей. А беседующий с ними на равных прапорщик Рылеев в каком бы мог состоять чине?

Между тем он по-прежнему не у дел: вакансий все нет, да, похоже, их уже и не ищут. Давняя мысль приходит на ум: мир живет без него и не им...

Уезд примыкает к Слободской Украине, не просто граничит – смыкается судьбами, языком. Над вечерним берегом Россоси в Подгорном звучат русско-украинские песни.

*Зеленые вишни,
Та все девки вышли,
Маю, маю,
Маю зелено!*

А в шумной пестроте ярмарок настраивают струны бандур кобзари:

*Зажурлылася Хмельницького сидая голова,
Шо пры йому ни сотникив, ни полковникив нема...*

В странствиях по России он проникся сутью ее просторов – их скрытой силой, величавой невозмутимостью. В Острогжске течет Тихая Сосна, Белогорье стоит на Тихом Дону. Тихая Сосна впадает в Дон, воды его чрез моря-океаны доходят до океана Тихого, имеющего еще одно имя – Великий.

Зарождение флота российского началось здесь, в Воронежской губернии, – потому и увиделись моря-океаны...

В столице Слободской Украины – Харькове – в тысяча восемьсот пятом году открыт университет; он издает журналы, газету. Прапорщик Рылеев подписывается на «Украинский вестник», читает стихи и рассказы в нем, оды и повести. Но к нему в слободу Подгорное идут и издания из обеих столиц России.

Он задумывает составить словарь русских писателей: в наброске преобладание украинских фамилий – авторов «Вестника».

Ефимка с Федькой маются и от безделья, и оттого, что где ни останутся с барином – все не Батово, все чужбина.

В сыкотное здешнее Крещение Кондратий Федорович подслушал их разговор – тихой ночью на лавочке перед хатой каждое слово слышно: окно в одно стеклышко.

– А у нас сейчас снегу – переметы на переметах, по брюхо лошади вязнут...

– В лесу деревья потрескивают, лисица рыщет, хоровают зайцы, а в небе месяц...

– А клест птенчиков вывел...

Ему самому голубые снега увиделись, звон колокольчиков услышался над дорогой.

Ефимка с Федькой давно для него стали на одно лицо: одинаково рыжие, одинаково синеглазые, одного роста. Мысли о подневольном их состоянии не рождалось – порок государства он видел со стороны, не из своего положения, и не чувствовал себя собственником людских душ...

Отец Иоанн всегда при теме и мысли, при остром языке.

– Не омочив языка в разуме, много согрешишь в слове, – басит он, поглядывая на Михайла Андреича.

– Истинно так, – разглаживает трясущимися руками «Московские ведомости» старик, будто собирается дочитать их, – птице – крылья, человеку – разум.

Прапорщик краем уха следит за беседой: вчера в коридоре лицом к лицу он встретился с Натали, она вспыхнула от радости и смущения, а он понял, что судьба его решена. Вот только Михайла Андреич недолго любит военных, в зятях иметь не желает...

– А разумно ли держать дочерей в невежестве? – неожиданно поворачивает разговор отец Иоанн.

– Читать-писать умеют – и достаточно, – машет рукой старик. – Будет нужда – мужья выучат.

– Михайла Андреич, Михайла Андреич, ты так и остался в своем осьмнадцатом веке, – осуждающе качает головой святой отец.

– А что в вашем-то любопытного? Москву спалили да ворогу отдали...

– Москва Москвой, а дочерей учить надо, – отец Иоанн поворачивается к прапорщику. – А учитель – вот он. Надеюсь, грамматику не забыли?

– Как можно! – бледнеет Кондратий Федорович.

Матрена Михайловна, будто чуяла, появляется в самый момент.

– Не отказывай людям в добром деле! – просит мужа. – Меня продержал в темноте да стеснении – дочерям дай свету да воздуху!

Старик для виду поспорил да сдался.

– Ну что же, – резюмировал священник, – решено: приступаем к обучению агнцев божиих Анастасии да Наталии.

Счастливей дня не было у Кондратия Федоровича.

Может, только когда надел эполеты...

12

Из Белогорья прикатили товарищи вшестером, на двух колясках. Среди них – аккуратный и важный новенький – мальчик прапорщик, еще и шестнадцати лет не минуло.

– Назимов. Михаил Александрович.

Ему доставляет удовольствие подносить к козырьку руку, представляться офицеру, хоть и одного с ним чина, но много старше возрастом, побывавшему в баталиях, в столицах многих стран, поэту – его стихотворения читал им в Белогорье поручик Сливицкий, правда, с вышучиванием, но он, Назимов, относится с почтением к слову...

Коляски, люди и лошади, заполнявшие двор, казались

выше его мазанки – господа офицеры эполетами касались стрехи тростниковой крыши.

Стол соорудили во дворе – из рундуков, вместо лавок – седла да ведра. Полетели вверх пробки, заискрилось вино, зазвенел смех. Об отшельническом житье, служебном ничегонеделаньи Рылеева говорили едва ли не с вос торгом.

– Вот она, свобода! Позавидуешь!..

– Как бы себя поставить так, чтобы Сухозанет махнул рукою и не тревожил фрунтом?!

– Заимей высокого дядюшку.

– Дядюшка есть, нет отваги.

– А что Рылеев... Буксгевден вообще живет в Курляндии, вне роты.

– Но не вне объятий Беаты.

Сливицкий настраивает гитару, напоминает о давних шалостях:

– Как это мы певали во дворе Хмелевского?..

Жил я у пана первое лето,

Выжил я у пана белого барана...

Он умеет поворачивать головы в свою сторону, Сливицкий:

Жил я у пана другое лето,

Выжил я у пана серую утку...

– О чем говорить, беден пан Хмелевский, да прекрасна Беата.

– Но свобода прекрасней! Скажи им, Кондратий!

Они завидовали его свободе, а он завидовал им. Вон и юный Назимов – при должности. А у него, Рылеева, до сих пор ни Дела, ни Слова...

Но не показывал вида, гнал невеселые мысли, шутил вместе со всеми. Попросил встать рядом Унгернов, по сторонам к ним приставил Федьку с Ефимкой – получилось

две пары, в каждой по высокому рыжему офицеру и по сбитуому рыжему коротышке в сермяге.

Такого хохота у них еще не было.

Потом Рылеев читал стихи – господа офицеры хлопали в ладоши после каждого прочтения, но автора не обманешь. Он по глазам видел удачное – неудачное: если нравилось товарищам – откладывал в сторону, не нравилось – рвал в клочья и пускал по ветру.

– Мои дни проходят не под знаком лиры, под знаком совы Минервы, – сказал будто в оправдание.

– Ну? – поднял дугой брови Косовский. – Минерва богиня мудрости, покровительница наук. Священной птице Сове назначено место у ног богини. Как далеко уходит от нас наш друг.

Все засмеялись.

Стадо коров возвращалось с пастбища, качало над старым плетнем рогами, мычало. Щелкал кнут пастуха, звывались и долго висели в воздухе бабьи крики.

Друзья укатили в полночь, ночевать не остались.

Майская ночь затопила прозрачной лунностью слободу, с Россоши плыла песня:

*Зеленые вишни,
Ты все девки вышли,
Маю, маю,
Маю зелено!*

Он лежал во дворе на фуре под звездным небом.

Чумацкий Воз – Млечный Путь пролегал через небо ночи, казалось, не звезды вымостили его, но искры когда-то разложенных предками костров, залетевшие в эту даль и еще не остывшие.

От его костра пока не долетело до них, не присоединилось ни искорки.

Душа уходила из земного существования, от несправедливостей и обид, жалких утех и радостей – воспаряла над миром и растворялась в межзвездных пространствах. Он чувствовал себя не то что бы исчезающим, превращающимся в ничто, но бесконечно малым, пылинкой.

Кривляющиеся в дикой пляске скелеты на страницах лубков, старуха с косой в туалетах кадетского корпуса, череп и скрещенные кости на перстнях товарищей – смерть преследует его символами с детства, во взрослой жизни встает в неотвратимой непреложности... Он не хочет оставаться пылинкой в земной памяти, не хочет!

От края до края перед утром стихает ночь.

В ничто ставят его сослуживцы, откровенно посмеиваются над его заштатностью, не принимают его мыслей и стихов его не приемлют... доколи так жить?

Утром Федька с Ефимкой мели двор, качали головами: переводит барин время на бумагу, а бумагу в мусор.

– У нынешних много грамотных, да сытых мало, – в последних сомнениях сопротивляется Михайла Андреич. – Господь повелел от земли кормиться.

– Хоть и грамотей ты у меня, да языком шепеляв, – Матрену Михайловну не отвлечешь пустословным маневром. – Не дам тебе воли держать девочек в темноте да невежестве.

...И вот – первый урок.

– Грамматика, – начинает он, произносит и вслушивается: звучит красиво, уверенно, – это законы языка, установленные обычаем и в порядке изложенные...

Напротив две девушки держат наготове перья, тайком поглядывают друг на дружку: батюшка прятал-прятал их от посторонних мужских глаз, а тут взял и оставил одних с молодым офицером, давно ими изучаемым; покорные глаза их следят за каждым его движением. Он чувствует это, понимает

– покорность их деланна, только и ждут случая засмеяться.

Настасья чуть откинула голову со вздернутым носиком, в круглых глазах – любопытство. Он произносит фразу – она начинает записывать, занятие не весьма привычное ей, правое плечо напряженно поднимается, выдвигается вперед, голова почти ложится на него.

Лицо Натальи под весенним загаром скрывает бледность, в боковом свете щеки отливают золотистым пушком, тоненькая шейка старается оставаться прямой при писании, старается оставаться прямым стан; завитушки волос надо лбом мелко-мелко подрагивают – волнуется, вот-вот высунет кончик языка от усердия.

Он успокаивает собственное волнение.

– Я научу вас всему, чему нас учили в корпусе, – и рассказывает о корпусном учителе Геракове, написавшем книгу о женщинах древнего мира, занимавших в обществе высокое положение, ибо были грамотнее мужчин – те были озабочены лишь удержанием престолов да расширением своих уделов. Интригуя учениц, пользуется приемом своего учителя: – О пользе знаний вам скажет небольшой пример из истории. – Кладет перед ученицами лист с написанной фразой: «Эдуарда убить не смейте бояться полезно» – Где бы вы здесь поставили запятую?

Они прочитали – и обе прыснули.

– Абракадабра и только.

– Она стоила жизни королю Эдуарду Второму.

Сестры насторожились, переглянулись. Удовлетворенный произведенным впечатлением, он пересказывает предание тринадцатого века. Изабелла была королевой, Эдуард Второй – королем, он пал жертвой заговора, в котором верховодила она; парламент низложил короля, заточил в замок. И вот к тюремщикам пришла эта записка.

– Что случилось с королем?

– Я уже сказал: записка стоила ему жизни.

...Над слободой Подгорное ни облачка, тихая Россосшь не всколыхнет вод – течение невидимо для глаза, лишь тростники его обнаруживают: от каждого стебля тянутся бурунчики легких волн. В далях за речкой – безмерность мира, синь.

В небе ни облачка, на душе – тоже.

Наташа в ночной сорочке по лунному коридору прибежала на цыпочках в комнату Анастасии.

– Ты не спишь, Ася?

– Не сплю.

– И мне не спится. – Села на краешек кровати, запрокинула голову, расправляя распущенные волосы, черными светляками мерцали в лунном свете ее глаза. – Со мной происходит странное: будто я открываю окно в сад, а там не сад, но дорога в степь, и по ней идет ко мне Кондратий Федорович.

Сказала – и положила голову на грудь Аси, загорелые руки тоненько вытянулись по белой подушке.

– Это хорошо, – Ася гладила ее по волосам, по безвольной спине.

Во дворе, обнесенном саманной стенкой, широко, с курами и собаками, Михайла Андреич берет Кондратия Федоровича за плечо:

– Говорят: не купи деревни, купи соседа. Мои соседи – люди чистой души. Например, Бедраги. Да не ездок я теперь по гостям.

– Я сопровожу вас.

Артамон сам сел на козлы: виданное ли дело, барин выезжает.

У Бедраг, коли гость приехал, должен переночевать.

Завидев гостей, экономка скликает кухарок да горничных.

– Похвально, похвально, – седой Бедрага с черной повязкой на голове идет навстречу. – Сосед обязан ездить к соседу, вместе, может, какое благое дело придумаем. Поклонился Рылееву: – Михаил Григорьевич. Совсем недавно господин Тевяшев привозил сюда гостей, как в кунсткамеру, показывал меня: вот, дескать, Бородино, дескать, Денис Давыдов. Какой мысли он следует ныне?!

– Конно-артиллерийской роты прапорщик Рылеев, – представился Кондратий Федорович. – Ныне он знакомит меня с соседями.

13

Существование прапорщика Рылеева за пределами досягаемости командирского глаза смущало подполковника Сухозанета. Удаление от фрунта оставляет время для посторонних суждений, занятий, противных самому существу господ офицеров – изучение философии, маранье стихов, малеванье картинок. Отвлеченье духовных сил на сии предметы лишает упругости шаг, расслабляет грудь, отмашку руки делает вялой; в глазах – не выражение вечной преданности, но усмешка, может быть, сожаление: чем ты, господин подполковник, заполняешь жизнь, чему посвящаешь?! Измеряешь ширину шага, считаешь пуговицы на мундире да в строю – грудь четвертого человека? Мол, за твоею душой только сей счет и есть... Не выпускать их из фрунта! Пойдут в развращающие ум и сердце компании, найдут собеседников, соберутся в кружки...

– Господин прапорщик! – постучал в окно вестовой ранним утром, до петухов. – В роте тревога, господин подполковник к себе требуют! – Повернул коня и исчез.

Когда бьют тревогу – это серьезно, надобно поспешать, но где его военное платье? Постиранные Ефимкою панталоны висят на веревке, сохнут, у сапог проносились

подошва, каблуки стоптались и отвалились. Кондратий Федорович – в свое пиитическое статское и на коня: «Там у кого-нибудь переоденусь».

Строй вытянулся на сто сажений, на правом фланге – офицеры. «Никакого переодевания не будет!», – понял Рылеев. Пристроившийся к ним, он нелеп, как деревянная ложка среди золотого сервиза.

Под Сухозанетом от неожиданности остановился конь.

– Налево! Марш! – скомандовал подполковник роте.

– Вахмистр, веди! – Направил коня к офицерскому строю. Подчиненные отворачивали головы, давились смехом и ждали, что будет дальше. Негодование переполняло подполковника, подступало к горлу, он набирался сил государственно использовать невероятный случай. – Господа офицеры! Пренебрежение службой, пренебрежение строем делает вас похожими...

И не договорил: как они ни смыкали губ, распирающий щеки смех выплеснулся наружу, они взорвались им, смехом! Смеялись Штернберги, Федя Маленький, Косовский, Сливицкий, Гардовский, Назимов... Не смеялся только Буксгевден, потому что опять, наверное, был в Курляндии. Прапорщик побелел: смеялись над ним, не над негодованием Сухозанета – над ним смеялись!

– Отечество... долг... домашний арест... – слова доходили до сознания разрозненными.

В мазанке под тростниковой крышей приходило не успокоенье – вспоминался Бедрага. В коротком белом полукафтани, с густыми бакенбардами, он язвителен и суров в свои сорок лет:

– Острогожск наш – Воронежские Афины – с прибытием драгунской дивизии показал, чего стоит. Над каждым

полком свист шпицрутенцов, фухтелей, палок – столь изыскан обиходный словарь пыток! Командуют свистом благородные господа офицеры, вместе с истязаемыми нюхавшие порох, ловившие пули, жизнью жертвовавшие – и ни один мускул на лице не дрогнет, в душе – ни одна струна. Острогужские же либералисты чтят сих палочников как героев! – водят гостей по аллеям сада, разгораясь, Михаил Григорьевич поднимает трость вверх. И поворачивается к прапорщику: – Вы, Кондратий Федорович, не сечете своих солдатушек, bravo-ребятушек?!

– Не все офицеры одного поля ягода.

– У него никого в подчинении-то нет, – поспешает на помощь Михайла Андреич. – Как можно так человека бездолить? Три года служит, а под командою и взвода ни разу не было, будто из корпуса и сразу на полный пенсион.

– Таковы уж порядки в армии, привыкла тратить людей впустую, – Бедрага приостановил шаг. – А тут у меня людская. – Взошел на крыльцо и толкнул дверь:

– А в людской солдат генерала Аракчеева, мой рекрут. – Он указал глазами на лавку.

Свет лился через два оконца и будто висел между потолком и полом, не заполнял всей комнаты.

– Царь морской, царь донской, водяная царица, дайте рабу божьему Онисиму водички для питья, для здоровья... – молил мужской голос.

Открытая дверь добавила света в комнату. Два мужика, стоящие к ним спиной, повернулись и расступились.

Обложенное давленными листьями лопуха и подорожника, обнаружилось страшное человеческое тело в багровых лохмотьях кожи, размождении мышц, обнажении костей... Михайла Андреич едва не упал в обморок, мужики подхватили его под руки, положили во дворе на лавку.

– Это и есть Аракчеев, его поселения! – Бедрага тро-

нул за локоть окаменевшего прапорщика, показывая, что надо выходить, что солдату нужна помощь, а мужики не войдут, пока здесь господа. – Он пришел ко мне за защитой, и я не отдам его армии.

Изувеченный открыл глаза, показалось, сделал попытку подняться, застонал, рука как будто потянулась к нему, Кондратию Федоровичу, – он отшатнулся... Вот она, живая весть из военных поселений. Он знал: они рядом – в Слободской Украине. Но знал умом, а теперь увидел воочию.

Мужики привели в чувство Михайлу Андреича, он уже стоял на ногах, грозный проповедник розог из прошлого века.

«Он шел?! – выходя из людской, постигал сказанное Бедрагой прапорщик. – Он шел?! Такой-то! Неживой, полумертвый!» – Лицо с неподвижными, слепыми, белыми от боли глазами стояло не перед взором его – перед совестью. Перед жизнью... А он, выходило, оттолкнул его руку?!

– ...Есть семьдесят три жилы, семьдесят три сустава, – слышалось из людской. Там человеческое участие проявлялось в действии. А он оттолкнул руку... – Из каждой жилы, из каждого сустава...

– Михаил Григорьевич! – дрогнул голос прапорщика. – Я на войне ничего подобного не видел!

– Как живем, так и умираем, – старик Тевяшев полез в карман за платком.

Бедрага повернулся к прапорщику:

– Я понимаю вас. С возрастом начинаешь чувствовать себя не только отвечающим за вотчину, но и за Отечество, оно, может быть, и есть в мужской жизни самая большая забота.

Он ждал, когда пройдет возбужденное состояние, уляжется гнев, но подумал: пожалуй, гнев станет теперь

его постоянным чувством; гнев и стыд за отечество, погруженное в пучину несчастий.

Дом Тевяшевых светился во мраке его смятений одним из лучших в мире имен – Наташа; светился ее улыбкой, всегда мгновенной и неожиданной, она словно жила у нее за губами, стоило их раскрыть – и возникала улыбка, светлая, освещающая смуглое лицо и черные глаза; улыбаясь, девушка опускала голову, будто опасалась ослепить его, земного артиллерии прапорщика, Ангел Херувимовна. «Нет тебя милей на свете, ангел несравненный мой! Ты милее в юном цвете алой розы весенной. Лучше с жизнью разлучиться и все на свете позабыть, я клянусь в том, чем решиться тебя, друг мой, не любить...»

Он перечитывал послание и горевал: не идет к нему Слово! Не идет, на перо не ложится, на бумагу не сходит. Весенной – тоже мне слово! В нем поднимался гнев на немощь, на скудость языка, неспособного выразить его чувств. Выразить так чисто и ясно, как поется в народных песнях. В тех песнях – душа народа, с его преданиями, сказаниями, легендами. И подумалось: а что, предания не живут в Острогожском уезде? Живут! Он с них и начнет завтра в классе. Расскажет, как Петр Великий по взятии Азова прибыл в Острогожск, принял там гетмана Малороссии Мазепу, охранявшего у Коломака пределы России от татар; гетман поднес царю турецкую саблю, оправленную золотом, осыпанную драгоценными камнями, щит на золотой цепи, столь же искусно украшенный, а вместе с подарками – клятву в верности. Государь принял на веру клятву, оказал гетману особое благоволение... Мазепа чрез несколько лет предал государя и Россию, а почитай, и Украину, столько бед принес ей, столько людей лишил жизни... Ей, истории, нечего пылиться по полкам монастырей, любителей древностей да страницам книг, коих никогда не

коснется рука уездной девицы... Он посвятит урок Ангел Херувимовне...

Михайла Андреич разглядел особое расположение Рылеева к младшей дочери – затревожился, высказал опасенье Матрене Михайловне:

– Что-то Кондратий Федорович будто зятится ко мне. Смотри, мать, ни в сыворотке сметаны, ни в таком зяте племени. Худороден и нищ, видать.

Матрена Михайловна во всегдашнем противодействии соображениям супруга: у него всегда не то на уме. Девушке замуж надо, что ли ей всю жизнь здесь сидеть за плетнем, выйдет за офицера – белый свет посмотрит; здесь что? Ни праздника светлого, ни буднего дня доброго.

– До седин дожил, а ума не нажил. Затюшка по дочке помилеет, о том думай, об ее счастье. Далось тебе это племя. Сам-то не ахти каких кровей. О сыновьях подумай – они могут по невесткам опостылеть.

Михайла Андреевич завозился в креслах, засопел: «Не ахти каких кровей! – возмутился. – Наша кровь известная – русская, русской землей вспоенная и вспоившая землю русскую».

– Про племя-то молвилось с того, – не выказывал обиды супруг, – что уж больно дури всякой в голове много, книжная дурь – она хуже дури врожденной. Мы – помещики, у нас труд крестьянский. А грамотей не пахарь.

Супруга махнула рукой на старого, ушла, ворча:

– В которой посудине деготь побывает, и огнем не выжжешь.

Рылеев не появлялся у них трое суток: сидел под арестом.

Сухозанет вызвал его в Белогорье – повелел съездить в Острогжск за имуществом роты. Хомуты, шлеи, картечь и ядра, деготь и рогожа, фуры и ящики... Смертная скука!

С Федей Маленьким он сходил в штаб, выписал подорожную. С нею пришли на почтовую станцию. Смотритель степенно надел очки в железной оправе, потом снял их, задумался.

– Откуда такая вещь, хозяин? – увидел Федя в углу комнаты ружье необычного вида, старое-престарое: отмытая ржавчина оставила на стволе и курках щербины. – Где приобрел такое добро?!

Смотритель вышел из задумчивости, оторвал взгляд от бумаги, изрек: ружье откопано в одном из степных курганов, оказалось пригодным к бою – брат с ним три дня назад ходил на охоту.

– Не заряжено?

– Кто держит в доме ружье заряженным?!

Комнатка узка – не приложишь к плечу приклада.

Военные руки Феде и так, и этак примеряются к ружью, ищут курок, туда-сюда направляют ствол.

– Да жми ты, жми, – не утерпел Рылеев, заметив нетерпеливый палец друга. Хохотнул: – Пали из пустого ружья.

Федя нажал, и громохнул выстрел, комнату затянуло дымом.

Звякнули о столешницу выпавшие из рук смотрителя очки.

Заряд волчьей дробы ударил в стену чуть выше правого плеча Кондратия Федоровича. Он помертвел, но быстро совладал с собою.

– Хорошее ружье: с полки упало, семь чашек разбило. – И вроде попенял Феде: – Эх ты! И убить не сумел! (По-

том долго недоумевал: почему такое слова сказались: не иначе все-таки, как с испуга.)

– Фу, – закашлялся Федя. – Счастливый гений тебя ведет.

Узнавшие о сем событии сослуживцы были, однако, другого мнения:

– Что-то все чаще тебя, Рылеев, судьба водит по краю бездны: болеешь – смертельно, шутишь – смертельно.

Поддерживая друг друга, они спустились по меловым уступам к реке, зачерпывали ладонью воду, омывали лицо и шею – хороша водица!

– Не вода – парное молоко, не грех бы искупаться.

– Грех, Илья Пророк уже прогромыхал на колеснице.

– А там лес в пляж, – показал на тот берег Косовский.

Лодочник знал, что баре захотят туда, мигом их переправил.

– Хороша штука, жизнь, но нам нейдет: войны, дуэли, служба...

– Сухозанеты...

– Аракчевы...

Денщики расстелили под деревом скатерть, вокруг, кто сидя, кто лежа, кто на боку, расположились господа офицеры.

Назимов, заметно мужающий мальчик с наметившимися усами и бакенбардами, запрокидывал голову:

*Увы! Куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть...*

Его не спрашивали: кто? Знали, если читает Назимов, – значит, Пушкин.

Кондратий Федорович потрясен. Счастлив поэт, к кому Слово приходит само или он с ним рождается.

На землю опускался вечер. За лесом, за поворотом реки слышались выстрелы – наступило время охоты.

На реке прохладно. Рылеев запахивает мундир. Волны легонько плещут у борта лодки, легонько ее качают.

– Смотри-ка, на охоте не были, а вернемся с добычей.

К лодке течением несет убитую утку, он тянет руку за ней и оказывается в воде, а плавать-то не умеет...

Подгорненские старухи лечат его от простуды, опускают угольки в святую воду, нашептывают:

– Подите же все скорби и болести за темные леса, за горные грязи, куда люди не ходят, на конях не ездят, собаки не бегают и вольны птишки не летают, – в зеленый мох, в зыбучее болото, в провалище...

Его отпаивали отваром степных трав, укутывали в одеяло, прикладывали к ступням горячий песок в мешочках. Но его бил озноб. В полубреду-полудреме являлась ему Ангел Херувимовна, тянула тоненькую шейку, поднимала глаза вверх, чтобы слезы не капали на пол, горестно опускались плечики, беззащитно. Он не хотел, чтобы она приходила, видела его немощным, некрасивым, измятым, не хотел, чтобы она видела его жилище в нищете и развале.

В светлые минуты он слушал разговор Федьки с Ефимкой на лавочке за окном:

– Помнишь сказ о купце Баранове из Олонецкой губернии города Каргополя? – спрашивал Федька. – Уплыл за тридевять морей, богачом из богачей стал, королевский сан, сказывают, носит среди тамошних людей.

– Носит и носит, – отзывался равнодушный Ефимка, – да нам-то что?

– А то, отслужит барин, даст нам вольную и поедем мы с тобой к тому Баранову, купим землицы и проживем не хуже бар.

– А с бабой как? Небось, Настасья Матвеевна добром швыряться не станет.

– Там свои есть.

Ефимка пренебрежительно сплюнул:

– Какой там народ, знаешь? Калошами называется, хорошего человека калошей не назовут. У ихних девок через нижнюю губу палочки проташены...

Он слушал разговор своих людей, тоска по светлой земле, идущая из кадетских лет, овладевала им. Он поднимался над нею, возвышался мыслью: никуда уезжать не надо, надо свою землю сделать счастливой...

Ангел Херувимовна появляется в его забытии, он тянет к ней руки, но она отходит и превращается в ласточку-береговушку. Меловой берег Дона поднимается к августовскому небу, становятся видными часто-часто расставленные черные точки гнезд-нор ласточек. Его береговушка вспархивает и исчезает в одной из них... Томительное ожиданье. Она появляется уже не птицей, легкой в полете, но святой Марией, казачкой, в таврическом походе потерявшей своего казака, полвека живущей в пещере, вырытой на месте ласточкина гнезда.

15

В августе царский двор в сопровождении двух сводных полков гвардии тронулся из Петербурга в Москву на празднование пятилетия изгнания французов из Первопрестольной и церемонию закладки памятника-храма в честь Двенадцатого года. Начальником штаба сводного отряда назначен двадцатипятилетний полковник Александр Николаевич Муравьев. С ним в Москву ушли почти все члены тайного общества.

Князь Трубецкой, остававшийся в Петрограде, взбодоражил их сообщеньем: государь вознамерился присо-

единить к Царству Польскому литовские, белорусские и украинские земли, а столицу России перенести в Варшаву. Земли будут присоединены к Царству во дни, когда несогласный, сопротивляющийся сему решению народ возьмется за оружие: по мнению государя, смятение есть лучший случай для осуществления сего намерения.

Общество с резкими разногласиями заседало и раз и два, пока один из членов его, подпоручик Якушкин, в несчастной любви спасаемый много раз товарищами от собственных рук, не предложил пресечь царствование Благословенного. На знамени общества не должно быть крови – поэтому он предлагает себя: убив царя, он покончит с собой.

Эта готовность к самопожертвованию остановила их: готовы ли они, в силах ли подействовать на нового царя, если он не согласится освободить крестьян и дать конституцию? И согласно ответили – нет. А коли так-то, Союз недееспособен и должен быть распущен: во имя образования нового тайного общества – широкого, проникающего во все поры российского государства.

Во имя этой цели составили новое – переходное – Военное общество.

В доме Тевяшевых тоскует душою, пьет рюмку за рюмкой Владимир Иванович Астафьев – сосед, светлейшая голова, честнейшая душа, Матрена Михайловна смотрит печальными глазами: чего мается человек?! Будто в возрасте, а все правды ищет... У нас с Михаила Андреичем, чай, лет десять лежит дело в Сенате. Да каких десять – какой ноне год? А подано при государе Павле Петровиче али при матушке Катерине... Который год из Сената нам кукиш кажут... Мыслимое ли дело – с утра водку чарками опрокидывать?

– Княгиня Голицына передала дело Тараски Зозули в надежные руки своего сыночка, – негодует Владимир Ива-

нович. – А он неодолим. Ему только шевельнуть пальцем – наше острогожское правосудие все решит в его пользу. Добродетель – понятие не для нашего уезда.

– Не богословскую ли добродетель в виду имеете? – Отец Иоанн одним глазом смотрит на Матрену Михайловну, другим – на Астафьева, будто предупреждает одну: слушать, что он скажет, – необязательно, другого – что сказанное предназначается ему: – Их три: вера, надежда, любовь. Вера отдает во власть духовенства народы, надежда одаривает их неисполнимыми желаньями, а любовь принуждает содержать духовенство на всем готовом.

Михайла Андреич привычен к небогобоязни отца Иоанна, но сегодня он явно заговаривается.

– Ты бы поосторожней, батюшка, поосторожней. Не будь исправник своим человеком, сообщил бы ему, ей-богу.

Матрена Михайловна машет на супруга руками.

– Мелкая жизнь, мелкие обиды, – говорит Астафьев. – В русском сердце сейчас должна быть одна обида – за Русь-матушку: сколько можно ее мытарить?!

...Она прекрасна в молодости и невинности. В какой-то вечер или раннее утро у ног ее упала звезда и рассыпалась; она подняла осколки звезды и, как цветами, убрала ими волосы; каким-то утром стояла она лицом к востоку и молилась на солнце: добрый день тебе, ясное солнышко, ты прекрасно, ты чисто и величаво, ты освещаешь горы в долине и высокие могилы в степи – курганы; освети меня добротою, одари красотой... И солнце услышало ее молитву.

Она, Ангел Херувимовна, невесомо ходит тропинками сада с букетом желтых, багряных и черных листьев. Сжатым кулачком еще недавно томилось в груди ее сердце, пугливо вслушивалось в заговоры приходящих к матушке древних старушек: «Двенадцать апостолов, тын

железной, врата медная, верей железных, в землю три-девятью лакоть, от земли до небеси, от небеси до земли, от востока до запада, от севера до лета, со всех четырех сторон на три поприща, на три версты, истинный Христос и вся небесныя силы, встаньте круг Натальюшки на сохранение и сбережение, на любовь красную...». Вслушивалось и верило – так и будет. Пришел Кондратий Федорович, и она почувствовала: кулачок ее сердца разжался – входит, любовь...

Дворовые девки поют за гумном, и душа ее вторит песне:

*Горыть мое било лычко:
Люботь буде дощ.
Ой дощыку поливайчику,
Польвай, польвай;
Козаченьку до дивчины
Прыбувай, прыбувай!*

Ее козаченьку – ее учитель; он открывает ей широкий неведомый мир...

Кондратий Федорович вышел из-за деревьев навстречу ей – ее губы дрогнули, открыли спрятанную улыбку.

«Не будучи романистом, не стану описывать ее милую наружность, а изобразить ее душевные качества почитаю весьма слабым... Ее невинность, доброта сердца, пленительная застенчивость и ум, обработанный самою природою и чтением нескольких отборных книг, – в состоянии соделать счастье каждого, в коем только искра хоть добродетели осталась. Я люблю ее, любезная матушка, от вас зависит благословить сына вашего и, позволив ему выйти в отставку, заняться единственно вашим и милой Наталии счастьем».

Письмо матушке отправлено вчера.

Они ходят тропинками сада: он в зеленом мундире,

высоком кивере, она – в лиловой накидке, молодые, красивые среди пожелтевших деревьев.

Гости Михайла Андреича стоят у окна.

– Одна надежда у меня – молодежь: она не позволит быть миру таким, чтоб в нем правили воры и взяточники, увешанные лентами и эполетами, – говорит Астафьев.

– У вас две крайности: безверие и вера.

– Понимаю, отец Иоанн, понимаю. Но во мне больше веры в то, что появится на Руси сила, способная смести всю эту гнусь.

– Блажен, кто верует...

Михайла Андреич не вникает в их разговор, у него своя забота – вон она, за окном ходит.

– За семь верст комара искали, а он на носу сидит.

– Да будет вам, Михайла Андреич, – успокаивает его Астафьев, – жизнь как надо идет.

– Но ведь у обоих за душой пусто. Нищета, она не порок, да то не про вас сказано. Тевяшевы никогда не сидели на черной корке.

– До чего говорлив стал старый! – во всегдашнем противостоянии Матрена Михайловна. – В доме шаром покажи, а он, гляди-ко, черной корочки не едали.

– Не пилося, не елось, никуда б не делось, – сурово проговорил Михайла Андреич, не глядя на супругу.

Анастасия Матвеевна отвечала на письмо сына: «Тебе, мой друг, известно, деревня моя не так велика, ревизских душ 42, а работников 17, то сам посуди, сколько они могут поработать: земля у нас не такая, как там, где ты теперь, долгу на мне много, деревня в закладе, тебе известно, что я насилу могу проценты платить, и то с помощью друга моего Петра Федоровича, а что пинешь в рассуждении женитьбы, я не запрещаю: с Богом, только подумай сам хорошенько, – жену надо содержать хорошо, а ты чем будешь ее покоить?.. Посуди сам, Наталья и ты будете горе

терпеть, а я, глядя на вас, плакать. Я советую тебе как мать и друг твой верный, подумай хорошенько и скажи невесте и родителям ее правду, сколько ты богат, но я не думаю, чтоб они захотели, чтобы дочь их милая терпела нужду».

Сын разрушал ее планы: она давно присмотрела для него подходящую невесту – дочь соседнего помещика, той всего тринадцать, но сын мог бы подождать, пока она подрастет.

16

Из Петербурга пришло два тома Батюшкова. Прекрасный слог, прекрасно слово и прямо об его остро-гожской жизни:

*Ужели в истинах печальных
Угрюмых стоиков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных
Между обломков и гробов,
Найдем мы жизни нашей сладость?*

В его хате-мазанке живут он да книги, но места для него остается все меньше. В библиотеке имена старых и новых авторов, французские энциклопедисты пополняются Монтескье. Книги тревожат разум, бережат душу. В одних утверждается: жизнь на земле нескладна оттого, что мало согласована с Богом; в других – оттого, что закону, утверждающему власть и форму правления, придается большее значение, чем закону, устанавливающему собственность и регулирующему пользование ею. Ему во всем приходится разбираться самому – сослуживцы голову книжным чтением не затрудняют...

*О надежда! ты мой гений!..
Помогай мне заблуждаться,
Что любим Наташей я,
Что настанет наслаждаться
Скоро час и для меня!*

С часом не все было просто: неперменным условием Михайла Андреич выставлял отставку. Но отставке сопротивлялась матушка Анастасия Матвеевна: «И служба, и чин твой так малы, если и в статскую службу идти по твоему чину, то я не знаю, какое место». Он выказывал сыновнее послушание, но стоял на своем: «Знаю, что неприлично в такой молодости оставлять службу и что четырехлетние беспокойства недостаточная еще жертва с моей стороны отечеству и государю... Но разве не могу и не в военной службе доплатить им то, что недодал в военной?». Строки ложились одна за другой на бумагу, а он понимал, как далеко ушел от кадетских лет – в душе места для государя не оставалось...

Он прискакал в Белогорье, лучась и сверкая.

– В Подгорном грядет событие, кое непременно войдет в историю непобедимой конно-артиллерийской нумер Одиннадцатый роты!

– В ее истории уже произошло событие: она стала нумер двенадцатый, – Косовский усмехнулся, прочие рассмеялись. – К следующему твоему появлению, возможно, станет бригадой.

– Поздравляю... Но в Подгорном событие ошеломительней: старик Тевяшев дает бал и приглашает всех вас!

Господа офицеры возликовали.

...Дочери долго уговаривали Матрену Михайловну, та все не соглашалась.

– Какой бал, деточки? Кавалеров путных не видать, одни старики, так их без того на неделе по семи раз видите. – Посмотрела печальными глазами на младшую: как ни хорош Кондратий Федорович, а все не пара – беден и в голове каша. Поджала губы: – А Наталья так почитай на дому уж обвенчана.

Ангел Херувимовна вспыхнула, убежала к себе в комнату, заперлась.

– Вы в двадцать лет, матушка, двух сыновей имели, а нас вековухами хотите оставить?! – заступилась Настасья.

– Не вековухами, а пожили бы подольше в родительском доме.

Тевяшевский дом ожил. Загорелись лампы и свечи, дворня, выряженная в праздничные одежды, неведомо откуда набралась во множестве. Артамон памятником стоял посреди широкого двора, отдавая приказания: туда поставить эту коляску, сюда определить ту. Острогужский уезд оказался богатым на молодых людей, пребывающих в статусе жениха, на подержанных щеголей, пребывающих в нем же.

Перед началом бала случилась маленькая неловкость.

Гардовский, поклонившись Наталье, сказал:

– Я такой и представлял вас, Матрена Михайловна.

У нее остановились глаза, пугливо приоткрылась улыбка. Она повернулась и стремглав убежала.

– Что я, старуха какая? – причитала в светелке.

– Ты оскорблять сюда ехал?! – хватал Рылеев за отвороты мундира ничего не понимающего Гардовского.

– Опомнись, да что с тобою?! – отдирает его тот от себя.

Унгерн-Штернберги бросились следом за ними в боковую комнату, растащили.

– Этот подлец обозвал Наташу Матреной Михайловной!

Смертельной бледностью бел, он почти прокричал это, Рылеев. И широким шагом пошел прочь.

Гардовский оправдывался перед братьями: спутал...

Бал, как положено, затянулся за полночь.

Наташа не знала отбоя от приглашений, особенно преуспевал Федя Маленький – Кондратий Федорович даже пригрозил ему строгим взглядом.

Анастасию чаще других приглашал статский во фраке, с галстуком, повязанным широким узлом.

Гости подходили к облаченному в мундир екатерининских времен Михайле Андреичу, к Матрене Михайловне в платье той же поры, говорили сладко лежащиеся на старое сердце слова благодарности.

Гардовский на балу не остался, извинился перед Натальей Михайловной и тотчас уехал.

Лиха беда начало! О бале у Тевяшевых говорил весь уезд. И хозяин Подгорного не уложил мундир в сундук – понял, что жив, что жизнь продолжается. Поразмыслил и объявил для встречи Нового года бал-маскарад.

Оркестр драгунского полка, квартирующего в Остроужске, не умолкал всю ночь.

Лихие сечевики в желтых и синих рубахах с опояскою, в широченных шароварах, вельможи в париках и шитых золотом красных камзолах с голубыми и красными лентами через плечо, дамы с непременной лорнеткой, с прическами сложных строений – вавилонские башни, парусники, лохмы бабы-яги – кружатся в танце, смеются, никто не узнает никого или делает вид, что не узнает.

Вымотанный капельдинер, покидая пост перед оркестром, подходит к столику, поставленному рядом, принимает стаканчик и возвращается.

Седой англичанин в картонном цилиндре, в увешанном множеством картонных звезд сюртуке светло-кофейного цвета шепчет неведомые слова тоненькому турчонку в красной феске – и тотчас оба оказываются в ночной улице, где также творится праздник, свет горит во всех окнах села: зима за морозы – мужик за праздники.

Уж я золото хороню, хороню,

Чисто серебро хороню, хороню...

Подблюдные, величальные, колядочные песни звучат в лунной ночи.

Наташе кажется – эти гулянья, песни подстроены Кондратием Федоровичем, он продолжает обучение. Матушка с батюшкой держат их с Асей в строгости, гулять с деревенскими сверстниками не пускают, только издали, с далекого голоса слышали, знают они эти песни:

*Пал, пал перстенок
В калину, в малину,
В черную смородину.
Очутился перстень
Да у дворянина,
Да у молодого
На правой ручке,
На малом мизинце.*

Ряженные перебегают от дома к дому, поют и пляшут: в песнях мужик сыплет золотом-серебром, дарит перстни и серьги, у него дорогие кони, на нем куньи шубы, златые венцы; в новогодние ночи Россия счастлива. «Это память или мечта?» – спрашивает себя Рылеев. Нет ответа. На уме другое – неизничтожима в народе память о предках, она – в языческих ритуалах, обрядах: по деревням живут хранители их, по городам – во всех сословиях общества, даже среди церковников, среди государей, объявивших язычеству смертельную войну: «И мы указали о том учинить на Москве и в городах и в уездах заказ крепкой, чтобы ныне и впредь никакие люди по улицам и переулкам и на дворах в навечери Рождества Христова и Богоявления «каледь» и «плуг» и «усеней» не кликали и песней бесовских не пели».

Но песни никогда не смолкали:

*Гадай, гадай, девица,
В коей руке былица...*

Во дворе через дом от хаты прапорщика Рылеева четыре девицы берут по блюду, пятая кладет на первое уголь, на второе печинку (не какое-нибудь бесовское чудо – кусок глины от печки), в третье – щетку, в четвертое – кольцо и накрывает блюда платком.

Жизнь пойдет, покатится

Не по жемчугу – золоту...

Былица – колечко из серебра; на каком блюде оно? Блюда составлены на столике посреди двора, переставлены по четыре раза с места на место: ни сама ведунья не знает, ни те, кто судьбу пытается, где с чем какое. Трепетная рука замрет под платком – по лицу читается: что там? Если уголь – муж будет пьяница, человечешко никудышный; если печинка – это смертушка скорая; если щетка – муженек некрасивый будет, старый да скаредный; если былица – и муж молодой, и житье счастливое.

С горя не наплачешься.

Через поле идучи,

Русу косу плетучи,

Шелком приплетаячи,

Златом первиваячи.

Матушка с батюшкой если спохватятся – накажут, и не быть перстеньку на правой ручке, на малом мизинце у молодого дворянина: ее могут сослать в монастырь за неслыханное грехопадение – гуляние с молодым человеком, невенчанной, непомолвленной. Надо скорей возвращаться, но так хорошо на улице рядом с Кондратием Федоровичем! В трепете счастья и страха она прикрывает меховым воротником шейку.

Новое состояние души тревожно и неожиданно: давно ли он, Кондратий Федорович, не верил сказкам о всемогуществе любви, даже признавал влюбленного за слабого человека. А теперь...

*Как сладко вместе быть!.. Как те часы отрадны,
Когда прелестной я могу сто раз твердить:
«Люблю, люблю тебя, мой ангел ненаглядный;
Как мило близ тебя! Как сладко вместе быть!»*

Он пишет послания, заполняет ими альбом Наташи, а в сердце – смута, тревога, как будто он изменяет себе или чему-то такому, чему предназначалась его жизнь... Он влюблен, и сердце его разрывается.

Мужчины постарше удаляются от танцующих, рассуждая о временах и нравах. Михайла Андреич в боевом запале:

– Не пойму я наших вольнодумцев. Как можно поднимать без боязни глаза на то, на что и смотреть-то простому смертному не полагается? Как можно думать не так, как думают государь император или сенат?! От этого добра России не будет...

17

Члены Военного общества вырезали на клинках своих шпаг: «За правду» – ее надо защищать; она колет глаза, особенно высшему свету.

*Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!*

Пойдем, сомкнемся в ратном строе...

Полковник Глинка, Федор Николаевич, сочинитель сего, и Матвей Иванович Муравьев-Апостол, офицер лейб-гвардии Семеновского полка, утверждают: существование Военного общества затянулось, оно замкнулось в самом себе – пора создавать новое, пора призвать препоясаться на брань за Отечество честных людей из всех неподатных сословий – дворян, мещан, купцов.

И оно создано, новое тайное общество – Союз Благоденствия.

Цели общества те же, но ныне их признано необходимым внедрять в сознание тысяч. Для пользы дела ре-

шили купить литографский станок. Вспоминали слова немецкого писателя Георга Лихтенберга: «Свинец наборной кассы скорее, чем свинец ружейный, способен изменить мир».

Предполагалось: революция случится около 1840 года; другие отодвигали сие событие на десять-тридцать лет дальше, а кое-кто – на несколько столетий.

Полковник Муравьев входит в Коренной совет нового общества, возглавляет его Московскую управу, участвует в составлении устава.

Во время крещенского парада в Кремле унтер-офицеры допускают фрунтовые ошибки, за которые император отправляет полковника Муравьева на гауптвахту до вечерней зари. Александр Николаевич шлет на Кавказ брату письмо: «...дабы впредь избежать такого незаслуженного обращения, дабы полковник Александр Муравьев, служивший восемь лет с честью и отличием, бывший в походах, в 50-ти и более сражениях, впредь не был наказуем, как мальчишка, вышедший из корпуса, то я подал прошение в отставку».

В сентябре отставной полковник женится, уезжает в деревню, объявляет о выходе из Союза и возвращает имеющиеся у него бумаги Московской управы.

Учеба в Подгорном идет своим чередом.

Кондратий Федорович перед ученицами то в статском платье, то в военном – это им интересно. Они не знают, что прапорщик Рылеев нарушает строжайший приказ императора, запрещающий господам офицерам появляться вне своего дома в партикулярном платье.

– Варяг Рогволод, оставив свою страну, поселился в Полоцке, главном городе тогдашней области Кривской...

– Почему у варяга славянское имя? – спрашивает Наташа, выжидательно открыв улыбку.

– Скажи на милость! Не обращал внимания. Не такой уж варяг, значит, а может, варяг – это не то, что мы понимаем под этим словом?

– С какого возраста начинают понимать самостоятельно? – спрашивает Ася, сложив по-школьному руки.

– С вашего, многоуважаемая Анастасия Михайловна.

– Значит, мужчины отстают в развитии?! – еще невиннее высказывает она догадку и делает глаза круглыми.

– Значит, так, – сдается он, удивленный ее находчивостью.

В продолжение его рассказа прекрасная дочь Рогволода, Рогнеда, сговаривается за великого князя Ярополка Святославича, но брат его, Владимир Красное Солнышко, идет войною на Полоцк, умерщвляет Рогволода, двух его сыновей и насильно женится на Рогнеде...

– Сколько жестокостей!.. – вырывается у Наташи. – То друг друга, то брат брата, то муж жену убивают... Будто наша история – это дыба.

– Почему – наша? – сводит длинные брови прапорщик. – Некий Дамьен в изящной Франции нанес королю рану ударом ножа. Ему отсекли руку, державшую нож, потом его поливали расплавленным свинцом, кипящим маслом и наконец четвертовали. Казнь длилась четыре часа.

– Довольно ужасов! – просит старшая. – Без того сердце заходится.

О Франции он рассказывает часто – ученицы расспрашивают. В чужой стране для Анастасии интересны истории и писатели, для Наташи – семейный уклад. Замкнутая и сдержанная, она перестала завидовать городским девицам: все женихи в городе, сказывала матушка, – выбирай, кто по сердцу, а в их деревне – живи и жди, могло и так стать, что всю жизнь ее бы звали девицей Тевяшевой.

Теперь она знает – ей быть госпожой прапорщицей, и девичьи страхи погасли, она стала улыбаться всем лицом – не одними губами...

Старшая тоже собирается замуж за соседнего помещика; младшая часто застаёт ее, безучастно лежащей на диване, мечтательными глазами читающей книгу судьбы на потолке.

– Я понимаю, на дворе весна, а мы о жестокостях, о мраке, – Кондратий Федорович подходит к окну: веселая зелень сада купается в солнце, – ...о мраке времен и душ человеческих. У наших предков Богом было солнце – Дажбог; может быть, потому солнце, что его не всегда столько в наших местах.

Многие из сослуживцев уехали в отпуск; сослуживцы, не сказать, что друзья... А ему стало словно бы грустно от счастья, оттого что остался один на один с любовью, она завладела им, не отпускала; растерянная душа парила меж берегов – берег любви и берег Слова, признания часто не соприкасались; он тщился соединить их мыслью, но мысль – незримая связь...

Санки подкатывали к подъезду, нарядные господа выходили из них, спрашивали у важного Артамона:

– Кто это у вас, батенька, женится?!

Подученный отцом Иоанном, тот отвечивал, не постигая смысла:

– Иван Великий на Сухаревой башне, в приданое – четыре калашни.

Ответ веселил господ, это веселье вносили они в дом, уже гудящий множеством голосов: женских – в столовой, на кухне, в комнатах, особенно – спальне, мужских – в передней, в коридорах да у буфета.

– Жениться недолго, да Бог накажет: долго жить прикажет.

Отпетый противник женщин гусар Бедрага о Боге вспоминает единственно для отца Иоанна. А тот за словом в карман не лезет.

– Ты, братец, суетен, оттого и гол предо мною мыслью: боишься женщин и несешь несусветное. Не от тебя такие бы словесы людям слушать, куда ни шло – от меня. – Святой отец одним глазом серьезен, другим смешлив. – Духовная семинария многими заповедями просветила мой ум, многими откровениями предостерегла. «Огонь есть со сеном – инок со женами, не угасимый многими водами».

– Господи, зачем только попов приглашают на свадьбу, – подмигивает уездный пристав Станкевич. – Наговорят такого, что себя сочтешь грешником, каких Бог не прощает. Ты бы лучше о похождениях своей братии рассказывал.

– Сие неприлично в целомудренном доме.

В девичьей допевались вчерашние песни.

*Летит сокол
Из улицы, слава!
Голубушка
Из другой, слава!
Слетались,
Целовались,
Сизыми крылами
Обнимались.*

Каждой девушке-голубице представлялся свой сокол, да только он уже прилетел к Наталье Михайловне, а к ним прилетит ли – пока неизвестно.

– Будьте счастливы, дети! Знайте: женитьба есть, раз-женитьбы нет.

Михайла Андреич иссяк до свадьбы – остатние силы на балах-маскарадах истратил, слаба его старческая рука с

подъятым фужером, сам он изношен, как его екатерининский мундир. Мысли у старика печальны: свадьба не хуже, чем у других, да натужного блеска ее только некоторым гостям не видно, нищета постигла его на исходе жизни, за дочерью – стыдно сказать! – пятнадцать душ дает приданого. Он сказал тост, пригубил фужер и сел.

В ответ раздалось:

– Горько!

Наталья Михайловна в подвенечном наряде воистину Ангел, воистину Херувимовна с пугливо вспархивающими ресницами, с кротким взглядом: попробуйте-ка быть смелой, когда сразу становишься госпожой Рылеевой и супругой, и жизнь открывается не уездная, но в столице, а там окружать тебя будут не сельские мирные помещики, покоящиеся по вотчинам, – сплошь офицеры да статские и все на государевой службе. Мыслями о будущей жизни жила она всю неделю пред свадьбой – плакала и смеялась, песни, петые для нее в девичьей, отзывались надеждой и страхом, звучали пророчеством:

Ты кузнец, ты кузнец!

И ты скуй мне венец!

Из остаточков мне

Золот перстень,

Из обрезочков мне

Булавочек.

Она молилась Богу, просила счастья, девушки песню не обрывали, песенная грусть заполняла сердце – и она плакала.

Уж и тем-то мне венцом

Венчатися,

Уж и тем мне кольцом

Обручатися.

Отец Иоанн подержал венец над ее головою, что-то сказал. Она не расслышала, смысла не поняла, но знала, что надо ответить «да», так и ответила.

И вот уже – «Горько!»

Она поднимается первой, поднимая за собою Кондратия Федоровича, а за столом веселые восклицания:

– О, Наталья Михайловна хозяйкою будет в доме!

– А еще говорят, Питер женится, Москва замуж идет!

Кондратий Федорович тоже в смятении...

Месяц назад он прощался с друзьями, их звала служба – рота перемещалась в другую губернию, он же, ждущий отставки, оставался в Острогжском уезде рассчитаться с интендантским ведомством, закрыть дела роты. Он поднимался над прощальными голосами, возбужденный, встряхивал головою, возлагал руки на плечи товарищей и пел:

А не два зверя сходились,

И не бел заяц и не сер заяц.

Сходились Правда с Кривою;

Правда Кривою переспорила...

Товарищи состукивались с ним рюмками, уверяли в вечном přátельстве.

– Господа! – отвечал он. – Я был скверным слугою царю, слуги из меня не вышло, но вы много лет дарили мне свою дружбу, спасибо вам за нее. Вы не разделяли моих мнений, но Сова Минервы вылетает в сумерки, а все ваше время оставалось светлым... Я пью за то, что мы есть на земле, что есть на ней ваша дружба.

По белому снегу пролег след конно-артиллерийской роты. С нею уходила его офицерская юность – другой у него не было... В Воронеже, в комиссариатских, промерзших до инея на простенках, складах, в 306 номере «Русского инвалида» от 26 декабря 1818 года он прочел: прапорщик Рылеев уволен от службы подпоручиком.

И стало еще холоднее: он отрешался от всего, чем жил с младенчества.

И вот он целует невесту пред цветом Острогжского уезда.

Отец Иоанн сверкает крестами на новой рясе, поднимает фужер, широкий рукав ниспадает до локтя, обнажая белый рукав сорочки:

– В соединенье сердец Натальи Михайловны и Кондратия Федоровича видится знак судьбы; в синодике побитым в битве под Кесию на государевой службе провозглашена вечная память детям боярским Олеше Рылееву и двум Тевяшевым – Никифору да Смирному, среди многих фамилий стоят они почти рядом. Двести пятьдесят лет назад их соединил синодик, ныне соединяет жизнь, пусть господь благословит их счастьем – и сердце мое, яко цевница, звяцати станет.

И опять – «Горько!»

А за столом уже разговоры грубовато-шутливые, вольно-приятельские:

– Девкой меньше, так бабой больше.

– Жаль девки, да не погубить бы парня.

Артамон подсматривает в дверь за свадьбой – собой доволен: всего на столе богато, у бар не будет для него подковыристых слов, чем закрома полны, тем и стол украшен; да и барыня Наталья Михайловна что лебедь белая.

Ася ревнует сестру к веселому празднику, торопит в желаниях свой. У нее жених хоть и не из столичных, но Кондратию Федоровичу ни в чем не уступит, разве только в учености; одно непоправимо – женитьба разлучит ее с сестрою.

Михайла Андреич подсаживается-придвигается к зятю:

– Я ведь чего супротивился: больно молод еще для семейственной жизни. Да ведь как наши деды говаривали: не кайся рано вставши да молод женившись...

19

Отход ко сну, выход к завтраку... За конно-артиллерийской нумер Двенадцатый ротой ушла не только его офи-

церская молодость – ушло общество сослуживцев, коему хоть сколько-то принадлежал он. Однажды за утренным молоком он вдруг понял, что существует сам по себе: расстался с одним кругом людей, в другой – не вошел, оттого, что пока не видел его. А семейный круг – это совсем иное, это он сам, его новые родственники – их пол-уезда. Заправским помещиком в халате и шлепанцах утрами он пьет парное молоко для здоровья, покрикивает на дворню и принимает за странность лишь то, что такая жизнь становится явью...

– С вечера девка, с полуночи молодка, по заре хозяйшка.

Он ожидал, что на следующий день после свадьбы Наташа выйдет к столу смущенной, стеснительной, но смущался и краснел больше сам. А гости пошучивали:

– Забыл, что женился, и пошел спать в солому.

Завтрак – многолюдный, шумный – шел своим чередом, гости пошучивали, новобрачные целовались под дружное «горько». В Наташе произошли немедленные перемены: в движениях появилась неспешность, во взгляде медлительность. Он подумал – его супруга будет важною дамой; домашность и основательность виделись за ее неспешностью; только в саду она еще по-девчоночьи оглядывалась перед тем, как поцеловать его.

Станным ему казалось новое ощущение: будто живет среди чужих. Он долго – все свои годы – жил среди людей, бывших действительно ему чужими, но этого ощущения не возникало. А теперь... Он разговаривал с братьями Наташи, с ее отцом и матерью, уже называвшими его сыном, жил в их доме, а все казалось чужим: семейный уклад, порядки в хозяйстве, разговоры. Раньше – со стороны – уклад был укладом, порядки – порядками... «Может быть, потому, – ду-

мал он, — что никогда хозяйством не занимался, разговоров о нем не вел, с крестьянами, кроме людей, данных матушкой в услуженье, не общался...».

Федька с Ефимкою заметили его состояние.

— Не обыкнешься, барин?

— Не обыкнушь, ребятаки.

— Колесо в колею попало, не скоро из нее выедет, — Федька явно повторял чьи-то слова.

И слова эти сразили Рылеева: будто отныне быть ему только супругом, только помещиком Острогжского уезда и никогда не стать, кем хотелось, не посвятить жизнь тому, что составляет для него смысл бытия... А Наташа?! Его жизнь теперь принадлежит и ей. Наташа стала его необходимостью, он жалел о годах, прожитых без нее, столько потерянных лет счастья! Но все-таки они, Ангел Херувимовна и прапорщик Рылеев, всегда существовали и сейчас существуют порознь, отдельно существуют его любовь и его тайный, еще не угаданный им жребий. Он всегда чувствовал тонкую стеклянную перегородку между собой и невестой, она сохранилась между мужем и женой.

Он прятал свою растерянность за стихами:

*С тобой мне, Делия, и домок твой убогий
Олимпом кажется, где обитают боги;
Скудельностью своей и скромной простотой
Он гонит от себя сует крылатых рой:
И я за миг один, с тобой в нем проведенный,
Не соглашусь взять сокровищ всей вселенной...*

Писал и радовался: как хорошо ложится чувство на бумагу, в строку. Перечитывал и понимал: нет, лукавит, стеклянная перегородка существует. Случалось, он видел: Наташа произносит слова, но он не слышал их...

В тевяшевском доме прибавилось народу: приехали в отпуск к родителям молодые, рослые Алексей да Иван,

офицеры, с хорошо поставленною в аракчеевском фрунте осанкой, с гневным неприятием аракчеевской муштры. Сидят за столом, вспоминают царского любимца недобрым словом.

– Нелюдим, бежит общества, да только неравнодушен к его мнению о себе, горазд утвердить в людях мысль, что он ясновидец, – говорит Алексей, по-тевьяшевски смуглый и кареглазый штабс-ротмистр. – Хотя все предвидения графа – оповещения его агентов, доносы доброхотов... Три солдата подпиливают сваи моста на его обычном пути из Грузина, но он едет другой дорогой и появляется в роте, объявляет о готовящемся на него покушении. Приказывает засечь злоумышленников до смерти. Но и роте не дает спуска: на одном из учений загоняет ее в реку и кричит: «Утоплю! Вы хотели меня убить, теперь молитесь прощения и кайтесь!»

В глазах гостей за столом при упоминании деяний графа появляется недобрый свет. Кондратию Федоровичу вдруг открывается мысль: Аракчеев не может не знать, что ненавидим всюю Россией. Но что ему Россия, его опора – престол...

А над вечерним Доном песня:

*Еще что кому до нас,
Когда праздничек у нас!
Завтра праздничек у нас –
Иванов день!..*

Песня далека от его раздумий. Мир по-прежнему живет без него и не им.

*Уж как я ли, молода,
В огороде не была...*

Ранним утром он с братьями Наташи уходит в степь, там они встают в ряд косцов – высокие рядки и широкие прокосы говорят о силе и молодости господ офицеров. От-

дыхают на свежескошенной траве, над ними, над мирной жизнью мирное солнце.

– Жесток, беспощаден. – Все-таки Аракчеев вошел в русскую жизнь основательно – не выходит из разговоров. Иван Тевяшев, тоже смуглая копия родителей, говорит о графе с презрительной усмешкой. – Но при сем тщится выглядеть благородным. При учении полка обнаруживает, что у одного солдата не холостой, но боевой заряд. Солдат признается, что хотел убить его, графа. «Дать ему полную отставку и отправить на почтовых домой, чтоб таких негодяев у нас в армии не было!» – повторяет графа Иван.

«Вот теперь мы родственны, – думает Рылеев. – Не только через Наташу...».

20

Острогожский уезд примыкает к Слободской Украине, не просто граничит – смыкается судьбами.

На Слободской Украине, рядом, исконно казачий город Чугуев копает по лесам ямы-ловушки для солдат Аракчеева, пускает с вершины холмов колеса на подступающие войска. Деревни окрест подписывают обязательный лист стоять заодно с чугуевцами.

Богу ведомо, людям только предполагать, но Александр Первый, вероятно, думал, что, вводя военные поселения, сотворяет великое благо для своих подданных: крестьяне навсегда избавляются от рекрутчины, становясь военными поселенцами, навсегда избавляются от крепостной зависимости. Он давно озаботился этой мыслью: создать в России новое, военно-земледельческое сословие – оно будет сочетать военную службу с занятием сельским хозяйством. Это уменьшит издержки на содержание армии, позволит создать резерв обученных войск (Какой резерв? Всю армию сделать поселенной!). И приблизит Россию к

современной Европе: там давно перешли на всеобщую воинскую повинность, чего в империи сделать нельзя из-за крепостного права.

В восемьсот десятом году на казенных землях с выселением десятков тысяч крестьянских семей в виде первоначальных опытов произведено поселение пехоты – на севере, конницы – на юге. После войны в поселениях оказалось до полумиллиона служивых, они составили Отдельный корпус военных поселений – военное государство под началом графа Аракчеева.

Освобожденные от крепостной зависимости крестьяне в государстве графа прикреплялись к земле более основательно, чем при помещике: им запрещалось уходить на заработки, заниматься торговлей, промыслами. Граф начертал: казенные крестьяне в округах военных поселений объявляются военными навсегда, их семьи живут по распорядку дня казармы, мальчики с семилетнего возраста зачисляются в военные школы для обучения солдатскому ремеслу; кроме работ по земледелию, поселенцам вменяется в обязанность чинить мосты, прокладывать дороги, осушать болота.

В поселениях дома расставлены на одинаковом расстоянии друг от друга, выкрашены в один цвет, люди просыпаются по барабанному бою, под барабанный бой идут на учение или в поле, по барабанному бою отходят ко сну. Крестьянку, зажегшую огонь в доме после десяти часов вечера, подвергают публичной порке.

Для большинства офицеров служба в поселениях оскорбительна: они ежедневно должны вмешиваться в семейную жизнь, записывать каждую курицу, считать каждое яйцо – потому один за другим подают в отставку. В отставку, ибо граф предусмотрел все, чтобы удержать их в своем государстве: переход в гражданское ведомство или в армию запрещен.

Один из адъютантов графа вспоминал и рассуждал впоследствии: «Что за польза, когда землепашец в глуши станет пахать, боронить, рубить дрова, копать огороды, колодцы, жечь угля не непременно в форменной фуражке и шинели с эполетами дивизии? Может быть, думают, что земля тогда больше даст плода, когда за сохою станет потеть несчастливый, лишенный не только свободы, спокойствия, но и национальной одежды, которая в моих глазах несравненно лучше этих шутовских кафтанов проклятого немецкого исчадия».

Военные поселения бунтовали – граф приводил против них кавалерию и артиллерию.

Осенью семнадцатого года крестьяне поселенных округов остановили под Москвой кортеж вдовствующей императрицы Марии Федоровны, просили о защите и милости.

Остановили кортеж великого князя Николая Павловича, едущего вместе с принцем Вильгельмом Прусским, целыми семействами падали на колени, молили о том же.

Государство Аракчеева пощады не ведало. В поселениях возвращались все, кто когда-либо жил в этих местах, возвращались силой воинской команды или силой приказа. «Всех торгующих, способных к службе, не имевших никогда пашни и волов, хотя бы кто из них и свой дом имел, тех, кто... занимался какими-либо мастерствами... записать в действующие», – предписывал приказ по военным поселениям Слободской Украины.

«Награда в Отечестве» – читали победоносные войска на тысячах триумфальных арок по всей Европе на долгом пути из Франции в Россию.

И Отечество наградило.

Чугуевским уланским полком в двенадцатом году командовал прославленный отменной храбростью генерал-майор Михаил Леонтьевич Булатов, отец Шули.

– Служить, так не картавить! – суворовец, повторял он язвительную шутку Суворова. – А картавить, так не служить!

Он форсированным маршем привел свой полк с Балкан на встречу с Наполеоном, бил его войска в Белоруссии и Польше, во Франции – под самой ее столицей. Полк у Тронной заставы отбил у неприятеля двадцать восемь пушек – это были первые трофеи Парижского сражения.

Осенью восемьсот семнадцатого года вышел приказ о присвоении Чугуевскому уланскому полку одинакового положения с военными поселениями.

Летом восемьсот девятнадцатого Чугуевский уланский поселенный полк, весь без изъятия, отказался выехать в степь на сенокос.

– Не хотим военных поселений! – кричали чугуевцы вместе с женами и детьми. – Не хотим!

Начальство окружило бунтовщиков войсками, потребовало выдать зачинщиков.

– Всех нас арестовывай! – кричали окруженные. – Всех забери!

Граф Аракчеев прискакал в Харьков на курьерских, немедленно погнал в Чугуев адъютанта с повелением: принять против восставших самые решительные меры! Сам прибыл через четыре дня. Решительные меры местного начальства его не удовлетворили.

– Я вам покажу, как следовало бы действовать!

В Чугуев со всего округа свозятся арестованные. И на их глазах, на глазах жителей разного пола и возраста пятьдесят два человека, выявленных как зачинщики, приговариваются к двенадцати тысячам ударов шпицрутенами. Их прогоняют сквозь строй.

– Соглашаетесь ли вы перейти на новое положение? – спрашивают у них, останавливая экзекуцию.

– Не можем! – отвечают они. И свист шпицрутенов продолжается.

Уязвленный граф пишет Его Величеству: «Но сие наказание не действовало на других арестованных, при оном бывших, хотя оно было строго и примерно...». Стеснительно добавляет: «Я не скрываю от Вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли».

Генерал от артиллерии граф Аракчеев – небывалый для военного человека девятнадцатого века случай! – не участвовал ни в одном сражении.

Слыл трусом.

21

В Воронеж, в родные места, возвращался окончить свой земной путь поэт с именем, говорившем о божьем даре и тяжелой участи иметь его на Руси.

Писателем прослыть весьма обыкновенно.

Стихи свои хвалой наполни гнусных дел,

Будь дерзок, подл и льстец – и слава твой удел,

– писал он, Михаил Васильевич Милонов, выпускник Московского университета с магистерским дипломом, чиновник последовательно двух министерств: внутренних дел и юстиции.

Сатира, в коей желчь и злоба лишь видна,

Без пользы для других, писателю вредна;

Исправишь ли порок насмешкою одною?

Мир наплывал на него извечной неосуществимостью благих намерений, он менял тон – не принимаемый на не понимаемый, названия своим творениям придумывал длиннее самих творений: «СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА ЗАКАЗ С ОПЛАТОЮ ЗА ОНЫЕ ДЕСЯТИ РУБЛЕЙ, НА КОТОРЫЕ БЫЛИ КУПЛЕНЫ ЛИМОН, САХАР И БУТЫЛКА КОНЬЯКУ, В НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ВЫПИТАЯ». Придумывал, писал, пошучивал над своей русской участью: «ПЛАЧ О НЕПОЛУЧЕНИИ ЖАЛОВАНИЯ...»

*Бесплодно дни мои считаю,
Надежды в будущем не зрю:
Два месяца не получаю,
Увы! вотще служу царю!*

*А ты, любезная отчизна,
Котору буду век любить,
На все в тебе дороговизна,
За гривну нечего купить...*

Бросивший службу, в нищенском обличье, предстал он пред Гнедичем, Николаем Ивановичем, помещиком соседствующей с его имением Слободской Украины, одноглазым ясновидцем, той же милости божьей поэтом. «Что ты делаешь из себя?! – начал увещевать Гнедич пьяного и растрепанного собрата. – Кто примет тебя такого?!» Милонов воззрился на небо: «Там, там найду я награду за все мои страдания» – «Посмотри на себя в зеркало, братец: пустят ли тебя туда?!»

Его туда пустить не могли: друг оборванца-пропойцы живописал:

*Как трезв, имеет лик румян и благозрачен,
Смеющиеся уста и гладкое чело;
А пьян – как яблоко моченое не смачен...
И словно как старик – увы! – он в двадцать лет.*

Двадцатидевятилетним он ехал умирать в Воронеж.

В недавно вышедшем сборнике его стихотворений было одно весьма необычное:

*Царя коварный льстец, вельможа напыщенный,
В сердечной глубине таящий злобы яд,
Не доблестьми души – пронырством вознесенный,
Ты мещешь на меня с презрением твой взгляд!
Почту ль внимание твое ко мне хвалою?
Унижуся ли тем, что унижен тобою?*

«К Рубеллию» – называлось оно с припискою «сатира Персиева».

Бесславный тем подлей, чем больше ищет славы!

*Что в том, что ты в честях, в кругу льстецов
лукавых,*

Вельможу на себя приемлешь гордый вид,

Когда он их самих украдкою смешишь?

В слободе Подгорное отставной подпоручик Рылеев, читая только что купленную книгу «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михайлы Милонова», вдруг услышал голос, на который отозвалась душа, услышал крик, рвущийся в настоящий день, в Слободскую Украину, где батальонами Аракчеева обкладывался Чугуев.

Россия, отворившая дали глазу, душе, тяжестью государственного устройства, государственных нравов, пригибала головы своих граждан к земле, утыкала взглядами в носки сапог господина – они всегда занесены, чтобы ступить в душу.

Россия стреляла по глазам, увидевшим и осознавшим ее дали.

Милоновская сатира выхватила отставного подпоручика из потемок бессловия – Слово донеслось-долетело до него из Слободской Украины вместе с криками и стонами законно умерщвляемых людей, строило собственную строку, но укладывалось в русло стихотворения Милонова. «Подражание Персией сатире «К Рубеллию» – выставил подзаголовок Кондратий Федорович (Римский сатирик Персей жил в первом веке нашей эры, у него шесть сатир, «К Рубеллию» у него нет. Рылеев не подражал ему – усовершенствовал Милонова).

*Надменный времениц, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,*

*Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!*

Нетерпеливая дрожь била его. Он выбегал из садовой беседки и опять вбегал в нее – не успевал записывать строки.

– Слушайте! – повелел братьям супруги в гостиной. Самому себе во вдохновении он казался громовержцем.

*Тогда вострепещи, о временицк надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Все, трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!*

«К временщику» – назвал он стихотворение, но воспринималось оно как «К Аракчееву».

«Рубеллий! Трепещи: есть Персий и сатира! – прокричал тирану Милонов в восемьсот десятом, «Тираны мира! Трепещите!», – советовал Пушкин в восемьсот семнадцатом, «Все, трепещи, тиран!», – обобщал Рылеев в восемьсот девятнадцатом.

Младший Тевяшев бросился переписывать его – возвратится с каникул и взорвет им Харьков.

Ах, как пела душа!

Вчетвером они прискакали к Бедреге.

– Я счастлив, что дожил до таких слов! – добавил тот в огонь масла. – Ведь гибнет все вокруг, рушится; главное – душа человеческая гибнет, развращается примером благоденствующей подлости, угодничества, низкопоклонства. Поднимается голос правды. Сколько можно жить во лжи человеку?!

Рылеев торопил отъезд: он вез в Петербург Слово.

Прошлым летом на берегу Дона стрелялись подполковник Сухозанет и прапорщик Миллер: господин командир роты был вызван Федей Маленьким за попытку перессорить между собой господ офицеров.

Секундантом Сухозанета был Косовский, секундантом Миллера – Кондратий Федорович.

Миллер стрелял первым – промахнулся, зато ответным выстрелом был равен в руку. (Рота полагала, что командир пощадил прапорщика: лучше Петра Онуфриевича в роте никто пистолетом не владел.)

Федя подал рапорт об отставке, Рылеев сделал то же: и вот он – вольная птица.

Наталья Михайловна стоит на крыльце, смотрит на предотъездную суету, обмирает сердцем: покидает родные места, не батюшку с матушкой, но детство оставляет, свое девичество; в новой жизни не видит она себе места, супругу своему не видит, оттого кажется ей – едут они на горе да на страдание...

Над их первой общей дорогой поднимается пыль, деревенские ласточки то взмывают ввысь над ними, то падают до самой земли, будто купаются в облаке пыли, поднятою подводами маленького их обоза. Ей представляется: ласточки прощаются с нею – самые красивые птицы, каких она знает. Вдоль дороги под блеклым небом стоят золотые суслоны на золотом жнивье, она для себя замечает: самую природой дано сочетание желтого цвета с синим; крестьянки в холстинных одеждах ходят по убранным полям, собирают колоски, в снопы заправляют их. Женщины белокуры и синеглазы – повторение неба и поля. Она выглядит вовсе нездешней – черноволосая, черноглазая, не мечтательная, скорее задумчивая. Задумчив и Кондратий Федорович, она видит его взгляд из-под широкого разлета бровей и считает – он тоже расстается с ласточками, тоже замечает, что сочетание желтого цвета с синим дано самую природой.

Острогжск они миновали проездом, и оказалось, что ни до какой станции им не добраться к ночи, придется заночевать в степи.

Федька с Ефимкой в счастливом возбуждении – наконец-то домой возвращаются! – нарубили в кустах лозы, заостренными концами повтыкали в землю, согнули, связав верхушки, накрыли травой – получился вместительный балаган для господского ночлега.

Но господа отходить ко сну не спешат: слушают протяжные песни дворовых людей, пошедших в приданое Наталье Михайловне, подбрасывают в костер сучья.

Уже и песни замолкли, певцы улеглись спать под телегами, а они все сидят.

– Мы как цыганский табор, – говорит Наташа. – Ты цыганский барон, я цыганская баронесса. Вокруг нас – лихие пляски, гитары, и далеко в степи за этим лесом к нам скачут наши друзья. Ты слышишь?!

– Слышу, – касается он лбом ее лба. – Слышу, но не знаю, похож ли я на цыгана, а ты – вылитая цыганская баронесса: и глазки твои черненькие, и бровки твои тоненькие, и ноздри чуткенькие... Ты не слышишь запаха далеких костров, дымом из степи не тянет?!

Она поводит носиком:

– Дымом из степи тянет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

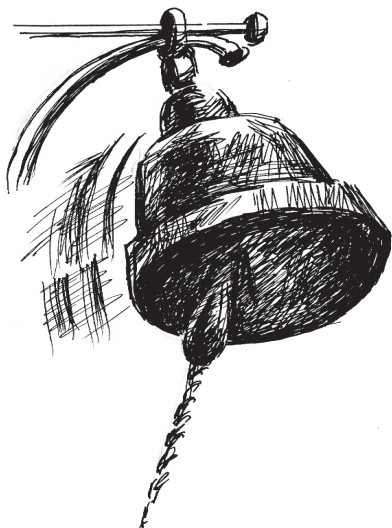
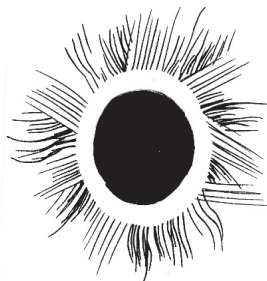
– Добро пожаловать, мои дорогие! – Анастасия Матвеевна сосупила с крылечка, а дальше ступать не может: ноги отказывают. И говорить не может – спазма перехватила горло. Кисти кашемировой шали, свешивающейся до колен, дрожат.

Сын вышел из коляски, подаст руку супруге.

– Пусть в материнском доме не будет вам горек хлеб, соль будет не той, что наши слезы питает, – собралась с силами произнести Анастасия Матвеевна.

Молодые кланяются ей в пояс, причащаются дара. Сердце матери не выдерживает – она прижимает к груди сыночка, единственного, ненаглядного, надежду и опору в старости, невестку притягивает, соединяет их вместе, будто говорит: вот вам мое родительское благословение.

– Дай рассмотреть тебя, доченька, – всматри-



вается в лицо. — Да какая же ты у меня красавица, ангел писаный! — Поворачивается к сыну: — Оба вы у меня красавцы да агнцы Божии, пусть ниспошлет он вам счастье.

Велит девкам в кокошниках ввести молодых в дом, сама уходит к подводам. Отправляет Федьку с Ефимкой в деревню, как то обещано было сыном, приступает к невесткиным людишкам из приданого: двум мужичкам да девке — ее Михайла Андреич слал в услуженье.

— Наталье Михайловне горничной со стороны не надо, своими, чай, Бог не обидел. Ступай на скотный двор, укажут тебе корову, сама доить будешь и сама приносить будешь по утрам молоко молодой барыне.

Осматривает подгорненских мужичков.

— Аль какая хвороба замучила, аль в пути притомились?

— Да справные мы, барыня. Обличьем не удались.

— А где ваши бабы, детки?

— Холостые мы оба. Батюшка Михайла Андреич не велели за нас отдавать ни баб, ни девок, пока с долгами не рассчитаемся.

— Правильно велел, — одобряет Анастасия Матвеевна. — Но у меня вы оженитесь на этой неделе. Да девок чтоб не рожать — мне нужны работники.

Мужички полоумно раскрывают рты, руки ползут вдоль тулова.

— Как прикажете, барыня...

Какой ни будь родительский дом, он родительский. Щемящим чувством объято сердце Кондратия Федоровича: то ли печаль о детстве, о невозвратимости его, то ли о не сбывшихся мечтаниях и надеждах. Скрипучие половицы, кладовки, чуланчики, комнаты-клетушки. «Бедная матушка! Коротает век в обделенности, в полунущете».

Наташа поворачивается к нему с умиротворенным лицом.

– Я теперь понимаю, почему ты такой домашний, добрый, – убирает прядку с его лба, прижимается щекой к груди, целует. – Тихий.

А он-то думал: забиякой, сорви-головой видится. Знать, суть и ее отражения не всегда одинаковы.

В их соединенном молчании появляется матушка.

– Еще раз с прибытием, детки. Извините, отвлеклась по хозяйству, кругом одна, – она говорит и понимается: теперь появился хозяин в доме, все будет иначе. – Спаленка для вас приготовлена. Отдохните с дороги – да за стол...

Это было их свадебное путешествие: от города к городу, от Воронежа к Туле и далее. Останавливались у родных да знакомых батюшки Михайла Андреича, матушки Матрены Михайловны; и были эти люди – те же Михайлы Андреичи и Матрены Михайловны: старомодные платья, обильные столы со множеством приглашенных, сонные дворовые, медлительные экономки. Ранняя отставка Кондратия Федоровича вызывала многозначительные переглядывания.

– Не желает молодежь ныне служить отечеству.

Он горячился при первых встречах, возражал, доказывал: они, молодые, всегда постоят за Россию, их отвращает фронт, прусский шаг, палки, фухтеля. Потом стал сдерживаться: его уверенья никому не нужны, никого не убедят ни в чем; их тревожат не офицерские отставки – сам дух несогласия.

– Как быстро все рушится: мы были едины в Двенадцатом, а ныне подойди к молодым – не сразу поймешь, о чем разговаривают, будто попал не в свое отечество.

– Что-то замышляется на Руси, к чему-то она готовится.

Молодой учитель гимназии подошел к нему в Туле,

заговорил с горечью: дисциплину в солдат вбивают палками, в студентов, чиновников – Богом. Не упомянешь о нем, рассказывая о треугольнике, – ты тать, взявшийся низринуть в пучину безверия человеческие души, опасный для общества человек. И ты стараешься: «Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви чрез ходатая Бога и человеков, соединившее горнее с дольным, небесное с земным...»

Уйти из армии можно, от родины не уйдешь. Он-то думал:, достаточно снять военный мундир – и свободной станет душа. Никто не будет вбивать в нее то, что ею не воспринимается... После разговора с учителем Наташа увидела странные изменения в лице супруга и испугалась.

Из-за поворота дороги Москва появилась золотым куполом Ивана Великого, потом золотыми маковками церквей над порыжелыми кронами деревьев, красными стенами Кремля. Сотворенная человеческими руками красота казалась красотой неземной, подхватывала душу и возносила к Богу. Наташа замороженными глазами смотрела на древний город и об одном жалела: матушка никогда не видела такой красоты, никогда не увидит и не поверит ей, когда она станет рассказывать о своем путешествии.

Богомольные родственницы водили ее по монастырям. Стояли с нею у всенощных – глаза Наташи туманились дымкою переживаний, поднимались к горним высям, лицо светлело. «Ангел Херувимовна!» – мысленно повторял Рылеев. Он сам дал ей это имя и не предполагал, каким оно будет точным.

Чем ближе к Санкт-Петербургу, тем явственней приметы осени: поля со снопами, составленными в суслоны, предотлетные стаи птиц, их прощальные клики – все говорило ее уму о некой законченности в природе, некой завершенности. Она неожиданно задалась вопросом:

– Почему Новый год начинается с января? Времена года идут по кругу. Где начало у круга? Почему не начать с сентября? Август же все уже подсчитал.

Он назвал ее гением, постигшим опыт веков. Новый год с сентября уже начинался, начинался он и с первого марта... Однако у римлян был Бог Янус, хозяин небесного свода – он открывал ворота солнцу в начале дня, закрывал в конце; они посвятили ему один месяц, по имени своего божества назвали январем и со временем забыли о солнечных его обязанностях – Янус стал Богом всякого вообще конца и начала. Первого января вступали на год в должность римские консулы, римляне дарили при этом друг другу подарки с надписью: «Года нового, счастливого, плодородного». Отсюда и наши подарки к Новому году.

Она опять чувствовала в супруге учителя, проникалась уважением к его знаниям и гордостью: такой у нее умный, такой красивый Кондратий Федорович.

Белый свет лежал перед ними, начинающаяся жизнь.

За два дня до прибытия в Батово отставному подпоручику Рылееву исполнилось двадцать четыре года.

Может, за всю свою историю Батово не знало такого торжества: у госпожи Рылеевой, подполковницы, сын приехал, а к приезду еще и день рождения, и свадебный юбилей – восемь месяцев как-никак.

За столом половина, ну может, четверть Софийского уезда.

Отпровозглашались тосты, запоздалое «горько» отвыкрикивалось – пошли разговоры о том о сем. Но тут во дворе случается суматоха – лают собаки, ржут лошади, кричат люди. И посвист разбойничий, гиканье удалое. Сияющий, врывается в зал ни кнута не бросивший, ни

шляпы не снявший, неожиданный-негаданный Федя Маленький:

– Кондратий, Бог мой! Все-таки он есть на небеси!

Непочтительный, пробирается меж столом и простенком к товарищу, задевает сапожищами стулья, лезет целоваться. Наташа ревниво отодвигается: не узнал ее недавний прапорщик. Но обида мгновенна – Наталья Михайловна узнала и подает руку для целования:

– Феденька, голубчик, как вы здесь оказались?

– У меня к вам такого вопроса нет, ибо рядом с вами Кондратий.

Осенние листья покачиваются на мелкой ряби холодного Оредежа. Хозяева Батова прогуливаются по берегу.

– Красивые вы у меня, да красота мало стоит.– Анастасии Матвеевне вспомнилось, как в давние годы шла она, молодая, вот так же обруч с молодым офицером и думала, что он принесет ей счастье... – Чин-то у тебя кот наплакал.

– Все, матушка, образуется.

В людской толпился народ, играли на балалайке – подгорненские мужички справляли свадьбу.

2

С детских лет он чувствовал себя человеком, призванным свершить в земном своем существовании больше, чем простой смертный; детские мечты не покинули сердца в отрочестве, заполнили собою юность, хотя и не стали определенной. Сомнений в исключительности собственного предназначения не было. Но и Шуля Булатов в корпусе тоже мнил себя избранным... Кадет Рылеев смущался совпадением исходных точек: значит, каждый думает так? Потом просветленно открыл для себя: каждая

жизнь своеобразна, каждая достойна уважения и каждая суть тайна Всевышнего!

Ныне он стоит у простых истин – чем жить, как жить, на что?! Деревня? С его именем управится экономка, а пока матушка, как управляла им, пусть так и управляет, властвует, и дай ей Бог многие лета: он не сведущ в земледелии, в будущем же не только от барщины, оброков думает освободить мужика, но и от крепости. Город? Он нисколько не знает статской жизни. В свои двадцать четыре еще не жил самостоятельной жизнью, ему платили за то, что он носил военный мундир, – за ношение сюртука в статской жизни платить не будут... Итак, он бежал военной службы, помышляет о службе статской, но где служба – там все равно фронт. Вне его, может быть, лишь литература, но что у него пока есть, так это «К временщику» – в нем он уверен.

Матушка видела муки сына, винила себя за дозволение жениться, подождать бы еще лет пять-десять, чтоб стать на ноги понадежнее. Но уж что свершилось, то свершилось, и думать надо, как помочь своему Кондратию Федоровичу, пока сама жива, пока живы те, кто помочь может.

– Здесь – Сенат, а там, за Невой, – мой корпус, – показывал Наташе город Кондратий Федорович. – Мой корпус, но в нем для меня все мертво, ни одного светлого воспоминания...

Сухопутный шляхетный утвержден Анной Иоанновной в семьсот тридцать втором году для поставления дворянских детей государевой службе. Дабы с нежного возраста иметь им вкус к ореховым гостиним, к бронзе и мрамору, коврам и картинам, разместила оный во дворце светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова – любимца своего дяди Петра Великого.

Дворец смотрел с Васильевского острова через Неву

на Петровскую площадь, на Медного всадника, будто приветствующего его поднятою рукой.

Не под бронзовой, под живую дланью царя Петра произрастал, поднимался он в синеву неба, ловил окнами утренние лучи и отсылал их в окна дворца Его Величества: князь от души делился господним даром со своим государем – верный слуга и друг. Пирожник и сын пирожника, он – богатейший после Его Величества человек, наделен всеми титулам, существующими в империи. «Человек не ученой, ниже писать что мог, кроме своё токмо имя выучил подписывать», он – первый русский, избранный иностранным ученым обществом в свои сочлены: «Могущественнейшему и достопочтеннейшему владыке Александру Меншикову, Римской и Российской империи князю, властителю Ораниенбурга, первому в советах царского величества, маршалу, управителю покоренных областей, кавалеру ордена Слона и высшего ордена Черного орла и пр. Исаак Ньютон шлет привет...»

Таков дворец Первого кадетского корпуса и таков первый его хозяин.

Все тленно в сем мире, преходяще, переменчиво.

– Будет вам плакаться, Кондратий Федорович. Поглядите, даже Петр Великий приветствует нас с вами поднятием длани, – Наташа улыбнулась, заблестела глазами: – Удостоились царского благословения?

– Сподобились. Да только царская воля темна, не разглядишь, на что благословляет... Но посмотри сюда, – показал он на Петропавловскую крепость, – какая гордая красота, как она сливается серым гранитом с серой плоскостью воды!

Наташа стояла, зачарованная городом и закатом.

В доме у Миллеров добела выскоблены полы, до блеска навощены, широкие окна промыты до глубины, смотрят в мир широко и приветливо. Комнатки светлы, уютны,

с запахом трав и леса. Матушка Феди Маленького молодая, полна, с русскими голубыми глазами; не знает, куда усадить гостью, чем попотчевать.

– Клубнички попробуйте, Наталья Михайловна, медку отведайте.

Федя нагрянул в Батово – скорей, скорей! – заторопил молодых Рылеевых, без разговоров увез в Рождествено. Шутил: потомки царей здесь жили, теперь я, правда, дом цесаревича Алексея Петровича занят генералом Ефремовым, но мы рядом, двор ко двору, только парком разделены – будем гулять в нем и считать его нашим.

– Чем, интересно, заняты сейчас господа офицеры конно-артиллерийской нумер Двенадцатый роты? – озабочился за столом Федя.

– Фрунтом! – ответил Кондратий Федорович и засмеялся. – Я зкзерцирую... Я выэкзерцирую...

Стали представлять в лицах, как Сливицкий, когда с плаца уходит Сухозанет, петухом раздувает грудь, на негнущихся, подволакивающих ногах оставляет строй, попетушину поворачивает голову слева направо, справа налево: «Ко-ко-ко. Ко-ко-ко!». Представляли, как вместе со всеми смеется Косовский, а после бежит для тайных бесед с полковником – осуждает мальчишество господ офицеров, в посмешище превращающих свое поприще, и намекает: надо поощрять усердие в службе, глумление строго наказывать.

– А Гардовский шлет письма в Харьков сестрам Косовского, каждой в отдельности – не знает, на какой остановить выбор.

– А Унгерн ищет Штернберга по хатам великого града Рыльска.

– У Буксгевдена уже два сына: Беата принесла двойню. Папаша Феди развлекает Наташу:

– Мой сын о вас много рассказывал. Он, кажется, в вас немножко влюблен.

Петр Иванович – уездный исправник, Наташа привыкла чтить эту должность; у них в уезде ее справляет хороший человек Владимир Иванович Станкевич – светлая голова и доброе сердце.

– Вы появились, почитай, в столице, здесь многие станут объясняться вам в любви, – продолжает Петр Иванович. – Но говорит один французский писатель: «Природа сказала женщине: будь прекрасна, если можешь, мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть обязательно».

– О чем вы говорите Наталье Михайловне, – вступилась матушка Феди. – Она же еще девочка!

– Тем не менее, тем не менее...

Надвигалась зима, дышала холодной сыростью – Наташа зябла. Она не вошла в дом, не почувствовала своим – тосковала по родным местам, отцу, матери, братьям. Анастасия Матвеевна видела ее состояние, переживала – нечем отвлечь, порадовать невестку: бедность сквозит из всех углов... А может, не бедность виновата, но Коня? Однако не похоже. Видела: то поцеловать норовит свою Ангел Херувимовну, то шепчет что-то на ухо – та смущается и розовеет. И то приметно – разборчивой в еде стала, просит соленья: то селедочки беломорской дашь ей, то сосиски со стола Петра Михайловича, дорогого, неоплатного в своих благодеяниях родственника генерала Милютина. Но зима надвигается, в Батово не перезимуешь, не то чтобы дров не припасено или провианту, но заметет по крышу домишко, занесет тропинки – и почувствуешь себя погребенной под снегом... А тут еще Аннушка – как родилась незаконно, так словно бы незаконно жизнью пользуется, хоть и пристроена, да скоро в свет выпустят...

Рассуждала и приходила к мысли: не уехать ли невестке к батюшке с матушкой. Пусть Коня поступит в службу, обдворится, в Батово не жизнь, а у Петра Михайловича своих ртов предостаточно. Мягкосерд, добродетелен генерал, помогает всякому, распродал именья, гляди, сам нищим станет, в долги войдет, да и со здоровьем маета – болезнь за болезнью.

Наташа сама засобиалась домой.

– Мне все равно надо скоро к маме.

3

Правительствующий Сенат вместо Боярской Думы учрежден Петром Первым в составе девяти сенаторов, ответственных лишь перед ним. Сенат в его отсутствие мог издавать указы, отменять старые, даже если они изданы самим императором. Он вершил дела губерний, судов, коллегий. Екатерина Вторая образовала в Сенате шесть департаментов, но в губернии назначила генерал-губернаторов, непосредственно подчиненных ей. Александр Первый в восемьсот десятом создал Государственный совет, коему подчинил Сенат, превратив его в высшую судебную инстанцию.

Вошедший в его стены с делом Тевяшевых Кондратий Федорович пустился в долгий путь. За первой дверью, открытой им, сидело человек восемь. «Добрый день! – сказал он и подошел к первому столу. – Скажите, пожалуйста, где...». Сидевший за столом человек, не дослушав, не подняв головы, указал пером чрез плечо в глубь кабинета и продолжил писание. Он подошел ко второму столу: «Скажите, пожалуйста...» – Перо чрез плечо указало дальше. Тут в проходе между столами возник высокий сухой человек с блестящим черепом, с блестящими дужками круглых очков над прямым носом, посмотрел на просителя не поверх, но пониз очков, выслушал просьбу. «Э-э-э, молодой человек, это не к нам. Ваше дело все в отдалении – во

временном и пространственном. Из-за сих отдаленностей не сразу найдешься, что подсказать. Ищите сами».

В Петербурге ветрено, сыро. Ни одного знакомого лица.

В Гостином дворе он зашел в книжную лавку – уютную, тихую. Швейцар принял шубу, раскланявшийся приказчик поставил на стол квас-пенник в деревянном жбанчике, деревянную тарелку с ржаными пирогами и луком. Он просмотрел газеты – они были свежими. Как во всех свежих газетах, в них почти ничему нельзя было верить, кроме непреложных фактов. Непреложный факт был в строке: «...прибыл полковник барон фон Шепинг, переведенный в Главное Артиллерийское Управление».

...В Острогожском артиллерийском магазейне фон Шепинг затряс ресницами единственного глаза:

– Кондратий Федорович! Какими судьбами? Все еще прапорщик?! Юный чин молодит, но в ваши лета хотя бы в капитанах, ну поручиках!

Шепинг прибыл в Острогожск из Воронежа – инспектировать здешний магазейн. Война давно отошла в былое, а он все не в Питере: такое время пришло – наверху стало тесно и среди немцев. Осквернилось все – уединоображивается Россия.

Черная повязка на голове полковника скрывает след дрезденского происшествия. «Черная повязка, может быть, вообще необходимая вещь для истории, – думает прапорщик, – пусть Россия предстает пред глазами потомков беспорочной, не захватанной кровавыми, загребущими ли руками, пусть они молятся на ее прошлое».

– Господин полковник, у меня дела к капитану Шлему.

Сказал он и протянул бумаги начальнику артиллерийского магазейна – лысому, рыжему, в золотых очках, маленького роста.

– Господин капитан, не задерживай прапорщика – он мой дрезденский друг, – посодействовал Иван Иванович.

«Невероятно: Воронеж и Шепинг, – думалось Рылеву. – Такие люди – неприкосновенный запас правительства. Неужели что-то меняется в воззрениях высших кругов? Тогда мысль о черной повязке безнравственна».

Батарейные фуры загружались имуществом: бумага превращалась в хомуты, чересседельники, колеса, картель и ядра...

На обратном пути, на шестидесяти-то пяти верстах, он вдруг не досчитался двух фур с провиантом. Они в обозе появились только наутро – пустые.

Ездовые-бомбардиры, прошедшие с ним по чужим землям, прятали хмурые глаза: выполняли приказ полковника Шепинга. Платой за стыд их в каждом кармане позвякивали медяки. В карманах флигель-адъютанта Его Императорского Величества – червонцы.

Не скоро, но Иван Иванович оказался там, куда давно рвался.

От книжной полки за Кондратием Федоровичем следил невысокого роста человек с открытым лицом: широкий рот, полные губы, безмятежно вскинута брови, спутаны волосы надо лбом. Смотрел-смотрел и подошел:

– Добрый вечер. Вы впервые в лавке, но я не боюсь ошибиться: вы поэт.

– Отставной подпоручик Рылеев. Я здесь действительно впервые.

– Измайлов, Александр Ефимович. Издатель. Не столь большая величина... Так вы стихи пишете?

– Да так, кое-что.

Измайлов разговорчив, доброжелателен, мысли высказывает не ахти какой сложности, но видать – хитрован.

– Я дворянин самый что ни есть малодушный – у моего отца семь крепостных.

Он окончил Горный кадетский корпус, служит в экспедиции по государственным доходам, издает журнал «Благонамеренный».

«Вот это удача! – думает Кондратий Федорович. – Через Измайлова прямой путь к столичным писателям».

Но Александр Ефимович оказывается еще и основателем Общества любителей словесности, наук и художеств, именуемого также Измайловским.

– Я сейчас пишу только басни, в них естествен простой язык. Дело же в том, что этот язык не забыт и высшим светом. Так что я поэт не только низшего сословия.

– Вас можно послушать?

Измайлов не дал себя уговаривать, откинул голову, закрыл глаза и сказал: «Лестница».

*Стояла лестница однажды у стены.
Хотя ступени все между собой равны,
Но верхняя ступень пред нижними гордилась.
Шел мимо человек, на лестницу взглянул,
Схватил ее, перевернул –
И верхняя ступень внизу уж очутилась...*

– Вот так, – сказал, окончив чтение. И открыл глаза. Измайлов в баснях известен не менее Крылова.

«Надо показать ему «К временщику», – подумал Рылеев. Но его опередили – к столику подошел приказчик с тетрадью и пером.

– Оставьте, пожалуйста, автограф!

– Давай, давай, голубчик! – Измайлов шутки ради поставил сначала крестик, потом размахнулся росписью на полстраницы.

– Такова моя третьестепенная слава, – сказал Рылееву.

Он свой журнал издавал под девизом: «Делай, что можешь, а не то, что хочешь». За нерегулярность его извинялся перед читателями:

*Как русский человек на празднике гулял,
Забыл жену, детей, не только что журнал.*

Службы не находилось, жить было негде. В Батове утомляла тишина. Квартира на Васильевском острове, в доме генерала Милютина, угнетала двусмысленностью положения: еще в шестнадцатом, в первый приезд его сюда, Екатерина Ивановна, ветреная супруга генерала, будто показывая комнаты, увела его в спальню, закрыла двери на ключ – зашуршала шелком снимаемого платья, защелкала крючками застёжек, придыхающим смешком сопровождала его растерянность, неумелость, а после оправдывалась или поощряла к продолжению встреч сообщением, что у Петра Михайловича пять внебрачных детей. И убедила: он даже перестал стесняться своей связи с нею, писал ей в альбом:

*...Кудри волнами, небрежно,
Из глаз черных быстрый взор,
Колебание груди снежной
И всех прелестей собор.*

Он воспроизводил сейчас в памяти эти строки, ужасался их безграмотности. «Из глаз черных быстрый взор!» Надо уметь так сказать?.. Отчаянная смелость Екатерины Ивановны делала его безвольным. Этой осенью появились они с матушкой в квартире на Васильевском острове – хозяйка распорядилась накрыть стол, а его попросила зайти к ней, встретила в халате, под которым ничего не было.

– Мы так много времени зря с тобой потратили...

Он сидел за столом, не поднимая глаз – она весело болтала, за те несколько минут преобразившись в молодую красавицу, узкое лицо обрело девичью припухлость, быстрые глаза светились мягким светом, высокая грудь за-

манивала взгляд белоснежной невинностью... Он дал себе слово больше не бывать в этом доме.

Измайлов несколько раз приглашал к себе.

— В кабаках без денег дневать скучно, в торговых банях ночевать душно. — Александр Ефимович присказок знал неисчислимое множество. Рылееву даже подумалось: он никогда не станет писателем, у него ничего нет из того, чем владеет Измайлов. Тот пользовался своим богатством при всяком случае: — С женой будь внимателен, начиная ее знаниями, скорее станет столичной дамой. — Хитренько подмигивал: — Баба, что мешок: что положишь, все несет.

К собратьям по перу Александр Ефимович относился с легкой иронией, вышучивал их творения, при случае переставлял строки, получавшие при этом дурной оттенок, но критики открытой не учинял: надо было поддерживать репутацию своего журнала, оправдывать его название — «Благонамеренный».

4

Квас-пенник, ржаные пироги с луком, беседы за полночь. Писатели Петербурга навещают книжную лавку, может быть, не столь часто, но всякий день в ней кто-то из них есть: Кондратий Федорович познакомился здесь со многими. Подсаживался с разговорами и сам хозяин книготорговец Слёнин, Иван Васильевич: добропорядочный, осторожный, внимательный.

Измайлов взял для «Благонамеренного» несколько мелких стихотворений, издатели «Невского зрителя» взяли «К временщику», дав клятву во что бы то ни стало напечатать. Кондратий Федорович почувствовал себя входящим в пределы, в которых он наконец скажет Слово.

Язвительный Измайлов обходил острословием лишь троих: Пушкина, Кюхельбекера, Дельвига.

– Эти три лицеиста ниспосланны нам свыше, у них великое будущее – свежий взгляд на поэзию, на жизнь, – и прибеднялся, – а мы что? Наешься луку, ступай в баню, натришь хреном да запей квасом.

О Пушкине говорил, понижая голос: по его предчувствиям – это поэт, каких на Руси не бывало.

Они вошли в лавку втроем: Пушкин – свеж и улыбчив; Кюхельбекер – высок, сутул, глаза немедленно вскинулись к книжным полкам; Дельвиг – нетороплив, тучен, безразличен.

Измайлов встал навстречу, заулыбался, подал всем руку, представил Рылеева. И они назвали. Взгляд Пушкина был живым, заинтересованным, Дельвига – безразличным, с вялой улыбкой, Кюхельбекер взглянул свысока.

– Кондратий Федорович, – произнес Пушкин не то с оттенком иронии, не то вслушиваясь в звучанье непривычного имени. – Поэт? Спрашиваю не потому, что вы в книжной лавке и в обществе издателя, но потому, что ныне поэтом мнит себя каждый.

– Если не поэтом, то политиком, – в тон другу проговорил Кюхельбекер. Его лицо и губы в речи ломались: – Сразу пускаются в рассуждения о ней даже с хожалым.

– Речью владеют все, ум достался немногим, – произнес невозмутимый Дельвиг.

– Никак, господа, вы сразу в атаку? – дружелюбно осведомился Измайлов. – Не переводя дыхания?!

– Я – офицер, Александр Ефимович, меня на испуг не взять.

Слава, витавшая над головами троих, но более над курчавой пушкинской, смутила в минуту знакомства Рылеева, но задиристый тон их вернул ему равновесие, он ощутил в себе холодок готовый к отпору собранности.

– Каким видом оружия владеете? – любопытство-

вал Кюхельбекер, деловито, обыденно: за его спиной – дуэли, дуэли... И впереди столько же.

– Всеми. Даже пушкой.

– Пушка принимается! – развеселился Александр Сергеевич. – Не по воробьям!

– Тщеславие – скорее признак ничтожества, нежели величия! – холодел глазами Рылеев. Он наслышан обо всех троих. Дельвиг – остзеец-москвич необыкновенного ума и памяти, стихи пишет набело, без помарок; Кюхельбекер, как и Пушкин, служит в архиве министерства иностранных дел, непостижим в способности быть день и ночь в работе, преподает латинский и русский языки в пансионате, однако жизни вне поэзии не представляет. «Я ничто для них, вышедших из изящного Лицея?! В кадетском корпусе преподают только презрение к розгам?!» – Тщеславие признак ничтожества, – повторил он. Но что-то его остановило: – Мысль вынесена из среды офицеров, статских, может быть, она не касается.

Все равно это было слишком. Друзья переглянулись.

– Вы осторожнее с языком, он у вас неучтив!

Рылеев насупился, наклонил голову, тяжеловатый подбородок выдвинулся вперед. Измайлов взглянул на него, повернулся к друзьям, убеждая в чем-то, попеременно брал за руки того и другого, Кондратий Федорович слов не слышал, только видел, что они раскланялись и ушли.

– Молодые, задиристые, ёры–забияки, что с них возьмешь. А на язык остры. И поиграть словом любят, – разрешал неприятность Александр Ефимович. – Пушкину двадцать один скоро стукнет, Дельвигу – двадцать два, Кюхельбекеру – двадцать три.

– Мне двадцать четыре. И я не намерен спускать кому бы то ни было ни тона, ни скользких слов!

Измайлов не то чтобы обескуражен – всего насмот-

релся в свете! – но недоволен встречей, собою: не смог людей сблизить, коса на камень! Они все равно встретятся душами или взглядами, но надо бы, чтоб не чрез дуэли, распри, а сразу и навсегда. Он сам относился к троице с некоторым предубеждением, считая, что исходит оно от зависти, но не к таланту – таланту нелепо завидовать! – к тому, как ладно складываются у них судьбы.

– Все уладится, образуется, – говорил он Рылееву. – Охолонете да повернетесь друг к другу.

Не уладилось, не образовалось: при новой встрече в той же лавке Оленина – новая перестрелка:

– Кондратий Федорович, вы в Петербурге, а канонады не слышно?!

– Господа! Канонада слышна, но она началась на Западе, – уводил разговор на серьезное Рылеев. – Может быть, слух ваш на нее не настроен?

Кюхельбекер пытался уместиться за низким столиком, ему не удавалось – не помещались ноги, но он не испытывал неудобства – готовился к выпадку:

– Вы политик действительно, как мы и предполагали. О чем же вам говорит сия канонада?

– О том, что на Западе люди заняты делом – не подпусканьем шпилек друг другу.

Пушкин смеялся: отставной подпоручик самоуверен, далек от петербургской жизни, а их три имени в ней кое-что уже значат. Подпоручик наивен, прост – рассуждает об иностранных делах, не будучи к ним причастным, они же прямо приставлены к ним.

– Bravo, bravo! Подзадоривайте Вильгельма Карловича, он у нас нравочений не терпит.

Рылеев принимает слова Пушкина за поддержку, бросается в рассуждения: троны государей по всей Европе качаются, она подает пример миру; вы из Лицея – но мудр

не тот, кто богат знаниями, а тот, у кого они полезны; вы из министерства иностранных дел, но кажется из уезда – с той же болтовней, что и там.

– Не столь громко, Кондратий Федорович, – произносит Пушкин с погасшей улыбкой, – мы из министерства, но не министры...

Дельвиг поднимает медленный взгляд, ленивой улыбкой иронизируя над прописными истинами, неосторожностью выражений недавнего офицера. Закипающий Кюхельбекер поднимается с кресел, вращая глазами, с усилием образуя слово из звуков, застревающих в горле или в судорожно двигающемся вверх-вниз кадыке:

– Неслыханно. Вы не на большой дороге...

– Я-то, может быть, на большой, на какой – вы?! Можете писать оды, называть их «Вольность», как угодно, но все они восхваление Лицея и ваших дружеских связей. Однако чем больше говорят люди о своих достоинствах, тем меньше в них верится...

Они стояли напротив все трое; Пушкин, побелев, выговорил:

– Где прикажете ждать?!

Это время осени девятнадцатого и зимы двадцатого он сравнивал с первыми днями своего пребывания в конно-артиллерийской роте, все офицеры ее представлялись ему тогда одним существом со многими головами, в общении с этим целым не было непонимания, оно начинало возникать при общении с каждым в отдельности... Теперь такое же для него существо – Петербург. Не повторится ли конно-артиллерийская рота: кто-то прислушается, кто-то признает, кто-то отвергнет, но как только он произнесет Слово – будет отвергнут всеми... Прислушивается Измайлов, отвергают Пушкин, Кюхельбекер, Дельвиг, кто признает?!

Любопытно: Греч и Гнедич тоже были для него одно

время неразличимы, из этих фамилий у него в восприятии получалась какая-то одна; а тут оказалось, что оба они еще и Николай Ивановичи... Греч был ему знаком меньше, Гнедич – больше. В театре идет вольтеровский «Танкред», переведенный им. Николай Иванович пригласил его на спектакль – он сидел, спеша надышаться летящими в зал со сцены словами: сыны отечества, народ, свобода. Они были одного ряда с его Словом.

Измайлов отговорил дуэль.

Службы в Петербурге не находилось.

В феврале восемьсот двадцатого отставной подпоручик вернулся в Острогожский уезд, в Подгорное.

5

Лейтенант российского императорского флота Владимир Павлович Романов во время стоянки шлюпа Российско-Американской компании в Бразилии был представлен в Сан-Паулу королю Португалии Жуану Шестому – его величество желал слышать последние новости из Европы от каждого свежего человека. Двор и король бежали из Португалии от войск Наполеона более десяти лет назад и здесь подзадержались, полагая, что отъезд их может отторгнуть Бразилию от исконной колыбели монархии – поднимались восстание за восстанием, бунт за бунтом с требованием независимости. Церемонию представления августейшей особе со стоянием на коленях лейтенант счел унижительной, о чем умолчал, но спросил российского генерального консула о другом:

– Что за трон со львиными пастьями у его величества, прямо в лицо тебе дышат?

Консул иронически улыбнулся.

– Король не только дряхл, но и глух, в прошлом году изобрели для него слуховой аппарат: пасти львов – это ру-

поры, звук по ним идет через полые подлокотники трона к резиновым трубкам, вставляемым его величеством в уши, – консул оперся на трость и рассмеялся. – Весть о восстании в Португалии он слышал без резиновых трубок, на балу, повелел двору собираться в Европу. Вы видели в порту эскадру – она готова к выходу в океан.

В Испании восстал батальон под командованием Ригеи; восстание разрослось в революцию. Перепуганный король восстанавливает конституцию, объявляет созыв кортесов, а в манифесте, сообщаемом об этом народу, восклицает: «Испанцы! Так будем же следовать далее по конституционному пути во главе со мной!»

Испания. Португалия... За ними последовали государства Италии.

Вести из Европы будоражили Россию.

Тайный агент доносит: «...С удивлением заметил я, что в Петербурге все занимаются политикою, говорят чрезвычайно смело, рассуждают о Конституции, о образе правления, свойственном для России, о особах царской фамилии и т.п. Этого прежде вовсе не бывало, когда я оставлял Россию в 1809 году. Откуда взялось это, что молодые люди, которые прежде не помышляли о политике, вдруг сделались демагогами? Я видел ясно, что посещение Франции Русскою Армиею и прокламации союзных противу Франции держав, исполненные обещаниями возвратить народам свободу, дать конституцию, произвели сей переворот в умах».

В Союзе Благоденствия росло нетерпение, двадцатилетний срок, определенный для свершения задуманного, казался слишком долгим. Конституционная монархия стала представляться вчерашним днем. Николай Тургенев писал в дневнике: «Мы теряемся в мечтаниях, в фразах. Действуй, действуй по возможности! – и тогда только по-

лучишь право говорить... Словам верить нельзя и не должно, должно верить делам». В январе двадцатого в Петербурге на заседании Коренной управы выступил Пестель: конституционная монархия – то правление, когда права народа не обеспечены, ибо монарх в любой момент может внести изменения в конституцию; права, свободу и счастье народ получит лишь при установлении республики. Итак, Монарх или Президент? «Николай Тургенев восклицанием: «Президент без дальних толков!» – выражает общее согласие с мнением Пестеля в пользу республики.

Отпущенные в деревню Ефимка с Федькой нет-нет да появляются на господской конюшне. Не то чтобы нагладелись белого свету, ума-разума набрались, а непривычны стали к мужицкой жизни, да и Настасья Матвеевна подгорненских мужиков оженила, а им и намека не кажет – приходят припасть душою к тому, что сызмальства ведомо. Нынче еще и горе у барского конюха – схоронил бабу.

– Беда-то бедой, да всяк в ней разный; смотришь, иной рожей сокол, а умом тетерев, – делает далекий заход Ефимка. – Веточка под ним прогнется, а он думает, все дерево.

Им перво-наперво удержать бедолагу от глупостей да туги-тоски.

– Раньше смерти не помирай, – вторит Ефимке Федька.

У конюха бородой глаза и рот заросли, а видно, что человек светлее становится.

Настасья Матвеевна походя подслушала разговор, сказали мужики «смерть» – у нее заныло сердце. «Чур! Чур! Чур!» – перекрестилась, чтоб отогнать нечистую силу. Когда ходила она тяжелая Коней, явился во сне ей Господь Бог, говоря; дам жизнь твоему дитяти, но недолгую, и в конце ее он получит смерть мученичес-

кую, позорную. Согласна ли ты, женщина, иметь его?! Она заждалась детей: рожала – и хоронила, рожала – и хоронила, не приживались они на земле. Душа начинала скудеть в истоме. Услышала слово Божье – и дала согласие...

А на конюшне уже разговор олонецкий. Песня древней земли напоминает мужичкам об Америке, думы о ней будто всегда при их. «Сотворю себе плот, – думает один преподобный старец, – куда его дух господен вынесет, там и стану служить Христу». Подумал и взошел на плот. И емя его тишина. И несет на Выгу-реку»

Перед самым маем Измайлов присылает в Подгорное два мартовских номера «Благонамеренного», а там стихи – его стихи, Кондратия Федоровича Рылеева! Он смотрит, как они лежат, отпечатанные, на странице, наслаждается запахом типографской краски, чувствует себя на седьмом небе. Стихи читаются как не свои. И как не в своих он видит, что его в них нет... Есть то, что может обрадовать домашних, Наташу:

*С тобой мне, Деля, и домик мой убогий
Олимпом кажется, где обитают боги;
Скудельностью своей и скромной простотой
Он гонит от себя сует крылатых рой...*

Кому он нужен такой в мире, где наполовину вынуты из ножен клинки? Нужен «К временщику»!

Наташа читала и сияла ему глазами по-над журналом.

Двадцать третьего мая у них родилась дочь. Ее называли Анастасией. И стало их три в близком родстве: Анастасия Матвеевна, Анастасия Михайловна, Анастасия Кондратьевна.

Ему грозила ссылка в Сибирь или на Соловецкие острова. Он был в отчаянии, Пушкин. Чернили честь сплетни, будто его за крамолу высекли в полиции, как мальчишку. В его отсутствии дома был человек, дававший пятьдесят рублей дядьке, чтоб просмотреть бумаги барина; он не находил выхода. Намерение императора проучить поэта встревожило Союз Благоденствия – это могло стать началом разоблачения их общества, преследования грозили обрушиться на многих. Полковник Глинка объединил вокруг себя всех способных помочь содействием – от литераторов до вельмож. И кара была смягчена: шестого мая восемьсот двадцатого года Пушкин выехал из Петербурга на юг не как изгнанник, но как переведенный на службу к генералу Инзову. Барон Дельвиг проводил Александра Сергеевича до Царского Села. В защиту друга в собрании Вольного общества любителей словесности Кюхельбекером читаны стихи:

*И ты – наш новый Корифей, –
 Певец любви, певец Руслана!
 Что для тебя шипенье змей,
 Что крик и Филина и Врана?
 Лети и вырвись из тумана...*

На Вильгельма Карловича в тот же день в министерство внутренних дел поступил донос.

Семеновский – потешный полк Петра Великого, старейший в гвардии, от баталий Северной войны до баталий Отечественной – его путь; это его офицеры мартовской ночью восемьсот первого возвели на престол нынешнего императора.

Уединоображивающему глазу Аракчеева полк претил – особо беспокоил нижний чин: говорит с высшими, не от-

водя глаз, будто человек разговаривает с человеком! Да откуда и взяться другому взгляду, коль офицеры-семеновцы обучают его грамоте, других поощряют к чтению? Мундир у семеновца без складочки, пылиночки, амуниция без изъяна, оружие безупречно. Глядит на тебя и знает себе цену. А знать ему не положено.

В восемнадцатом году нижним чинам запрещено появляться в питейных заведениях, за вином от них отряжаются посыльные с особым билетом от ротного, вино закупают ведрами, семеновцы же берут его куфами – чанами мерою в тридцать кварт – и продают в ротах, у них получается прибыль, которая тратится на улучшение пищи, идет на пополнение артельной казны: семеновцам есть с чего иметь вид, отличный от солдат других полков... В девятнадцатом году их командир генерал Потемкин назначен начальником гвардейской дивизии с одновременным исполнением прежней должности, от коей он вскорости просил его уволить: из-за ослабленного руководства полк начинал приходить в расстройство. Просьбу Потемкина удовлетворили. Великий князь Михаил Павлович, знаток фрунта, вкупе с Аракчеевым предложили поставить на полк полковника Шварца. Великий князь встретил его в Калуге, чудесного фрунтовику – перевел в столицу, где Шварц какое-то время командовал Екатеринославским лейб-гренадерским полком – и вот теперь Семеновский.

Из-за ничтожности, невнятности ли мысли полковник излагал ее трудно, больше руками; его приказы противоречили один другому, отменялись старые, придумывались новые, заменялись другими и наконец говорилось: пусть будет так, как было до него. «Я не достоин командовать Семеновским полком, – заявлял он, – полк отличный, мне нечего исправлять в нем». Между тем выводил офицеров из строя, говорил солдатам: «Сии господа не имеют права

командовать вами!» За майский парад бранил полк, а великий князь Михаил Павлович издал приказ: «Приятнейшим долгом поставляю себе объявить совершенную мою признательность командирам полков вверенной мне бригады, а также всем батальонным и ротным командирам за устройство, чистоту и примерную плавность и тишину во фрунте при прохождении церемониальным маршем во время бывшего парада; я уверен, что с такими помощниками и при таком усердии и ревности полки сии и впредь обратят на себя благосклонное внимание все милостивейшего государя нашего, а тем более усугубят еще мою к ним признательность».

Шварц начал с того, что две недели экзерцировал солдата, назначенного ординарцем к великому князю – до тех пор, пока у него перестала расплескиваться вода в стакане на кивере при движении церемониальным шагом и бегом. Полковник характер имел тревожный, неистовый, недовольно настойчивый. Собственноручно бил солдат, вырывал им усы, ставил одну шеренгу напротив другой и приказывал плевать в лицо друг другу; на дому устраивал смотры десятками – связывал им ноги в лубки – фрунт так фрунт! – и часами приказывал стоять неподвижно... За пять месяцев своего командования наказал сорок четыре человека – на них обрушилось четырнадцать тысяч двести пятьдесят палочных ударов, издал приказ, разрешающий наказывать ветеранов, награжденных медалями и орденами, – а они по уставу освобождались от телесного наказания.

И полк не выдержал: вечером шестнадцатого октября первая – государева рота самовольно собралась на переключку и заявила ротному командиру, что не будет больше служить под командою Шварца. Такого в гвардии еще не случалось – рота была арестована и отправлена в Петропавловскую крепость; тогда возмутился весь полк, встал на защиту своих товарищей. И весь оказался в крепости.

Союз Благоденствия – офицеры столичных полков! – приходил в смятение: армия начинала волноваться сама, без их участия.

От рот, батальонов Семеновского полка остались одни номера – солдаты отправлены на Кавказ, офицеры переведены в армейские полки отдаленных гарнизонов, некоторые отданы под суд. Номера заполнялись другими людьми – иного склада.

«Дух развратный вольности более и более заражает все сословия», – писал в тайную полицию агент.

Александр Первый находился в Австрии, в городе Троппау: Священный союз обдумывал условия введения союзных войск в государства, кои могут быть поражены возмущением. Его императорское величество имел собственный взгляд на случившееся в полку: «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. Он всегда был известен за хорошего и исправного офицера... Отчего же вдруг сделаться ему варваром?.. По моему убеждению, тут кроются другие причины. Внутреннее, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружья, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял... Признаюсь, что я это приписываю тайным обществам, которые, по доказательствам, мы имеем, в сообщениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау».

Рылеев появился в столице после событий в Семеновском полку.

Он ходил по Сенату с делом Тевяшевых – те же люди, те же ответы с тайным значением: дай! «Деньги – лучшие стряпчие», – думал он и писал в Подгорное: пусть готовят к январю деньги – не меньше тысячи. Сидел в книжной

лавке сумрачный, молчаливый, пил с Измайловым квас-пенник, ел ржаные пироги с грибами, смотрел в одну точку. Измайлов пытался шутить:

— Кто много думает — говорит мало, зато в каждом слове — мысль.

— Какая мысль, Александр Ефимович?.. Беззаконие разлагает империю, она смердит, дурной запах отвращает от посещения присутственных мест. — Он не делится с Измайловым другой незадачей: не может найти службу. Отец Феди Маленького, увольняясь от должности, предлагает ее ему: но что делается в полицейских учреждениях, он знает по Острогжску, Воронежу, теперь — по столице, и — отказывается: «Подлая должность, которою у нас дорожат и тщеславятся». — Измайлову говорит тумано: — Бесприютен и наг по неприятию подлости...

— В чем же дело? Крой свою крышу, сквозь чужую-то не замочит.

Измайлов язвит двусмысленно, совершенно в духе новых настроений, овладевающих Петербургом. Всюду ощущается зыбкость и непрочность. И не только в столице. Великий князь Константин пишет из Варшавы царствующему брату: рассказированием Семеновского полка он заразил всю армию, разослав в ее недра семеновцев.

И, кажется, из-за каждого угла, из темноты любой комнаты, из-за занавесок трактиров в разворошенный, тревожный мир столицы смотрят внимательные глаза Аракчеева, разъезжающего в обшарпанной карете, запряженной шестеркой списанных артиллерийских кляч — граф выставляет напоказ безразличие к собственному благополучию; его многотрудная жизнь посвящена благополучию его императорского величества.

Спасаящийся от тайной полиции Кюхельбекер в сентябре уехал из Петербурга в Париж — секретарем камергера

Нарышкина. В Веймаре встретился с кумиром лицейских лет Гете, передал ему привет от генерала Клингера. Иоганн Вольфганг подписал и передал с Вильгельмом Карловичем для русской императрицы Марии Федоровны, урожденной принцессы Вюртембергской, свои «Маскен-цуг» – «Явление масок» – и спросил:

– А что, Клингер так и питается сырою говядиной?

Вильгельм Карлович не только знаком с Клингером, но и посвящен в жизнь Первого кадетского: там учился младший брат его лицейского друга Ивана Пущина – Михаил. Посвящен, потому отвечает:

– Так и питается.

В директорском кабинете манекен тарашил непонимающие глаза: Белый Медведь курил чубук и разговаривал сам с собой:

– Итак, Федор Иванович, пора расставаться, девятнадцать лет пробеседовали впустую, двенадцатитомное собрание сочинений издали, но за границей – и нет покоя душе, нет сына и отзыва его из-под земли нет – глухо, сиро, мертво. Он восемь лет в могиле – я девятнадцать, только с тобою и разговариваю в России.

Чубук погасал, он разжигал его снова, смотрел на манекен и говорил:

– Мы долго обманывали себя, Федор Иванович, но никуда не уйти от правды: у нас нет родины, мы прожили жизнь на подачках, никто всерьез нас не принимал и никто не вспомнит всерьез. Подачки были значительны, но все же подачки. Одно время сие нас смущало, но совесть быстро смиряется, тем более не мы ли писали: «Истинная поэзия должна тщательно избегать всяческих отношений, создающих опасность для внутренней силы?» Совесть быстро смиряется, если за это ублажают ее воздаяниями или обещаниями их. Художник чаще на чьем-то кормле-

нии: Петрарка числился каноником сразу в четырех городах, Мольер числился королевским обойщиком, Шиманович – поэтом его величества, под названием поэт-лауреат эта должность существует при английском дворе. Оправдать себя всегда отыщутся доводы.

Он встал, подошел к окну, строки древнего стихотворения пришли на ум в долгих его раздумьях:

*Племя одно начинает расти, вымирает другое,
И поколенья живущих сменяются в краткое время.
В руки из рук отдавая, как в беге,
Светильники жизни.*

В тысяча восемьсот двадцатом Клингер освобожден ото всех должностей, и от директорства над Первым кадетским – тоже.

Неожиданно умирает генерал Малютин, Кондратий Федорович назначается опекуном его детей: Бог весть с какой стороны, по какой линии, но он приходится им дядей.

7

Пушкин – на юге, Кюхельбекер – в Париже; осиротевший Дельвиг обрадовался возвратившемуся Рылееву, зачастил в лавку; впрочем, это не об Антоне Антоновиче – зачастил. После выпуска из Лицея он служит в департаменте горных и соляных дел, но поскольку смыслит в них мало, а времени они отнимают много – для стихов не оставляют, – переходит в Министерство финансов. Но там – то же, он разрывает счетные узы и поступает в Публичную библиотеку под начало библиотекаря русского отделения Ивана Андреевича Крылова помощником, перенимает у него манеры и в свои двадцать два ступает с медлительной важностью, взгляд сквозь очки имеет осерьезненный, речь тихая.

Рылеев, кипящий негодованием – империя, поражен-

ная моровой язвой корысти, задерганная, поставленная на колени единоправием с его опричниками, становится местом, в коем истинному россиянину мерзопакостно находиться! – бледнел, выставлял вперед подбородок:

– Благочиние, церемониальный марш, «господи, благослови Россию!», хоругви и барабаны, а за всем этим, во всем этом – ложь и ложь!

Антон Антонович уголком скатерти протирал очки, медлил речью:

– Мы в Лицее любили разговаривать словами великих из прочитанных книг. Кюхельбекер составил из их фраз целый «Словарь»; и было там такое: «Если будешь лгать в ежедневном общении с людьми, ты навлечешь на себя самую унижительную укоризну, но если будешь лгать в самых важных делах, если обманешь целое иностранное государство или большую часть своих сограждан, ты прослывешь прекрасным политиком... Славнейшие законодатели и полководцы выдают свои бредни за внушение свыше...» Ты против богов или против законодателей?

– Я за тех, кто не равнодушен к слову «революция»! – вспыхивал Рылеев. – «Слава тебе, русский язык, что не имеешь ты равнозначного сему слова. Да не будет оно никогда в тебе известно, и даже на чужом языке не иначе как омерзительно и гнусно». Не слово гнусно, а это вот благопожелание верноподданного Шишкова, но я верю: рано радуется господин адмирал. И сей ретроград – президент Российской академии!..

Ноябрь осыпает столицу то дождями, то снегом. День начинает путь в сумерках, в сумерках проходит его и оканчивает в сумерках. А по улицам тащится обшарпанная карета, запряженная шестеркой старых артиллерийских коняг, собаки, поджав хвосты, визгом разносят весть о ее

приближении. И многим вспоминаются строки сосланного на юг поэта:

*В столице он – карал, в Чугуеве – Нерон,
Кинжала Зандова везде достоин он.*

Генерал от артиллерии граф Алексей Андреевич Аракчеев – «бешеная голова» переводили его фамилию с тюркского – сын мелкопоместного бежецкого дворянина, висит над головами соотечественников постоянной грозой. Не иначе как шепотом произносится его имя, он всесилен – военный министр, председатель военного департамента Государственного совета, с восьмьсот пятнадцатого почти единоправец, некоронованный самодержец. «Замечательный человек, – говорили о нем и объясняли: – по холодности и жестокости, по отсутствию мысли в действиях, по привязанности к одной форме и внешности...». Говорить говорили, но проезжая мимо его дома на Литейном, сдерживали дыхание и затаивали мысль.

В своей преданности престолу он мстителен и завистлив. Государь расцеловал в обе щеки графа Ростопчина за чрезвычайно удавшийся ему сбор пожертвований в 1812 году среди московских жителей. Аракчеев поздравил графа с получением высшего знака благоволения и добавил:

– Я, который служу ему с тех пор, как он царствует, – никогда этого не получал. – И всем стало ясно, что карьера Ростопчина окончилась. Так оно и случилось.

Он родился в один год с Бонапартом, в семьсот шестьдесят девятом, и втайне заносился над ним: тот не смог стать над Александром Первым Благословенным, а он стоит над ним, Аракчеев. Но смиренно носил на шее портрет своего государя, награду, принятую из царских рук. Перед монархом скромен до щепетильности, но всей России известны его слова: «Я царский друг и на меня можно жаловаться только Богу; я – первый человек в государстве; я

– наместник в империи». Его государственное убеждение: только то и делают, что из-под палки.

– Вы бы хоть обмолвкой иногда кого-нибудь похвалили, – советовал ему кто-то из смельчаков.

– Бог похвалит меня за то, что я сделаю с вами, когда во второй раз подойдете ко мне с советом, – отвечал граф.

Он из гатчинских офицеров – к цесаревичу Павлу отсылалось все ненужное армии.

У него средний рост, низкий лоб и серые глаза, волосы густы, как щетка, и темны, подбородок выдвинут; ум и злобность на его лице. «Большая обезьяна в мундире» – он второй человек, удостоенный этой клички, первый – великий князь Константин Павлович.

В Гатчине он начал с того, что в присутствии Павла на разводе вырвал у солдата ус. Через три года после восшествия на престол Павел наградил его графским достоинством.

В своем именье Грузино завел Алексей Андреевич порядок, любезный его душе:

– У меня всякая баба должна каждый год рожать, и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба – тоже штраф. А в какой год не родит, то представь десять аршин холста.

В его именье все должны знать на память «Отче наш», «Богородицу», «Царю небесный». Остановит ребенка – спросит. Расскажет ребенок молитву – даст ему пятак, не расскажет – повелит высечь отца.

Граф сентиментален – любит слушать пение соловьев; по его приказу в один день были повешены все кошки в именье, дабы не могли покуситься на графских птичек. Но кошки в деревне необходимы – граф смилостивился: разрешил их иметь... с содержанием на цепи.

«Укуратность» – имел он прозвище у своих дворовых. На письменном его столе перья, чернильница, песочница располагаются на абсолютно точных расстояниях друг от друга; из вотчины в Петербург провизия высылается строго учтенною – если яйца, то для каждого строго обязательен размер и цвет... Графом точно исчислено, что для поддержания в чистоте вотчинных дорожек в год нужно расходовать две тысячи двести метел.

Верноподданные почитают за честь облобызать ступени его крыльца – тем заручиться будущей поддержкой всесильного.

Соловецкий архимандрит с братиею во Христе бьет челом и прямолинеен без околичностей: «Изливаемые и многопływущие милости вашей особы дотекли слухом и до нашей отдаленной Соловецкой обители, почему и осмеливаемся покорнейше просить при удобнейших случаях оказать в оной возможные вами благодеяния и пособия в могущих встретиться обстоятельствах и делах... При сем почтеннейше препровождаю вашему сиятельству в знак благословения от святых угодников божиих Зосима и Савватия, соловецких чудотворцев, нашего лову бочоночек сельдей и две семги. Дай бог во здравие вам оные скушать».

Двадцать шестого июня тысяча восемьсот восемнадцатого года в Полном собрании Законов Российской империи под Ф№ 27390 появляется указ его императорского величества «О содержании на станции села Грузино сверх положенных четырех почтовых лошадей еще четырех троек из сумм почтового ведомства».

Дорога в Грузино стала такой же важной, как в Царское Село.

Десятая книжка «Невского зрителя» вышла в декабре и перехватила дыхание у Петербурга.

Страшили строки – широкие, отчаянной безоглядностью:

*Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!*

Неспешная поступь александрийского стиха замирала в конце одной строки, возобновлялась началом следующей, но музыка, сопровождающая стих, становилась грозней:

*Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! Лучшие скрыть себя в неизвестности простой,
Чем с низкими страстями и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставлять, как будто для позора!*

С каждым легионерским шагом строки набирали взрывную силу:

*Тиран, вострепещи! родиться может он,
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!*

Недоуменный взгляд возвращался к названию:

«К временщику» – и отказывался себе верить: прямое обращение к Аракчееву!

*Но если злобный рок, злодея погубя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Всё, трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!*

Взгляд останавливался на фамилии автора: Рылеев. Она уже мелькала где-то среди фамилий других стихотворцев, ублажающих слух приятностью рифм, но здесь было что-то выходящее за пределы обычного – за преде-

лы, ограничивающие меры правды, позволительную на печатных страницах, меру смелости, позволительную в разговоре с сильными мира сего. Казалось, автор с отчаянной высоты бросался вниз головою в море, но внизу не оно было — булыжники Дворцовой площади...

8

Слава Рылеева не вошла — ворвалась в мир России, зазвучала громче славы других поэтов.

Аракчеев принял сатиру на свой счет, но молнии не сверкнули, грома не раздалось: графу, обратившемуся к министру народного просвещения с требованием предать суду цензора, был сделан запрос: «Так как, ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурою Проперция сатиры, переведенной стихами, требуете, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то, прежде чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?»

После такого запроса благоразумнее было не отвечать, граф смолчал. Всяк петух хозяин на своем пепелище.

В январе двадцать первого года дворянство Петербургского уезда избирает отставного подпоручика Кондратия Федоровича Рылеева заседателем Петербургской уголовной палаты.

Восемнадцатого апреля по представлению Дельвига Рылеев принят в члены-сотрудники Вольного общества любителей российской словесности.

Он сказал Слово. Будто вышел на помост и вознес голову: вот он я весь пред тобой, народ!

Наставал черед Дела.

В январе состоялся Московский съезд Союза Благоденствия: восстание Семеновского полка насторожило

правительство, оно получило сведения о существовании тайных обществ, о проникновении их в высшие сферы, в армию – открытое следование установлениям Союза становилось опасным. Но было ясно: Россия сама собою движется к низложению существующего порядка, народное возмущение грозит разрушением основ государственности, кровавыми беззакониями. Дело чести каждого члена общества – стараться встать над стихией, подчинить ее своей воле. Для чего Союз распустить, создать новое Тайное общество со строжайшим отбором людей, целью общества объявить установление конституционной монархии.

Пестелю и его приверженцам было объявлено лишь об уничтожении Союза.

С завязанными глазами его водили чрез анфиладу комнат, приставляли к груди меч, брали клятву: «Пламенеющая звезда» принимала его в свои члены; сверстники отставного подпоручика давно прошли коридоры масонства, разочаровались и покинули их: Пестель – в семнадцатом, Сергей Муравьев-Апостол – в восемнадцатом, Матвей Муравьев-Апостол – в двадцатом... Корпус, армия, захолустье – ему просто некогда, негде было проходить то, через что прошли они, он наверстывал, приобретал опыт души и мысли.

Высшее чиновничество иноземного происхождения – немцы, несколько англичан и шведов – избрали «Пламенеющую звезду» своей ложей, он разговаривал с ними на немецком, внимал речам Мастера, еще не осознавая вполне, зачем он здесь... Хотя, хотя иноземцы – опора нынешней власти. Генерал Клиндер в мистическом полумраке смотрел на нового члена ложи, вчерашнего офицера, позавчерашнего кадета своего корпуса, и додумывал давнюю мысль. Постигающий суть России, он понимал, видел: воспитанное со

тщением убеждение в единстве народа с единоправием рушится. Отечественная война в последний раз, может быть, соединила их общей целью – изгнать Наполеона из пределов Отечества. Они расходились в цели дальней: царь спасал и упрочивал троны, народ ждал свободы. «Тонули – топор сулили, вытащили – топорища жаль», – подвел народ итоги единения. «Хорош был дом, да черт жил в нем, – подумалось генералу. – Под скипетром Александра объединились силы, чьи устремления противоположны прежним призывам и обещаниям». Россия сама о себе начинает заботиться. Этот отставной офицер в ложе «Пламенеющей звезды» – единственный среди них русский – преследует какую-то свою цель.

*Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вокруг меня губительный свинец.*

Восстала Греция. «Филики Этерия» – тайное Дружеское общество – подняло соотчицей против ига турок; добровольцы, ждавшие в Молдавии своего часа, перешли границу, предводительствуемые греческим князем Александром Ипсиланти, генералом русской службы. Почти на глазах Пушкина готовилось выступление, он душой был с ними.

Шум их знамен услышал и Рылеев:
*Уже в отечестве потомков Фемистокла
Повсюду подняты свободы знамена...*

Рассеянные по странам Европы, греки или сами становились под знамена «Филики Этерии», или отдавали ей свои средства; греческие купцы в России закупали на свои деньги боеприпасы, амунизию, снаряжение, продовольствие. В русском обществе ждали: государь соберет армию – пошлет на помощь грекам; прошел слух, что она

уже собирается на юге, что ее командующим назначается генерал Ермолов.

Рылеевские стихи посвящены ему:

Повсюду подняты свободы знамена,

Геройской кровию земля промокла...

В Париже ликовал Кюхельбекер:

Уставы власти устарели;

Проснулись, смотрят и встают

Доселе спавшие народы:

О радость! грянул час, веселый час Свободы!..

Николай Тургенев в Петербурге, волнуемый теми же чувствами, скорбит о своем, российском: «Страшно... что все – и дипломаты, и министры, и публика – более или менее принимают участие в грехах... Все это хорошо. Но кто из всех этих господ принимает должное или какое-нибудь участие в судьбе наших крестьян?.. А тут долг более святой, нежели в отношении к грекам. Лучше ли жить многим из наших крестьян под помещиками, нежели грекам под турками?.. Боже праведный! Бог России! Когда правосудие твое будет действительно и для сей несчастной земли?»

9

Наташа, казалось, стала моложе: материнство добавило мягкости выражению лица, умиротворенности; оно становилось сосредоточенным, как у старшей сестренки, когда брала она на прогулках у мамок свое дите на руки – тоненький стан ее изгибался, приноравливался к драгоценной ноше.

– Ой-е-ой, барыня, не уроните Асеньку! – хлопотали мамки числом две. – Ваше дело родить, а мы вынянчим, будь ласка.

Она смущалась, прятала лицо в кружева одеялец дочери, оттуда улыбались ей безоблачные глаза, ангельский ротик. Невыразимым чувством – робостью перед детской

беззащитностью, отчаянием неведомо перед чем, пронзительным узнаванием плоти от своей плоти – окатывало сердце. Она опускала лицо ниже: «Ай-тю-тю-тю! Ай-тю-тю-тю!» Тут появлялись матушка с батюшкой – бабушка с дедушкой – и мир, называемый семейным кругом, обретал законченные очертания, становилось боязно нарушить его каким-нибудь неловким движением...

Кондратий вернулся из Петербурга новый, неожиданный, будто ветром подхваченный – дела его шли удачно. Еще перед этим соседи наезжали в Подгорное с неизменными новостями: «А ваш-то Кондратий Федорович!» – и то-то о нем и то-то, да еще, что каждый раньше других заметил в нем необычного человека с большими талантами, с большим будущим. Ей было радостно от таких слов, но и тревожно: как бы не случилось чего с ним в теперешней круговерти – здесь ее супругом было столько опасного наговорено, там, поди, куда больше – все же народ там более ему подходящий. Здесь-то пусть говорит, здесь все свои, там – чужие, могут не принять слов, причинить зло... Кондратий не любит Петербурга, он ему тошен, там вдохновенье его остывает, душа рвется в Подгорное, в степь. Здесь для его музы – простор. Он который день запирается в своей комнате, выходит к столу задумчивым, а как напишет что, так бежит к ней со всех ног – читает, но уже про любовь редко. О любви она собирала, хранила, не давала ему, недозволенному написанным, рвать их, подшивала в тетрадь. Теперь стихи у него другие, длинные, все не запомнишь.

Такой счастливый домой приехал – носился с дочерью на руках по всему дому, по саду – веселый, радостный, а матушку пугал рассказами о своей новой службе:

– На чем попался? – спрашиваю варнака, а он мне: – ах, судья, четыре полы, восемь карманов. Дескать, рад бы не воровать, да сам видишь...

Матушка крестилась, всплескивала руками:

– Лихого люду на земле много, ты бы поберегся на такой службе-то.

А как прочитал привезенные из столицы тома карамзинской «Истории государства Российского», так не то что днем, ночью от стола не отходит: пишет и пишет, читать ей не успевает про князя Курбского, Михаила Тверского, Дмитрия Самозванца, Рогнеду – о ней он прежде рассказывал, теперь написал стихами. И про смерть Ермака:

*Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали.*

...В Острогожске они ходили с Кондратием по базару, слушали кобзарей; седые слепцы разговаривали струнами, казалось, издалека разговаривали, из-за степей, из-за лет, из-за костров – пламя играло на морщинистых лицах:

*Зажурылася Хмельницького сидая голова,
Що при йому ни сотныкив, ни полковныкив нема...*

Потом заехали к городничему, давнему другу дома, Григорию Николаевичу Глинке, – он так терялся, не знал, как обратиться к ней: то мадам, то барышня, а как успокоился – стал расспрашивать Кондратия о старшем брате своем. Кондратий рассказывал, какой он брат, какой поэт, Федор Глинка, какой гвардейский полковник и товарищ, потом заговорил о своей службе. А Наташа думала: все-таки чин офицера куда как благородней чина судейского. И другое взять в рассуждение: офицер только на войне в опасности, а судейский всякий час – то варнак за углом подкараулит, то дружок варнака...

Приехали из Острогожска, а дома у них в гостях Александр Иванович, капитан Косовский – недавние сослуживцы обрадовались друг другу, как мальчишки.

Косовскому казалось, что Кондратию несладко живется в Петербурге, звал к себе на Украину, но Кондратий ответил, да так, что у нее опустились руки. Он потом еще и в стихах ответил:

*Чтоб я молодые годы
Ленивым сном убил!
Чтоб я не поспешил
Под знамена свободы!*

Государь вызвал Ермолова с Кавказа, но отнюдь не с той целью, какая виделась обществу, – повелел возглавить войска, назначенные для подавления восстания в Пьемонте.

На просьбу Ипсиланти о помощи государь ответил отказом, понял: князь дал увлечь себя зловредным идеям. Казачьим пикетам по Дунаю и Пруту предписывалось задерживать греков, переходящих из России, возвращать назад под надзор полиции.

Государь все больше терялся для России, все больше терял Россию.

10

Гвардейский корпус достиг границы и остановился.

Русский царь показал Европе готовность следовать установлениям Священного союза – с нее было достаточно, с Пьемонтом управились одни австрияки.

Второй целью похода его императорское величество ставил сердечное примирение с гвардией: после семеновской истории она качнулась в сторону – или оскорбленная, или на что-то решившаяся, в последнем предположении его утверждали сообщения тайных агентов... Корпус стали готовить к высочайшему смотру, к маневрам – на подготовку отводилось полгода: он примет парад, выразит монаршее удовлетворение рат-

ным усердием полков, раздаст чины и награды, произнесет здравицу – и гвардия вернется в лоно любви и преданности.

Высочайший смотр состоялся.

Стройными рядами выстроились полки под белорусским местечком Бешенковичи. Шел дождь – сентябрь, осень.

Государь объезжал фронт.

Мундиры намокали, блестящие ряды на глазах тускнели, цвет войска становился однообразно серым – настрование государя падало. Он посерел лицом, даже полуприкрыл глаза, когда встретился с Семеновским полком – сто пятьдесят лет истории...

Он повернул коня и въехал со свитой на пригорок – полки прошли перед Его Величеством.

Все одно к одному: тонущие в грязи ботфорты, лошади, пушки – он развернулся и поскакал прочь.

Империа́л – императорский в переводе с латинского – золотая монета, ее чеканят в России с 1755 года, по стоимости равняется десяти рублям, полуимпериа́л – пяти. Именно такую цену уплатил каждый офицер за примирение императора с гвардией. Командование возымело счастливую идею устроить торжественный обед в полях под Бешенковичами с приглашением государя – господ офицеры идею приняли: за винами в Ригу, за капельмейстером в Петербург поскакали курьеры. А в версте от местечка из соломы и ельника сооруджалась «зала» на полторы тысячи человек, свитские офицеры убирали ее цветами.

В громе пушек, батальонного огня пехоты и звуках оркестра в несколько сот музыкантов государь первый тост изволил пить за благоденствие России, второй – за здоровье российской гвардии...

Но оставил ее зимовать в белорусских снегах.

Приграничные губернии угощали воинство по-русски – хорошей банькой, по-немецки – мартовским пивом, по-польски – двадцатипятилетней водкой. Но вельможные паны угощали гостей еще и картинками своего старинного быта. За полчаса до обеда по коридорам замка шел барабанщик в особом наряде, в сопровождении слуг, на его бой в столовую из разных дверей выходило до пятидесяти человек – судья, управители, секретари, учителя, близкие и дальние родственники, приживалы и приживалки. И не было более занимательного разговора за богатым столом, чем разговор о подвигах последней псовой охоты.

Белоруссия – воплощение нищеты и убожества. В прошлом году край постиг неурожай: в деревнях едят мякину, лебеду, древесную кору. Оставление гвардии здесь не могло не иметь следствием то же, что рассылка офицеров Семеновского полка по дальним гарнизонам: неискушенные заражались противуправительственной ересью, почти у каждого молодого офицера в дневнике появилось крамольное стихотворение «К временщику».

Он объявился в Минске вместе с гвардией, рослый поручик с закрученными усами, с аккуратным пробором черных волос, с острым словцом на каждое безобидное слово. «Мой принцип: дуэлировать так дуэлировать, побочных поединков не признаю!» – и рука лежит на эфесе сабли, на рукояти пистолета. Рассказы один невероятнее другого сыплются налево-направо, он сам порою в растерянности, Сашка-Завирашка, не помнит, где правда, где вымысел. Пред ним открыты артистические уборные, клубы, масонские ложи, общества. Попробовали бы не открыться! Знающая сыночка матушка об одном умоляет в письмах: опасайся легкомысленного шага, помни, что было с Софьюшкой Савицкой! Ты еще молод, мой друг... О да, матушка! Но волненья твои напрасны: в округе нет

богатых помещиков, нет красивых невест – и сыплет на балах комплименты налево-направо, трепещут сердца старух – молодой человек пытается изъясняться с ними на польском! В трактирах гремят цимбалы, он пьянствует и отрезвляется шампанским, берет гитару...

В бальных залах смолкает музыка, смолкают голоса, головы поворачиваются на голос слуги:

– Александр Александрович Бестужев!

А Минск ему уже надоел – корпусная квартира: мундир и штабные толпы делают жизнь в нем весьма принужденною.

В немногих верстах от города он находит себе пристанище – деревню Выгоничи. Помещик – хозяин средней руки, но своего стола поручику держать не позволил; за хозяйским обедом четыре-пять блюд, бутылка меду для гостей, бутылка наливки, а вне обеда фортепиано, книги на всех языках, умные рассказы хозяина, забота хозяйки о постояльце, как о сыне. Но главное – компания дочерей, их две, и обе уже просватаны, но столько веселья в них, столько любви к поэзии. В младшую, Цицилию, – он называет ее Сицилия – можно бы и закохаться, но и того достаточно, что они милы с ним, любезны – и без кокетства...

Нет, он не всегда летит, он останавливается. Он останавливается и летя, только этого никому не видно. Хозяин Выгоничей рассказывает о родословной, показывает фамильный герб: три золотые пики скрещиваются на красном поле, средняя упирается острием в шлем, над которым возвышается рогатая козлиная голова с частью туловища.

– Отчего ж полкозла, не целый достался вашему роду?! – он смущен бестактностью своей шутки – вылетела непроизвольно. Спешит исправиться: – Скаредна рука государя.

– Это герб элиты! – не видит его смущенья хозяин.

Но поручик уже остановился. Перед его глазами бредут по снежным дорогам люди без надежды в глазах, над каждым распутием в печали и скорби с распятий мерцает страдальческий взгляд Христа. Нищий, голодный край.

Десять лет после войны минуло.

Новый год кружил драгуна Бестужева по минским гостиным. Он уверял в письмах брата: прежде сводить знакомства в фамильных домах не было времени, сейчас здесь он вместе с хозяевами Выгоничей, господами Войдзевичами, наверстывает упущенное. Сицилия ходила по комнатам минского особняка тихая, подавленная — поручик летел к другим сердцам. Но на лету замечал: пан Войдзевич в беседе с приятелями пользуется каким-то скрытым смыслом привычных слов — точно так же, как сам он, поручик Бестужев, в своей масонской ложе, но разгадывать слов-знаков не стал: коли люди не раскрывают тайну, значит, лезть в нее ему незачем. Однако мир кажется ему сотканным из тайн...

Войдзевичи собираются в Петербург. Бестужев отписывает брату: пусть их хорошо встретит, а маленьким хозяикам Выгоничей покажет прелести Петербурга. Самому поручику возвращение в столицу рисуется триумфальным: на днях вызывал его командир полка генерал Чичерин, по смерти папеньки, Александра Федосеевича, покровительствующий семье, и сказал:

— Граф Комаровский предлагает вам идти к нему в адъютанты.

Поручику двадцать четыре года, его ум быстр: «Граф Комаровский — генерал-адъютант, командир отдельного корпуса внутренней стражи». Неважно, что внутренняя стража — важно, что он скоро окажется в Петербурге, а на его плече — адъютантский аксельбант, и все это вместе введет его в высший свет! Самый верный способ преуспеть по службе.

Он подкрутил усы и ринулся в бальную залу.

В августе Кондратий Федорович повторил дорогу с юга на север, но уже с семейством, остановился в Батово.

Анастасия Матвеевна нянчится с внучкой, тормозит дворовых девок, таскает за волосы: не успевают менять воду для купанья малышки, мешкают с пеленками.

– Счастье ты мое маленькое, – берет она внучку на руки, уходит в сад, ей вспоминаются собственные умершие дети, страшный сон, отъезд Кони на войну, когда она обмирала от страха: вдруг исполнится слово Божье! Но Бог милостив к ней – оставляет Коню в живых и даже подарил внучку... В глазах Анастасии Матвеевны слезы: – Нежданно-негаданное ты мое счастье.

В сентябре Рылеев сыскивает в Петербурге жилье: за семьсот пятьдесят рублей в год снял деревянный двухэтажный домик на Васильевском острове. Четыре комнаты, людская с кухней, конюшня на два стойла, сарай и ледник. На первый случай он просит матушку прислать какой-нибудь посуды, хлеба и того, что сочтет она нужным для дома, чтобы не за все платить. Матушка к просимому присылает корову – пусть Асенька всегда будет с молоком – и воз сена. В конце октября перебирается сама.

Не в райском саду далеких своих мечтаний – в чужом и убогом – сидит он на скамейке с подгнившими ножками, следит за полетом листьев, будто лодочки отталкивающиеся от ветвей, от берега по невидимым волнам пускающиеся в плаванье, неведомо где для каждого кончающееся... Сентябрьский плац Двенадцато года встает пред глазами, отзвуки юношеских мечтаний смущают сердце. Древо Славы шумит над Россией, как шумело в старые времена, как будет шуметь в новых, а он ни листика к нему пока не добавил. Да, он выставил пред Отечеством временщика, сказал о нем слово правды, но что дальше? Граф просто

не ответил на удар, посчитал за лучшее не заметить. Его карета с гербом на двери по-прежнему пугает собак на улицах Петербурга, Государственный совет стоит на ногах, пока он не сядет. Продают и порют людей, забивают палками насмерть, в присутственных местах ни одного человеческого лица, и сами эти места – котлы, в коих кипят помои... Жизнь России должна быть достойна ее великого Древа. Он о том и говорит своими стихотворными «Думами» – пусть каждый русский почувствует себя человеком, гражданином России, пусть воспрянут в нем чувства гордости, чести – столь долго унижаемые, растаптываемые, что стал забываться их изначальный смысл, – это страшно, страшнее Наполеона.

Аракчеев – тень императора. Тени могут исчезать лишь вместе с предметом, коим порождены.

В июле, когда Рылеев был с семьей в Подгорном, взбунтовались Гостилицы в Ораниенбаумском уезде – вотчина обер-камергера двора графа Разумовского: прошел слух, будто граф намеревается продать своих крестьян в казну. Однако слух слухом, истинная причина состояла в том, что граф повелел им закончить сенокос сначала на его лугах, лишь потом начать на своих.

Гостилицкий бунт с его приливами и отливами продоллся около года, коснулся судеб многих людей. В том числе и судьбы Кондратия Федоровича.

Выйдя из повиновения, мужики выставляют одно требование за другим: сменить бурмистра, десятников, даже пастуха: «Все они заражены дворским духом!» И еще требуют перевести всех на оброк.

Бурмистр ходил в почете у графа, с хорошим кнутом стоял над вотчиной, выбивал с каждого до последней полушки, никто ему слово против молвить не отважился; за кнутобойные дела граф отписал верному слуге отпускную вместе

с семейством, правда, действительно она станет лишь по смерти его сиятельства. Теперь, выказывая участие к судьбам подданных, Разумовский сменяет бурмистра, назначает строгую ревизию: пока она перебирает бумаги, страсти улягутся... Ревизия изъянов не находит, бурмистр возвращается на место, берет в руки кнут. Но мужики упорствуют, собирают сход – и требуют бурмистра убрать. Двое крестьян отправляются с челобитной к самому царю-батюшке.

Управляющий именем обратился за помощью в земский суд – суд помог: двоих бунтовщиков определил в рекруты без зачета вотчине, четверых посадил в кутузку.

Мужики опять собирали сход.

Приезжал губернатор – не уговорил. Для увещевания разместил по крестьянским дворам воинскую команду.

Двое ходоков дошли до царя-батюшки: его императорское величество повелел ораниенбаумскому предводителю дворянства провести расследование. Было доложено: в словах мужиков правды нет.

Однако ходоки не унимаются, приносят генерал-губернатору бумагу, подписанную в четырех соседних вотчинах, по бумаге выходило: гостилицкие крестьяне подвергаются жестоким наказаниям, поголовно все работают на ремонте дорог, по принуждению выходят в поле в воскресные и праздничные дни...

Ходоки были преданы суду, с крестьян соседних поместий взята подписка: впредь без разрешения властей подобных удовлетворений никому не давать; в Гостилицы введена дополнительная воинская команда.

Президент Ученой республики – Вольного общества любителей российской словесности полковник Федор Глинка вызывает у отставного подпоручика Рылеева чувство восхищения. Уподобь господь его судьбу судьбе Федора Николаевича – мечтать о лучшем уделе был бы великий грех.

Рылееву нравятся и стихи Глинки, и его глубокие суждения. Особо приятно знать, что полковник Глинка тоже окончил Первый кадетский корпус. Служилый Петербург почитает за счастье ездить за границу, а Федор Николаевич, как только выпадет случай, — отправляется познавать Отечество: где пешком, где на перекладных путешествует по губерниям Средней России. И не устает о том рассказывать:

— С сердечным удовольствием видел я, что благие нравы предков, вытесненные роскошью и нововведениями из нынешних городов, не остаются вовсе бесприютными сиротами на русской земле. Скромно и уединенно процветают они в простоте сельской. — Федор Николаевич значительно смотрит в глаза собеседникам. — Не раз повторял я про себя достопамятное изречение Монтескье: «Еще не побежден народ, хотя утративший войска, но сохранивший нравы свои».

Изречение известно Кондратию Федоровичу, ему многое здесь, в Ученой республике, известно и понятно, потому он пребывает в некой растерянности, когда в сентябре читанные им в собрании стихотворения не признаются достаточными для перевода его из членов-сотрудников в действительные члены общества. То же случается через месяц, а Федор Николаевич словно не замечает его неудачи:

— Мы ласкаем себя надеждою, что настоящая связь наша, основанная на единстве воли и цели, достигнет со временем до степени приязни и самой дружбы.

12

В начале ноября гостилицкие мужики опять стали будоражить соседние селенья, созывать сходки, подбивая идти всем миром с жалобой в Петербург. Соседи высказывали согласие, развивали мысль дальше: по пути собирать люд из всех вотчин, через которые идти...

Воинская команда задержала восемьдесят пять человек, но пятьдесят все-таки дошли до столицы.

Комитет министров, генерал-губернатор, суд постановляли, решали, внушали одно и то же: повиновение помещику необходимо. Для убедительности внушения привели в Гостилицы на сходку всех арестованных – и двадцать одного из них прилюдно наказали кнутом, после чего держал слово господин губернатор и признал: отнесение праздников и дней ремонта дорог к крестьянским дням неправильно...

Сходка присмирела, дала обещание выполнять все господские работы беспрекословно. Но в середине ноября полиция снова задержала в столице тринадцать гостилицких – шли искать защиты у царя-батюшки.

Петербургской уголовной палатой вынесен приговор: одних наказать кнутом и сослать в каторжные работы, других поручить воле помещика... Государь заменил кнут ссылкой в Сибирь на поселение всем семейством.

Кондратий Федорович Рылеев приговор подписал вместе с прочими заседателями уголовной палаты и судьей, но при этом высказал неудовольствие, причем резким тоном:

– Это не суд, господа, это расправа. Это не следование закону, но следование известному положению: кому служу, того и руку держу.

На что господами судейскими ему было отвечено:

– Не ступай, собака, на волчий след: оглянется – съест.

Дали понять: строптивость чревата неприятностями. На что Кондратий Федорович только хмыкнул. В эти дни он чувствовал крылья за спиной – двадцать восьмого ноября в протоколе заседаний Вольного общества любителей российской словесности появилась запись: «Обще-

ство, отдав должную справедливость трудам и усердию г. члена-сотрудника К. Ф. Рылеева и найдя представленное им стихотворение «Смерть Ермака» достойным особенного уважения, определило... переименовать его в действительные члены, будучи уверено, что он в сем новом и важном звании потщится усугубить ревность свою в трудах общества».

А Федор Николаевич Глинка расчувствовался, назвал стихотворение будущей песней народной, что было встречено аплодисментами.

Сердце Кондратия Федоровича пело.

В Петербурге издан «Кавказский пленник», Рылеев раскрыл страницы.

*Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.*

Слова обожгли душу: неужели Пушкину свобода мнится призраком? Для него, Рылеева, она существует воочию, он дышит ею, его душа уже ныне свободна, тому свидетельством – его стихи...

В России рождалась новая поэзия. Князь Вяземский определит ее: «Явление упомянутых произведений, коими обязаны мы лучшим поэтам нашего времени, означает еще другое: успех посреди нас поэзии романтической».

Действия правительства не утихомирили вотчину обер-камергера Разумовского: крестьяне перестали выходить на работы, отказались платить оброк. Губернатор

доложил императору, император повелел направить в Гостилицы батальон солдат и держать его там до тех пор, пока порядок в вотчине графа не будет восстановлен, полицейскому же начальнику столицы повелел выявить причину нового возмущения. Полицмейстер арестовал и предал суду тринадцать человек.

Январь, февраль, март... двадцать девятого марта Разумовский высказывает генерал-губернатору Милорадовичу недовольство медлительностью суда. Письмо продвинуло дело – Уголовная палата постановила: приговорить троих к наказанию кнутом по двести ударов и ссылкой в Нерчинск в каторжные работы, семерых – к двумстам ударам кнутом, остальных – на волю помещика.

В Журнале комитета министров одиннадцатого апреля появилась запись: «Дворянский заседатель уголовного суда Рылеев, подписав означенный приговор, остался при особом мнении, что как дело подсудимых основывалось только на донесении управляющего вотчиной гр. Разумовского и на предположении обер-полицмейстера и что из показаний подсудимых не видно ни причины возмущения, возникшего после решения, ни виновников и главных зачинщиков оного, то и не может он приступить к обвинению кого-либо из подсудимых». Генерал-губернатор ознакомился с мнением заседателя – и предложил утвердить приговор. Утвердил его и государь.

В конце апреля в Комитете министров заслушали приговор палаты по делу гостилицких крестьян, осужденных еще в декабре. Дворянский заседатель Рылеев и на сей раз остался при особом мнении: «Почитаю необходимым для предупреждения могущего вновь возникнуть неповиновения крестьян в вотчине гр. Разумовского послать по избранию правительства благонадежного чиновника для исследования на месте, действительно ли бурмистр Николай Егоров дела-

ет крестьянам притеснения, как то показывают некоторые из подсудимых, а если делает, то в чем они состоят; а как из первоначально производившегося в палате дела видно, что бурмистр действует не сам собою, а по установлениям, издавна в вотчинной конторе существующим, то исследовать: нет ли чего отяготительного в сих установлениях».

В восемьсот двадцать втором году отставной подпоручик Рылеев опубликовал четырнадцать своих «Дум». Издатель, публикуя «Смерть Ермака», сопровождал стихи замечанием: «Сочинение молодого поэта, еще мало известного, но который скоро станет рядом с старыми и славными».

Он чувствовал, как крепнут крылья за спиной: двух лет не прожито в столице, а она уже признает его, признают издатели и писатели – это не одно и то же, что читатели. Его слава поэта не уступает славе Пушкина... Но еще дороже ему другая известность – народного заступника.

Имя скромного заседателя уголовной палаты знакомо даже рассеянному в государственных делах генерал-убернатору Милорадовичу. «О, Рылеев! Этот хоть и не победит, но побежденным не останется!» – произносил он в кругу судебных.

13

В светскую жизнь Петербурга ворвался смерч в мундире поручика лейб-гвардии Драгунского полка. Смерч останавливался в прихожих, стряхивал с кивера снег или капли дождя, лампасный дворецкий едва успевал известить почтенную публику: «Александр Александрович Бестужев!» – как уже в плавном круженье танца на высоком плече поручика плыл через залу адъютантский аксельбант, плыла обольстительная улыбка:

– Мадам!

За этим следовал каскад комплиментов, изысканней-

ших признаний – у мадам замирало сердце, пунцовели щеки, опускались глаза: ее партнер воспарял духом, взлетал над миром, увлекал за собою; у него была летящая жизнь, летящий талант. Он родился с готовностью и желанием быть всюду первым – и не отступал от сего правила; его соревновательство за первенство было одобрено еще покойным батюшкой. Батюшка – боевой генерал, лишь по причине увечья оставивший фронт и занявший должность правителя канцелярии при президенте Академии Художеств; его кабинет стали заполнять книги о народах земли, за стеклами стеллажей появились коллекции камей, граненых камней, редкостей из Геркуланума и Помпеи.

– Откуда, откуда, папенька?

– Из Геркуланума и Помпеи.

Сашенька хорошо сам расслышал и хорошо сам прочитал, ему надо было, чтоб рассказали, чем сии города знамениты. Папенька рассказывал об извержении Везувия, о жителях двух городов, погребенных лавой, кои открываются ныне при раскопках, – глаза сына наполнялись восторгом, решимостью.

– Горный корпус! – восклицает он. – И ничего кроме!

Папенька не возражает – и в Горном корпусе вспыхивает звезда, возносится на пьедестал кумир: кадет Бестужев, юный талант – первый ученик, первый выдумщик, поэт и драматург, сочиняет пьесу «Очарованный лес», ставит спектакль; любимцу корпуса прощается все – шалости и насмешки, дерзкие выходки и слова. Его дорога горного инженера сразу ведет в гору. Но... Старший брат Николя оканчивает морской корпус, остается в нем воспитателем и берет в учебный рейс младшего – тот похода осваивает морскую науку и приходит в недоумение: как можно было додуматься до того, чтобы посвятить жизнь шахтам? Только море! Какой Горный корпус?! Только паруса, ванты и

ветер, гудящий в них. Но... Николая сидит над скучными схемами, над математическими расчетами, без коих морское дело оказывается немислимым, ведет разговоры с офицерами о никчемных людях, берущих верх на флоте – и глаза новообращенного гаснут: как бы не так – будет он во всем этом барахтаться! Он пойдет по стопам покойного папеньки – станет артиллеристом...

– Вот что, молодой человек!

Произнес эти слова и опустил на стол тяжелый кулак генерал Чичерин, Петр Александрович, друг папеньки, и в этом «вот что» заключалось, что он берет его в свой Драгунский полк юнкером: полгода потянет солдатскую лямку, выйдет в офицеры, а там уж пусть сам распоряжается своей судьбой. В восемьсот семнадцатом Сашенька получил офицерский чин, а Цензурный комитет просьбу: разрешить издание журнала, в коем будет представлена иностранная и отечественная литература, то есть переводы в стихах и прозе, критика, стихотворения, смесь. Был ответ: «К выполнению такого обширного плана потребны также и обширные сведения, а не менее того и практическая опытность, чего в г. Бестужеве ни отрицать, ни предполагать по его слишком молодым летам Цензурный комитет не может». Прапорщику было девятнадцать лет, он квартировал со своим полком в Петергофе; обескураженный, уединился на берегу пруда в местечке Марли, расположенном неподалеку от Петергофа, и решил отомстить Цензурному комитету, сокрыться под псевдонимом Марлинский... В двадцатом году он стал членом сразу двух литературных обществ: в начале года вступил в Общество любителей российской словесности, наук и художеств, именуемое также Измайловским, ибо там верховодил Александр Ефимович, а в конце года – в Вольное Общество лю-

бителей российской словесности, во главе коего стоял Федор Николаевич Глинка, и шутил в стихах о себе:

*Я не живу почти – дышу,
Скучаю сам – других смешу,
И хладность дружбы
Мечтами золотя,
Играю цепью службы,
Как малое дитя.*

В двадцать первом году в «Соревнователе просвещения» сие малое дитя подняло на смех самого президента Российской Академии адмирала Шишкова, легко намекнув: не слишком ли ветхозаветны его рассуждения и взгляды на русский язык. Там же молодой автор восторженным сердцем прославил любовь к Отечеству и осудил тиранство, со значением повторив приведенные Карамзиным слова псковитян, осажденных Баторием, в ответ на его предложение сдаться: «...не предаем ни чести, ни совести своей: делай, что хочешь, мы сделаем, что должны!» Повторил как свою мысль, как свои слова, обращенные к некому лицу: делай, что хочешь, мы сделаем, что должны!

– Ну, Рылеев, – звенит шпорами поручик в Вольном обществе, – только из захолустья и уже на вершине славы. Это по-нашему! Сужу по твоим «Думам» – живем одной верой.

– Это надо проверить. – Кондратий Федорович рад встрече с поручиком-молнией, но и насторожен: не дай Бог – обожжешься...

На них заглядываются, приветствуют новые звонкие таланты, Общество ценит стремление их к исконно русскому, к старине.

– А как тебе Белая Русь? – листает общие страницы Рылеев.

Глаза Бестужева загораются.

– Сразу и не ответишь. Под Бешенковичами мы начищали до блеска парадные мундиры, чтобы красиво испачкаться на высочайшем смотре, а после смотрели, как нищенствует население – ни одного человеческого лица: худы, бледны, измучены...

– Мне приходилось колесить по Белоруссии – Невиж, Столовичи...

– Батенька мой, мы на одних полях паслись: мои Выгоничи не далее пятидесяти верст от твоих Столовичей!

– Паслись на одних полях, слушали одни фразки.

– О, фразки! – вскидывает голову Александр Александрович. – Это весьма и весьма!

Писал Гануське я, но не дала ответа.

О чем в письме просил, даст, верно, девка эта.

Рылеев смеется, а Бестужев вдруг спрашивает совсем о другом:

– И много у тебя «Дум» задумано?

– Изрядно, – кивает Рылеев. – Пожалуй, хватит на всю жизнь. Мое поле – вся наша история. Верю: если она заговорит живыми голосами – у многих с глаз спадет пелена, воспламятся чувства гражданские. Не сии ли чувства вызывают «Думы» украинских кобзарей – я их наслушался...

Их разговор продолжается на Невском, непременно на Невском: Александру Александровичу нужно, чтоб его Петербург видел вместе с Рылеевым, – пусть узнает в лицо известных писателей столица. Он смеется своим рассказам, рассказам Рылеева – молодо, заразительно, на них оглядываются, а ему что! Коли молод, так самое время совершать легкомысленные поступки, коли в старости начнете их совершать – это уже опрометчиво или подозрительно. Ха-ха-ха! А между смехом лирический пассаж: какие дочери у пана Войдзевича – скромны, как англичанки, одарены природным умом, довольно читают, хорошо танцуют, а что

лучше всего – не похожи на полячек с их кокетством и при творством, сколько неподдельного удовольствия испытал он, обучаясь у них польскому языку; жаль, что они уехали из Петербурга, когда он был в Минске, а когда он уезжал в Петербург, они ехали в Минск – где-то разминулись в дороге... Но в Петербурге они жили в его семье.

От встречи к встрече проникаются они друг к другу дружеским чувством, от встречи к встрече выясняют, что в их головах живут одни и те же мысли, стихотворения одних и тех же авторов – и договариваются об издании «Полярной Звезды», альманаха, в коем будут представлены лучшие писательские имена России.

Служебные обязанности надолго увлекли поручика в Кронштадт, гостилицкие крестьяне надолго отвлекли заседателя уголовной палаты от литературных дел. Заседатель в апреле писал поручику:

*В своем болотистом Кронштадте
Ты позабыл совсем о брате
И о поэте – что порой,
Сидя, как труженик, в Палате,
Чтоб свой исполнить долг святой,
Забыл и негу и покой...
Укоренившееся зло
Свое презренное чело,
Как кедр Ливана горделивый,
Превыше правды вознесло...*

«Долг святой» – не просто слова. Александр Александрович расскажет об участии Кондратия Федоровича в деле гостилицких крестьян старшему брату, и Николя через много лет напишет: «Император, вельможи, власти, судьи, угождающие силе, все было против, один Рылеев взял сторону угнетенных, и это его мнение будет служить вечным памятником истины, с какой смелостью Рылеев говорил Правду».

Пушкин писал Бестужеву из Кишинева 21 июня 1822 года:

«Милостивый государь Александр Александрович, давно собирался я напомнить вам о своем существовании и, признаюсь, невольно любя едкость вашей остроты, хотел я связаться с вами на письме не из одного самолюбия, но также из любви к истине. Вы предупредили меня. Письмо ваше так мило, что невозможно с вами скромничать. Знаю, что ему не совсем бы должно верить, но верю поневоле и благодарю вас, как представителя вкуса и верного стража и покровителя нашей словесности... Посылаю вам мои бессарабские бредни и желаю, чтоб они вам пригодились... С живейшим удовольствием увидел я в письме вашем несколько строк Рылеева, они порука мне в его дружестве и воспоминании. Обнимите его за меня».

3 июля князь Петр Андреевич Вяземский писал из подмосковного имения в Петербург другу: «Дай себе труд переправить ошибки переписчика, если окажутся в списке стихов моих для Рылеева. У этого Рылеева есть кровь в жилах, и «Думы» его мне нравятся...»

14

За династией, идущей в третье столетие своего царствования, тянулся обоз преданий, тайн, анекдотов... Во времена Павла молодой граф Салтыков с искренней убежденностью уверял свет, что государь – сын его двоюродного деда. Получив о сем известие, Его Величество призвал к себе флигель-адъютанта князя Николая Григорьевича Волконского – того, что впоследствии стал еще и Репниным, а также наместником Саксонии, генерал-губернатором Малороссии, – повелел ему взять с собою четырех солдат и пук розог:

– Сергей Салтыков болтает Бог весть что, поезжай к нему, скажи, что его бы следовало сослать в Сибирь, но я

поступаю с ним по-родственному, по-отечески, высеки его как можно больше и приезжай доложить мне.

Повеление было исполнено, но разговоров не пресекло, лишь послужило будто бы подтверждением справедливости утверждений графа.

Павел защищал честь родословной, честь династии, но пришли новые времена, когда надо спасать не только честь, но и династию: ходуном ходит Европа, волны возмущения переплескиваются через границы, гвардия, стоящая вдоль западных пределов Отечества, вновь вдыхает тлетворный воздух, набирается противных здравому смыслу мнений.

Его Императорское Величество Александр Первый Благословенный произвольною мыслью начинал подводить итоги своего царствования, с удивлением обнаруживая, что при этом переходит на русский язык, от которого порядком отвык. Здесь, в Петербурге, не то, что в Троппау или Лайбахе, итоги не складывались в единое панно «Александровское царствование», были неутешительны. Спустя два-три года после его восшествия на престол господа университетские профессора в своих диссертациях утверждали: России самой природой предназначено быть житницей Европы – а не вывозилось и седьмой части собираемого хлеба! – спустя десять лет, перед самой Отечественной французский посол доносил своему правительству: в России основалось много суконных, шелковых, прядильных фабрик, помещики выписывают иностранных рабочих в промышленность... И все-таки все это так далеко от того, о чем думалось с молодыми друзьями в Негласном комитете. Империя в Европе видится великой и богатой страной, в собственных пределах – убогой и нищей. Никуда не сдвинулось крепостное право... даже сердечный друг, дорогой Алексей Андреевич Аракчеев, не смог подготовить проект освободительного акта с требова-

ниями императора: чтобы он не заключал в себе никаких мер, стеснительных для помещиков и особенно чтобы эти меры не представляли ничего насильственного со стороны правительства. Молва называет графа временщиком. Но не заключен ли в сем слове иной, глубокий смысл: чувство времени? И, видимо, для реформ время еще не пришло... Его Величество в раздумье произносит:

– Отсюда заключение: не торопиться преобразованиями; но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются.

Кондратию Федоровичу уже кажется далеким острогожский порог, петербургская жизнь бурлит вокруг него, сверкает, как увиденный в юности рейнский водопад: приемы, стихи, журналы, печатающие его, он сам, готовящийся издавать альманах, письма от писателей и к писателям, к людям, с коими разговор прежде был немыслим; сослуживцы, поднимающиеся по ступеням службы: Густав Унгерн-Штернберг – гвардеец и адъютант, Назимов – гвардеец и поручик, ненавистные барон фон Шепинг – генерал-майор, Сухозанет – полковник...

И свет, и тени... Три года назад они с Наташей отложили отъезд в Батово – свое свадебное путешествие – из-за свадьбы ее сестры Аси, а нынче, в феврале восемьсот двадцать второго, она стала вдовой. В июне скончался Михайла Андреич. Тяжбе с княгиней Голицыной не видно конца; он этим летом съездил в Киев и пожалел время – убито зря... По пути заезжал в Харьков, навестил брата Наташи – Михаила, навестил Косовского, вернее, побывал в его доме – Александр Иванович и гостеприимные домочадцы проговорились: он тоже посматривает в сторону Петербурга, где уже много их собралось, острогожцев. Кондратий Федорович пошутил, что, мол, чуть-чуть в другой стороне обитает, но шутки его не поняли, да и сам он признал, что сказал не то и не тем людям.

Зато степь и дорога – как праздник души: давнее сочетание красок – голубого и желтого, хлеба и неба; белая пыль за тройкой, выданной по губернаторской подорожной, догоняющее его, не отстающее пение кобзарей:

*Из низу Днепра тихый витер вие-повивае:
Тилько Бог святий знае,
Шо Хмельницький думае-гадае...*

В степной ночи – безмерность звездного неба, костры, храп лошадей и тоже песня:

*В той час була честь, слава,
Вийскова справа!
Себя себе на смих не давала,
Неприятеля під ноги топтала!*

Столько мыслей, сюжетов бродит и складывается в голове: Мазепа – семидесятилетний старец, властолюбивец и хитрец. Войнаровский, Полуботок – молодые люди, горящие любовью к родине, гордые и решительные. Допетровская Русь бьет в новгородские колокола, легендарный Вадим поднимает новгородский народ против Рюрика.

*Ах! если б возвратить я мог
Порабощенному народу
Блаженства общего залог,
Былую праотцев свободу...*

За окном Петербург и осень, они для него едины: во всякое время года в Петербурге для него – осень. Он сидит в лавке Слепнина с неизменным Измайловым, тот весел и нравоучителен:

– Не дразни собаки – хозяин не ощерится.

Кондратий Федорович печалится о судьбе гостилицких правдолюбцев, корит себя:

– Видеть несправедливость и молчать – это значит, самому участвовать в ней.

– Э, молодой человек, – усмехается Александр Ефимович, – не берите на себя много, плетью обуха не пере-

шибешь: все чиновничество повязано между собою незримой нитью, в их сообществе своя жизнь, свои законы, но что они захотят сделать в своем незримом мире, то и произойдет, то и будет, кстати, сие — существеннейшая особенность единоправия. А может быть, времен, в которых правят господа Аракчеевы: они же пишут на своих графских гербах девиз «Без лести предан».

— Бес, лести предан! — отзывается пушкинской переделкой Рылеев. Он резко поднимается над столом: — Существеннейшая особенность! Кто больше всех пресмыкается перед высшими, тот походя топчет тех, кто стоит ниже!

15

В бытие Петербурга много тайного: тайно вершат людские судьбы чиновники, тайно замысливаются законы, тайной жизнью живут многие. За жившими на виду часто разверзаются бездны тайных пороков, за жившими тайно — открываются светлые дали помыслов.

Московский съезд распустил Союз, но он продолжает жить в мыслях людей, соединенных общим мнением.

Ушедший в белорусский поход Никита Михайлович Муравьев ночи и дни просиживает в Минске над страницами Конституции будущей России. Рождением и образованием он обречен на высший свет, высокие посты и ордена, ему содействует в службе могучая троика: министр юстиции, министр двора и всевластный граф Аракчеев. Никита Михайлович может изучать политику, не выходя из дому: дед и отец были близки к престолу, отец был воспитателем нынешнего государя; стоит только почитать переписку деда с отцом, она скажет о многом. «С переменой любовника у ее императорского величества может измениться настроение, а вместе с тем измениться судьба империи», — предупреждает дедушка. Батюшка с меньшей

достоверностью возражает: «Великой перемены не будет, она коснется лишь двора, за вельможей, ставшим любимцем, поползет толпа подчиненных, его родня, его приятели, его заимодавцы, все будут находить в нем достоинства и разум, коих раньше не замечали или в существовании которых были усомнены...» Капитан обречен на большую судьбу, но очертания ее видны пока только ему да его тайным единомышленникам.

В минской квартирке на лист бумаги в белом круге абжура крупными буквами ложатся строка за строкой:

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НАЧЕРТАНИЯ УСТАВА
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОГДА Е.И.В.
БЛАГО УГОДНО БУДЕТ С ПОМОЩЬЮ ВСЕВЫШНЕГО
УЧРЕДИТЬ СЛАВЯНО-РУССКУЮ ИМПЕРИЮ.

«Опыт всех народов и всех времен доказал, что Власть Самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна ни с правилами Святой Веры нашей, ни с началом здравого рассудка. Нельзя допустить основанием произвол одного человека; невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности – на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, Государи забыли, что они в таком случае вне законов, вне человечества...»

Ум его постоянно занят этой работой. В офицерской компании молодой генерал из либералистов вспоминает известное положение Монтескье:

– Свобода есть право делать все то, что разрешают законы.

Муравьев немедленно отзывается. Он горяч, он вспыхивает сразу:

– Я считаю подобное определение недостаточным.

Разве я свободен, если законы налагают на меня притеснения? Разве я могу считать себя свободным, если все, что я делаю, только согласно с разрешением властей, если другие пользуются преимуществами, в которых мне отказано, если без моего согласия могут распоряжаться даже моей личностью? При таком определении русский крестьянин свободен: он имеет право вступать в брак и так далее...

Никитой Муравьевым изучены философские системы мира, конституции стран Европы и Америки. Он привезет в Петербург окончательное мнение: Верховной законодательной властью должно стать Народное вече, состоящее из двух палат: Верховной думы и Палаты народных представителей.

Гвардия вернулась в столицу осенью. Тогда же было образовано Северное общество. В его Думу вошли капитан гвардейского Генерального штаба Никита Михайлович Муравьев, поручик лейб-гвардии Павловского полка князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейб-гвардии конной артиллерии Иван Иванович Пущин.

Программный документ Общества — Конституция Муравьева.

В писательских клубах, в гостиных Кондратию Федоровичу все чаще кажется — жизнь повторяется, если не с первой-второй страницы, то с третьей-четвертой: те же слова, что и в офицерском застолье его роты или за вечерним чаем у его острогожских родственников о вольности, равенстве, крепостном праве, военных поселениях, равнодушии правительства к нуждам народа; в лицах столичных статских узнаются черты любомудров степных поместий, в лицах военных — офицеров конно-артиллерийской роты. Он даже начинает порой чувствовать себя прапорщиком...

Со времени Отечественной войны прошло десять лет.

Двенадцатый год живо встает в публикуемых документах, воспоминаниях, рассказах.

В «Сыне Отечества» Рылеев прочитал написанную с иронией критику на статью неведомого поручика Н.И.К. «1812 год. Бой под Смоленском», в коей невежество в военных вопросах усугублялось ветхозаветностью выражений. Критик не то что слова – ни буковки не оставил от сего творения, сам же блистал глубоким познанием, изысканным слогом. В конце критического разбора стояло: П. Муханов.

На вечере у издателя «Сына Отечества» Николая Ивановича Греча Рылеев встретил высокого офицера, монументального, с тяжелой медью волос – будто один из его ротных Медных Всадников, Унгерн-Штернбергов.

– Поручик Муханов, – представился тот. – Петр Александрович.

– Я не обольщусь мыслью: вы тот, кто дал второй бой за Смоленск?

– Не обольститесь.

У Греча – пестрая компания на вечерах.

Разговор заходит о судьбе «Общества для учреждения училищ по методе взаимного обучения». Созданное четыре года назад заботами многих, в первую голову – Греча и Федора Глинки, оно открыло бесплатное училище для крестьянских детей, бедных мещан и мастеровых. Подобные школы стали возникать по всей России и даже в полках гвардии. И тут взбунтовался Семеновский. Государь император пишет из-за границы: «Все эти радикалы и карбонарии, рассеянные по Европе, именно хотят заставить меня бросить начатое дело... Наблюдайте бдительно за Гречем и за всеми бывшими в его школе солдатами или маленькими девочками...» Вокруг общества началась подозрительная возня, и оно решило самораспуститься.

Сейчас единомышленники Греча язвят по случаю, распевают панегирик розге из школьного букваря:

*Розга ум вострит, память возбуждает
И волю злую в благо прелагает...*

Ныне уже все видят: правительство страшится нововведений во всех отраслях государственности, но в обучении – особенно.

*Бич возбраняет скверно глаголати
И дел лукавых юным соделати...*

В другом конце комнаты полковник свиты его величества волнуется господ офицеров воспоминаниями о давнем:

– В декабре Двенадцатого курляндский генерал-губернатор доносил министру полиции, что арестовал и посадил под стражу чиновников, которые изменили присяге России и служили неприятелю. Особенно он был разгневан делами советника Шепинга...

– ...Шепинга! – краем уха уловил Рылеев.

– ...намечался отдать его под суд. Но дворянство края спасало своих виновных, дескать, служили под страхом расстрела. Посылало куда надо бумаги, депутации – и министр полиции уже через неделю сообщает, что господа остзейцы могут быть спокойны. И прилагает указ государя: «Жители Курляндии во время нахождения неприятеля в наших пределах не выказали ему никакой открытой привязанности, исключая немногих...» Поэтому одним объявляется благодарность, другим – всеобщее помилование, их деятельность предается забвению...

– Это какой Шепинг? – спрашивает Рылеев.

– Да, господа, неважно. Не в немцах дело. Истинные немцы в Двенадцатом году сформировали у нас добровольческий легион: две бригады по четыре батальона в

каждой, два гусарских полка, роту егерей и артиллерийскую бригаду. В составе легиона сражался подполковник Карл Клаузевиц – нынешнее светило военной науки...

Гостиная велика, стол огромен. Гости давно разбились на группки – в каждой свой разговор. Кондратий Федорович пытается Муханова:

– Какою темою ныне заданы?

– Нечто о Фридрихе Втором и Наполеоне.

– Да, да, конечно, мы собственной истории не имеем...

Поручик вспыхнул ярче своих рыжин.

– Ее пишут за пределами нашего государства, для нас она за семью замками.

– А Карамзин?!

– Только он и есть...

Огни свечей играют на гранях фужеров, шампанское возбуждает, высоко воспарившие души требуют поэзии. За чем дело стало?! Кондратий Федорович поднимается над столом, и рука его вознесена. Стихи о Державине:

К неправде он кипит враждой,

Ярмо граждан его тревожит:

Как вольный славянин душой,

Он раболепствовать не может.

Рядом оказывается Николай Иванович Тургенев:

– Я читал ваши возражения по делу крестьян графа Разумовского и признаю их резонными. Вместо следствия у нас вынуждение признания, но не уличение. Приговоры сплошь и рядом выносятся без следствия. А если оно проведено, то чаще беспристрастности в нем нет и следа. Такая уродливая традиция...

Хозяин гостиной смотрел через залу на эту пару, недоумевая: о чем этот аристократ, геттингенский бурш, член Государственного совета может беседовать с недавним прапорщиком из провинции?

«Рабы, влачащие оковы, высоких песней не поют».

Дух стихотворения Федора Глинки – общий дух «Полярной Звезды». Глинка – полковник детского роста, но за ним Аустерлиц, Отечественная война, о ратных подвигах его говорят золотое оружие, многочисленные ордена. Вступив в тайное общество, он ставит перед собой целью при любой возможности порицать Аракчеева, военные поселения, рабство и палки, жестокость и предвзятость уголовной палаты.

«Рабы, влачащие оковы, высоких песней не поют».

Но издание альманаха задерживалось.

Поручик Бестужев звенел шпорами, саблей, стучал обоими кулаками об стол: как так! Всё, что хочет слышать и знать Отечество, есть в «Полярной Звезде!» Собственный его «Взгляд на старую и новую словесность в России» – не из тех откровений, кои могут годами пропадать втуне: прослежен путь российской словесности от полумифических ее истоков до последних лет, она должна проникнуться его идеей, воспрянуть и заблестеть. Публика ждет, а тут какой-то цензор, какая-то цензура!

Адъютантская лестница Александра Александровича круто возносила ступени вверх: от графа Комаровского к генерал-лейтенанту Августину Бетанкуру – главноуправляющему путями сообщения, испанцу. Стремительный адъютант немедленно овладел сердцем красавицы Матильды – дочери своего патрона.

Матильда свиданья назначала сама, но каждый раз неудачно: матушка застигала врасплох влюбленную пару.

– Молодой человек! Вы не на маневрах гвардии!

– Пардон, мадам! – откланивался поручик.

Матильда убегала в спальню, запиралась, из-за двери сквозь рыдания выкрикивала матушке:

– Как вы могли! Как вы могли!

Та поняла своим еще молодым сердцем — дело серьезное и отвезла дочь в Москву; подбивала шестидесятичетырехлетнего толстяка супруга избавиться от искуителя-адъютанта.

Но Августин Августинович души не чаял в поручике Бестужеве. Архитектор, он основал в России Корпус путей сообщения, но вскоре понял, что в этой стране дорог не строят — лишь присыпают-выравнивают пред инспектирующими чинами. Россия многим озадачивала его. При восстановлении московского Кремля после французских варварств генералу Бетанкуру повелели снести древнейшую церковь Николы Голстунского, возвести на ее месте экзерциргауз — манеж для фрунтовых занятий... Сам не чуждый изящной словесности, генерал ценил талант адъютанта, но и жалел, что тот не окончил Горный корпус: много шире видел бы жизнь государства. Александр Александрович то ли в шутку, то ли всерьез объяснял: боялся, что служить направят в Сибирь.

— Матушка, — успокаивал я родительницу, — ведь нашлю впоследствии, так меня и без Горного корпуса сошлют в Сибирь.

Августин Августинович исходил хохотом.

А лестница возносилась вверх: наметилось место у герцога Александра Вюртембергского, брата императрицы Марии Федоровны, белорусского генерал-губернатора, — поручик загодя появился в Витебске, очаровал августейшее лицо обходительностью, познаниями, острыми анекдотами — герцог собирал к обеденному столу господ генералов послушать будущего своего адъютанта.

Адъютант помысливал, как бы махнуть в Выгоничи, к Войдзевичам, но времени не выкраивалось. А было бы расчудесно!

Неторопливый Дельвиг появлялся на Васильевском у Рылеева, нет-нет — спрашивал: как дела с альманахом в Цензурном комитете. Ожидание томило всех авторов — не

вытравят ли дух его, альманаха? Антон Антонович снимал очки, вспоминал лицейские годы.

– Из профессоров Лицея первым называют Куницына, реже прочих – Кайданова, между тем ему я обязан многим; он поразил меня двумя цифрами: в России шестнадцать миллионов ревизских душ, ими владеют двести двадцать пять тысяч дворян. Во-первых, подумалось: почему миллионы бессильны против тысяч, во-вторых: на каждого дворянина – высчитал – приходится семьдесят одна целая и одна в периоде ревизская душа. В-третьих, развеселился: на меня не приходится и одной в периоде – наше семейство бездушное.

– Мое – из малодушных. Но что за этим стоит?

– Стоит вопрос: кому-то же принадлежат миллионы?!

– Пятистам-шестистам фамилиям.

Осенний день быстро гас над городом; в Шестнадцатой линии, между Большим и Средним проспектами, в деревянном домике зажигали свечи, Наталья Михайловна приглашала мужчин к вечернему чаю. Они вели свои разговоры и за столом, вспоминали первые встречи, колкие, чуть не приведшие к дуэли. Кюхельбекер, вытребованный из Парижа, ныне на Кавказе, у Ермолова, Пушкин – третий год на юге...

– Странно, – недоумевал Кондратий Федорович, – просматривая журнал заседания общества любителей российской словесности, я ни разу не видел его имени.

– Он не был членом Вольного общества: его приему противились, в главных противниках ходил министр народного просвещения. Оно у нас начинает противоположный смысл нести, просвещение, – Антон Антонович внушительно помолчал. – Глинка нашел оригинальный выход: тем, кто спрашивал, почему Пушкин не принят, отвечал: «Овцы стадаются,

лев один ходит». Дельвиг опять помолчал, и вдруг хохотнул: — Он действительно часто один бывает, потому и зовет себя пустынный, то в разговоре, то в стихах. Написал в Лицее стихи в честь бракосочетания августейших особ, получил в подарок часы, разбил их о каблук и изрек:

*«Простите мне мой страшный грех, поэты:
Я написал придворные куплеты...»*

В конце ноября цензор подписал в печать рукопись альманаха — составители отстояли в нем каждую строку, каждое слово. В конце декабря «Полярная Звезда» поступила в лавку Сленина.

И сразу привлекла внимание читателей. В обеих столицах — только и разговоров, что о ней.

Книга в лавках не залеживалась. Через неделю не осталось ни одного экземпляра.

В журналах, газетах — похвалы, похвалы, нападки многочисленны и глухи.

Нежданный доход — около двух тысяч. Авторы альманаха получили полновесные гонорары. Дельвиг изумлялся:

— Надо же какой счастливый год удался!

Кроме гонорара, у него еще одна неожиданность: библиотека за тринадцать месяцев службы без жалованья до утверждения в должности наградила его тысячью рублями.

17

Полозья свистят по ровной дороге, соловые бьют под себя версты, искрится снег, впереди горят золотом купола церквей. Поручик спохватывается: надо бы въезжать с Поклонной горы — Белокаменная лежала бы перед ним, как павшая ниц. Но у славы легки крылья — далеко впереди летит. Ему Поклонной горы не нужно: он обречен на успех во всех своих начинаниях, а слава — только ключ, открывающий любую дверь.

- Каким счастливым провидением вы в Москве?
- По долгу службы!

И это так. Герцог пристроил его к свите голландского наследного принца. Женатый на сестре русского императора Анне Павловне, он знакомится с родиною супруги, а поручику хочется собственными глазами видеть триумф «Полярной Звезды» в Москве.

На балах, званых вечерах Александр Александрович останавливается возле немногих.

Возле профессора медицины Лодера. Профессор совершенно в духе головокружительного поручика. Войска идут на парад – и посреди них профессор в карете. Подскакивает полицейский начальник, кричит кучеру: «Назад пшел, назад!» Лодер высовывается из окна, машет кучеру ручкой: «Вперед, вперед!». Начальник – профессору: «Не велю, – кричит – я обер-полицмейстер!» – «А я, – кричит в ответ тот, – Юст Христиан Лодер! Вас знает только Москва, меня – вся Европа!» – и приезжает на парад, и встает, где хотел.

– Слава, молодой человек, за очи хвалит. Держитесь ее, держитесь, – говорит он. «Гномо сапиенс» – его прозвище у студентов. Старичок невелик, шамкает, но язык на месте: «Всяк о себе, – наставляет, – один Бог за всех».

...Останавливается возле членов известного московского «Ордена пробки», известных графа Толстого, князя Вяземского, гусара Давыдова. Напевает между прочим их гимн:

Все искрится – вино и шутки!

Глаза горят, светлеет лоб.

И зачастую в промежутке

За пробкой пробка хлоп да хлоп!

Доказывает: не чужероден и осведомлен.

– Северный вихрь нам любезен, – говорит Толстой, у которого прозвище Американец: в первом русском кругосветном

путешествии он, офицер, за буйство нрава высажен на каком-то острове, через Камчатку и Сибирь пешком возвращается в Россию, где им на дуэлях убито одиннадцать человек, картежный шулер и ерник, он, однако, любимец света: надежен в дружбе, щедр и гостеприимен. Женат на цыганке. Какой бы дворянский род решился выдать за него свою дочь?

Тело его растатуировано дикарями, он гордится этими росписями: кое-какие показывает дамам, другие – мужчинам, для чего они удаляются в отдельные комнаты.

Князь Вяземский, Петр Андреевич, прятал смеющиеся глаза за стеклами очков, острил, хвалил их с Кондратием Федоровичем как авторов и издателей: у Бестужева две повести в альманахе, у Рылеева – четыре думы.

– Вам не надо как древнему Алкивиаду отрубать хвост у своей собаки, чтобы привлечь к себе внимание.

Он хвалит их, а речь его о многих и многом сразу, он неожидан и замысловат, но главное – он поощряет дух издания.

У Дениса Давыдова и сабля остра, и язык, но, «пробочник», он поддерживает тихомирный тон собратьев:

– Спасибо вам, молодой человек! Нам-то казалось, что ныне в армии источником высоких поэтических наслаждений есть вытягивание носков, равнение шеренг и выделявание ружейных приемов.

– У нас что угодно есть, Денис Васильевич!..

– Но чаще по бороде Авраам, по делам Хам?

Он все мотает себе на ус – для будущих повестей.

И эта встреча!

Объявлен котильон. Наметанным глазом он избрал в дальней стайке юных красавиц одну – с гордым станом, высокой головкой, направил стопы чрез залу – и понял: – Матильда. Ослаб духом. Однако не отступать же!

Поездка в Москву имела еще одну цель: Первопрестольная – ярмарка невест, а он подумывал о женитьбе; его веселая

слава в головах петербургских девиц не совмещалась с обликом будущего супруга, он был кумиром женщин.

Она казалась скучающей, равнодушной, будто вовсе не он танцевал с нею, сверкала бриллиантами, золотом, красотой – отвергающая, холодная. Он почувствовал: не матушку, его винит она, что выслана из Петербурга. Почувствовал – и сбился с такта, но это куда б ни шло – наступил сапожищем, о, конфуз! – на ножку дамы.

Она отвернула лик.

Находчивость не изменила Александру Александровичу. Он остановился, побледнел, попросил извинения: продолжить танец не может; будто делая над собой усилие не хромать и все же хромя, отвел сеньориту Бетанкур на место.

Профессор Лодер поспешил на помощь: старому завсегдатаю балов и обедов известны повадки кумиров света. Диагноз произнес так, чтоб услышали окружающие:

– Я отвожу вас в госпиталь, душенька, – сложнейший подвывих. Сложнейший, – произносил и знал: слова сейчас же дойдут до ушек молодых прелестниц. – По старой дружбе мне там не откажут, – профессор до перехода в университет служил старшим врачом госпиталя, – у них есть прекрасная офицерская палата.

Утром у подъезда госпиталя толпились возки, служители приносили Александру Александровичу вороха цветов, в букетах он находил записки, в коих значительными были не слова – имена.

Разучивал с офицерами песенки, сочиненные петербургскими друзьями, не выпускал из рук гитару:

*Дева, дева! в сень дубровы,
К речке, спящей в камышах,
Приходи: Эрот суровый
Мне уж в трех являлся снах!*

Его звезда не скрывалась в тумане, не заволакивалась тучами – просто ее долго не было на небосводе, но во вселенной души собирались, накапливались силы, превращались в субстанцию, вдруг засветившуюся и обретшую вид звезды – она взлетела над горизонтом русской словесности сатирой на Аракчеева, вспыхнула и определилась по яркости звездой первой величины.

Кондратий Федорович итожил жизнь: третий год в столице, может быть, третий год в литературе, он принимаем всеми, со всеми знаком: обедает у Греча и Гнедича, сотрудничает с Булгариным, признан Жуковским и Карамзиным. Вяземский признается в письмах из Москвы: читает «Думы» с живым удовольствием, они столь отличны от безликих творений нынешних стихотворцев.

«Одно нынче – лучше двух завтра», – прошлым летом говорила Матрена Михайловна в Подгорном. Осиротевшее сердце сокрушалось по ушедшему в иной мир Михайле Андреиче: семенила за ним по жизни, считала себя обделенной счастьем, тайно ждала – придет день, который изменит все, подарит ей то, чего не видела она в прежних днях; тот день виделся ей без Михайлы Андреича... Какую беду накликала на себя нечестивой надеждой! Старушка крестилась, вздыхала и смиренно произносила: «Ныне да завтра, да так все и проходит». Ее слова отозвались в душе Рылеева тревожным напоминанием – время! Оно невосвратимо уходит. Но вечность – это еще так далеко... Из Палаты он летит на званный обед, окрыленный, воспаряет стихами над всеобщим вниманьем. Потом до утра засиживается над рукописями.

Наташе делается тревожно от такой его жизни – от преуспеваний, званых обедов, бессонных ночей, будто несет в себе эта жизнь какие-то страшные начала. То

малюткой Настенькой старается его занять, то собственным разговором:

– Унгерн-Штернбергов ты называл Медными Всадниками потому, что их в Петербурге тоже два?

– Да?

– А как же?! У Михайловского замка и на Петровской площади. Но какие разные: у Михайловского замка государь едет на спокойном коне и сам спокоен, а на Петровской – страшный, вздыбленный...

«Славная она у меня», – думает он, не замечая, как уходит к своим мыслям. Пушкин сколько ни сопротивлялся, а признал-таки его, прочитал «Ивана Сусанина» и пишет: первая дума, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант. Так-то вот, друзья-товарищи, столичные писатели! «Чтобы владеть с честью пером, должно иметь больше мужества, нежели владеть мечом». Так сказано Николаем Ивановичем Гнедичем. «Иван Сусанин» читаем всюду, расходится в списках по России; к Державину и Жуковскому, наизусть заучиваемых в гимназиях, ныне присовокуплен он, Кондратий Федорович: министерством просвещения велено каждому гимназисту знать назубок «Ивана Сусанина»...

*Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело.*

Великий князь Николай Павлович инспектировал лейб-гвардии Измайловский полк: шаг широк, ступни высоки, носки вытянуты и ровны – хоть проверяй линейкой; штыки не западают, вперед не вываливаются, не колыхнутся кивера. У Измайловского полка знатные экзерциторы.

Великий князь привел с собою на плац саперного полковника немца – профессора шагистики.

– Ну, каковы мои измайловцы?! – великий князь сам отменный строевик, сам будто только что изъятый из строя

и выставленный пред ним примером для подражания, не скрывает гордости и восторга: — Как заведенные!

— Отменны, ваше высочество! — полковник не столь величествен, даже — только бы не обидеть! — мужиковат, с лицом беспородным, однако по части фрунта — дока, по части обхождения — тоже. — Отменны в движенье, но в стойке есть упущенье.

Объяснил, что к чему:

— Солдат будет совершенным монументом, если в стойке сожмет... — он не находил поизящней слова, пытался объяснить его смыслом руками, описывал в воздухе два соприкасающихся полуовала, но великий князь не понимал; под его ждущим взглядом наконец отыскались замещающие слова: — ...сожмет задние щеки!

Его высочество осмыслил рекомендованное, кивнул сам себе и для проверки вывел из строя трех ефрейторов.

— Глаза направо! Смирно! — осмотрел спереди-сзади, поприщурившись, постоял с флангов. — Вольно! А теперь по команде «смирно» сжать... — он не воспользовался деликатной находкой полковника. — Глаза направо! Смирно! — всмотрелся в ефрейторов, обошел спереди-сзади. — Вольно!

И повернулся к полковнику.

— А ты прав, дока.

Для отработки впечатляющего приема отобрали четвертую роту. Командовал Николай Павлович, великий князь, Его Высочество — и был удовлетворен. Но что это? Глаза князя похолодели: левофланговый против новшества?! Он побежал в конец строя.

— Ты что, скотина, не слышишь?!

И — в кровь истуканью рожу, бессмысленно хлопающую глазами. Обучение новому продолжалось.

В четвертой роте офицеры обсуждали случившееся. Стыд и срам, чем они занимаются! Лицеисты, в какой-то год насмотревшись на их экзерциции, обнаружили сущес-

твование в мире науки, нареченной ими шагистика. Для нее вполне приличны слова из лексикона великого князя.

– Мы обучаем ноги, а надо бы о голове подумать.

– Это слишком высоко, господа, – поручик Муханов, Рыжий Галл в кругу друзей и семьи, будто растягивал в обе стороны и без того длиннющие усы. – У нас предпочитают глядеть пониже и с тыла.

Комната взорвалась смехом.

– Видимо, разговор весьма занимателен, в другой раз прошу пригласить послушать, – в дверях дежурной комнаты стоял великий князь. – А пока ротный командир ко мне.

Смех смолк. Капитан направился к выходу.

Оправдывающийся голос ротного в соседней комнате не был слышен с отчетливостью, но голос Николая Павловича рокотал:

– Я делю всех моих офицеров на три разбора: на искренне усердных и знающих, на добрых малых, но запущенных и на решительно дурных, то есть говорунов, дерзких, ленивых и совершенно вредных. Последних я преследую без милосердия, пока не добьюсь их выхода из полка.

Господа офицеры глядели на Муханова.

– Да, это в мой огород камешек! – согласно кивнул он и развел руками.

Лейб-гвардии Измайловский полк славен образованностью и знатностью своих офицеров. Родственники поручика Муханова имеют присутствие во всех учреждениях государства, в Зимнем дворце тоже. Но это ничего не меняет... Всем известно, кто такой великий князь: солдафон, злая память, холодный ум и простоватость.

19

Февральский ветер из конца в конец продувает проспекты на Васильевском острове. Муханов укрывается

воротником шинели, добро бы им укрыться от невзгод службы: Николай Павлович начнет изживать его из полка, чинить конфузы – надо уходить без извинений и сожалений. Он едет за советом к Рылееву.

В Шестнадцатой линии деревянный дом светится зажженными лампами, о случае в лейб-гвардии Измайловском здесь уже знают – и о словце великого князя, и об ответе Муханова.

Александр Александрович и редкий гость, князь Оболенский, вечеровали у Кондратия Федоровича. Бестужев упражнялся в сочинительстве стишка, в коем словцо его высочества соседствовало бы с именем его изрекателя, но дело не клеилось, он брал гитару, напевал на мотив «Черной шали»:

*Гляжу я безмолвно на кончик носка,
И хладную душу терзает тоска,
Неопытны лета, рассудок плена,
Мундир, эполеты прельстили меня.*

Служба не тяготила Бестужева, времени не отнимала, герцог, обвороченный сорвиголовой адъютантом, потворствовал во всем, в чем можно было потворствовать, а также в том, в чем нельзя. Амурное влияние Александра Александровича на светских дам не ослабевало, он простирали его на Москву, на Петербург и его окрестности, но и далее, далее. Им только что отправлено письмо в Выгоничи: «Ясновельможный пан, ваши дела в сенате продвигаются успешно, я сам говорил с сенатором Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, полагаю, и в Выгоничах у вас все прекрасно. Каковы виды на жатву? Если мои желания смогут заменить дождь, то она будет обильной». И сестрам по-французски: каковы новые развлечения минских барышень, как они провели зиму? Ему скучно в его петербургском «блестящем круге»; он высылает им «Полярную Звезду», недавно изданную вместе с Рылеевым, публика

довольна ею, она быстро разошлась в тысяча двухстах экземплярах – это неслыханная вещь в России, он желает, чтоб она им понравилась.

Князь Оболенский на год моложе Рылеева.

Возвратясь из белорусского похода, он стал встречать в среде литераторов молодого человека со слегка вьющимися волосами, зачитывающего публику стихами, высказывающего мысли, бродившие и в его, княжеской, голове. В разговорах Кондратия Федоровича, в чертах его лица с разлетающимися длинными бровями, в выдвинутом вперед подбородке проявлялась, как думалось ему, та решительность, которой не хватает его друзьям и самому ему, Евгению Петровичу. Он вошел в дружбу с поэтом и с каждой новой встречей проникался большей приязнью. Свободолюбие, чистые побуждения, защита бедных в уголовной палате, само это поприще, пользующееся дурной славой, но облагораживаемое им своим присутствием и деятельностью, все создавало образ цельного человека, Либерала, – имя, которое он дал Кондратию Федоровичу.

В двадцать семь лет поручик – не слишком высокая ступень в военной карьере; князь Оболенский до восемнадцати лет воспитывался дома, изучал языки – французский, немецкий, английский, а также историю, географию, математические науки, политическую экономию. В восьмьсот четвертом по желанию отца поступил юнкером в гвардейскую артиллерию, через три года подпоручиком переведен в лейб-гвардии Павловский полк; в восемнадцатом – принят в Союз Благоденствия, в Северном обществе входит в состав Верховной Думы.

Князь тонок, голубоглаз.

– Измайловский полк – зеркало России, – говорит он, – правительству желательно видеть ее выэкзерцирован-

ной, как этот полк. Свидетельство тому – учреждение военных поселений, а чуть не туда глаза повернула – морду в кровь.

Кондратий Федорович медленными шагами ходит по комнате, с наклоненной вперед головою, что, по наблюдению князя, выказывает в нем работу мысли: сейчас останется, скажет, как всегда, веское, точное слово.

– Муханов прав: для них задница важнее, чем голова. К тому же последняя представляет опасность для единоправия – начнет рассуждать и дорассуждается до...

В гостиной послышалось движение, голос, открылась дверь – на пороге возник Муханов.

– А, Петр Александрович! Мы тут как раз о вашем случае разговариваем.

В руках Александра Александровича оживает гитара:

*Лишь только я в двери, – а князь у дверей,
Толкует невежам науку царей:
«Смотрите, как ходят! Носки вверх торчат!
Колени согнуты...*

– Случай из обычных. А головы действительно могут дорассуждаться, – усаживался Муханов. – Но есть два только, первое: надо бы давно начать рассуждать, – мельком взглянул на Оболенского, – второе: надо думать, куда теперь приткнуть собственную голову.

Образовалась тишина. Потом Бестужев тронул струны и сказал:

– Разумеется, из полка надо уходить, не ждать, когда вытурят. – И запел:

*– С тех пор я по службе не справлюсь никак,
Все, как ни стараюсь, клеится не так...*

Они разговаривали долго, перебирали знакомых, родственников, всех, кто мог бы содействовать.

Перед Пасхой последовал приказ о назначении поручи-

ка Муханова в Киев – адъютантом командующего четвертым корпусом генерала Николая Николаевича Раевского.

В прошлые рождественские праздники великий князь Михаил Павлович выговорил в Зимнем поручику лейб-гвардии конной артиллерии Ивану Ивановичу Пушину за не по форме повязанный темляк. Поручик вспыхнул и подал в отставку. Получив оную – привел в ужас родственников другою крайностью: решил пойти в квартальные надзиратели. Отпрыск древнего рода, гвардии поручик, сын генерал-интенданта флота, сенатора – и эта жалкая, презираемая всеми должность! Но Иван Иванович стоял на своем:

– Хочу показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унижительной.

Изложил: не сама должность презренна, ее таковой сделали справляющие ее. Отечество учредило должность, потому что она нужна ему, а мы все служим Отечеству...

Но уговоры подействовали: избрал себе другое поприще, тоже, правда, вызывающее сочувственную усмешку: член Петербургской палаты уголовного суда, да к тому же определился сверхштатно, без жалованья. И встретил там еще одного артиллерииста.

– По каким целям стреляете, Кондратий Федорович?

– По беззаконию.

– А прочие члены Палаты?

– По законам.

– Вы слишком наблюдательны и остры, – Пушин на три года моложе Рылеева, но привычка разговаривать с собеседником свысока жива в нем, он ее не замечает. – Эти качества смущают не только квартальных надзирателей, но и его Императорское Величество.

Новый сослуживец насмешлив, высок – Большой Жанно. Произнес слова и ждет, каков будет ответ.

– Его величество не только слышит острые слова, но и видит проявление мысли народа действием, – намекнул Кондратий Федорович на волнения крестьян и военных поселений.

– Вы еще не состоите под наблюдением тайной полиции? – усмехнулся Иван Иванович. – Да только об чем это я?! Вы же состоите под личным наблюдением графа!

– Ну, граф милосерд...

Иван Иванович развеселился более.

В октябре на квартире Пущина состоялось заседание тайного общества. Каждый из присутствующих наименовывал новых лиц к принятию. Пущин наименовал Рылеева.

Они из гостиной вошли в кабинет.

– Он ваш, – сказал Иван Иванович.

В кабинете сидело несколько человек, взгляд Рылеева хватил двоих: поручик князь Оболенский и капитан Муравьев.

За Оболенским он чувствовал существование некой силы, придающей его мягкой душе твердость, воззрениям – устойчивость. К тому же он был открыт и близок. Но капитан Муравьев и тайное общество?! За Никитой Михайловичем – высший свет, несметные богатства, недоступность и замкнутость. И происшествие юности, навсегда соединившее его имя с Двенадцатым годом. Со списком французских маршалов, во имя спасенья Родины подлежащих немедленному уничтожению, он бежит из дома с надеждой проникнуть в стан неприятеля. Осуществить задуманное помешала крестьянская подозрительность: в одном селе признали его за французского лазутчика, избили, доставили в Москву, к генерал-губернатору Ростопчину. Граф узнает в нем сына покойного своего приятеля, узнает, в чем дело, и отправляет юного воителя к матери с изъявлением признательности за воспитание такого отрока и напутственными словами:

– Воистину говорят: не хвались отцом, хвались сыном молодцом...

Тайное общество о будущем России думало в подробностях – даже намечало лиц, достойных войти во Временное правительство. Первым в списке – Сперанский. Кое-кому известны его слова, сказанные Государю:

– Время есть первое начало и источник всех политических обновлений. Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против его действия устоять не может.

Вторым внесен Николай Семенович Мордвинов. Его советы монарху созвучны мыслям Сперанского:

– Предварительные против рабства восстания со стороны крестьян наших несколько раз уже ознаменовывались. То были частные покушения, для усмирения коих правительство доньше имело достаточные силы. Но приближается время всеобщего возмущения. Время наступило думать о принятии мер против сего пагубного для российского дворянства возмущения.

Мордвинову скоро семьдесят. Тридцать шесть лет он носит адмиральские эполеты, граф, сенатор, член Государственного совета, экономист, признаваемый Европой, владелец бесчисленных имений во всех концах империи, он подает Государю записку: «Об изыскании способов к улучшению состояния крестьян и к постепенному освобождению от рабства как их, так и дворовых людей».

Почетный член Вольного общества любителей российской словесности Мордвинов с регулярностью ходит на его заседания.

Вдова Гавриила Романовича Державина в память о незабвенном супруге устраивает одно из заседаний общества в своем доме – и там появляется граф Мордвинов.

– Рада видеть вас, Николай Семенович, во здравии, – встречает гостя Дарья Алексеевна. – Каким колдовским воздухом вы дышите?!

– Воздухом их молодости, – показывает глазами на шумную компанию писателей, профессоров, офицеров седовласый старик, осанистый и высокий. Неожданная улыбка освещает его решительное лицо. – Нет колдовства выше.

– Ах, молодость! – Глаза Дарьи Алексеевны поднимаются к потолку, рука прижимается к груди: – Ах, молодость...

Рылеев читает собравшимся свою оду «Державин»:

*Наш дивный бард не умирал,
Он пел и славил Русь святую!*

Николай Семенович будто возвращается в свои молодые лета, в них звучит живой голос Гаврилы Романыча, восхваляющий воинскую доблесть, честь, женские чары; императрица Екатерина Вторая является мысленному взору и возлагает лавровый венец на главу барда; является император Павел и осложняет жизнь поэта и статс-секретаря матушки; является император Александр и делает его министром, с коим бывал не в ладу он, Мордвинов.

Рылеев мерцает глазами, одну строку проговаривает быстро, не переводя дыхания, другую – по слову:

*Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил...*

Дарья Алексеевна рядом промокает глаза платочком, благодарно шепчет:

– Шарман, шарман...

А граф ловит себя на том, что нить воспоминаний о расхождении во мнениях по крестьянскому вопросу с министром Державиным оборвалась – он думает уже о Рылееве, о том, что в старые времена не знал людей подобного рода.

Вслушивается в молодые голоса России, всматривается в свое прошлое... да, лестницу метут сверху. В молодых голосах – отголоски его мыслей. Русская литература, паче – история стыдливо не касаются пикантностей, в особенности кровавых, будто бы их не было, будто бы не повторялись они

в поколениях и веках; чем кровавее правление, тем молчаливее отечественная литература – ее молчание потворствует единоправию на Руси в совершении злодеяний против собственного народа. Но Русь заговорила!..

Полковник Глинка представляет графу Рылеева. Граф слушает его и утверждает в догадке: в России существует тайное общество.

Кондратий Федорович ревностно служит новому делу, ищет единомышленников всюду, его «Думы» – в тайных тетрадах офицеров гвардии рядом с высказываниями великих, рядом с письмом генерала Ермолова Александру Первому: «При владении тирана правительство ведет непрестанную войну со своими подданными, оно нападает на них со стороны законов, их имущества и чести, а им оставляет единое глубокое чувство собственного бедствия...»

Петербург полнится слухами, толками. В салонных безднах малая малость, пустяк, слух превращаются в событие, тайны двора становятся обиходной притчей, запрещенное – модой. Не разрешена в империи «Ля Пуцель Д'Орлеан» – («Орлеанская девственница») – Вольтера за непочтительность к Богам и церковникам, потому у каждого на руках; великий князь Константин Павлович, получив под высокую руку Царство Польское, обращается с поляками круто, непокорных топчет в Висле, потому общество задается вопросом: что навело цесаревича на мысль сделать из Вислы аквариум? Неподвластный понятиям совести, чести Булгарин, оказывается, живет под каблучком у тетки жены – танты, и это мотает на ус... После смуты в Семеновском полку прошел слух: Греч подбил полк на это, за что был требован, куда следует, а там будто бы состоялся разговор: «Это вы и есть Греч?! Ах, вы и есть! А известна вам гречневая каша?» – «Натурально!» – будто бы отвечает он. – «А березовая?» – «Господа шутят, такой

каши нет и быть не может». – «Ай-яй-яй! – строит сострадательную мину полицейский чин. – Такой просвещенный человек, издатель, журналист, и такое упущение. Тайная полиция не может допустить, чтобы русский народ обучаем был недоучкой. Гей, вахмистр, просвети-ка господина просветителя!» – И Николаю Ивановичу, дескать, было велено спустить штаны...

В присутствии стойкого поклонника Бахуса Александра Ефимовича Измайлова кто-нибудь начинает рассказывать анекдот о старинном российском жесте: «Откуда это пошло, господа?» – спрашивает и щелкает пальцем у кадыка. «Оттуда!» – двусмысленно отвечает хор осведомленных голосов. – «Так вот, человеку, оказавшему какую-то услугу, Петр Великий жаловал грамоту: предъявитель сего в любом российском кабаке может выпивать любое количество вина и водки, счет за кои присылать лично государю. – Рассказчик многозначительно выдерживает паузу. – Счета никто присылать не отважился. Но от частого предъявления царева указа тем человеком бумага на сгибах прохудилась, стерлись буквы – корчмари и трактирщики гнали взашей несчастного. В царской канцелярии переписали указ на новую бумагу, но и она вскоре пришла в негодность. Тогда государь повелел выжечь пропойце под подбородком свою печать и объявить по государству, на что обладатель сего клейма имеет право. Тот заходил в трактир и щелкал под кадыком пальцем... Хотя кому-нибудь бы из нас обзавестись подобной отметиной!»

Слушатели смеялись и поглядывали в сторону Александра Ефимовича.

Бестужеву не сиделось ни в штабе герцога, ни у себя дома в Седьмой линии – предпочитал компанию Кондратия Федоровича.

Влетел и упал в кресла:

– Мы поэты с тобой, Кондратий Федорович, или какие-нибудь амфибрахии?! – Александру Александровичу слово казалось забавным донельзя, он часто им пользовался, всякий раз оно выражало у него нечто новое, но всякий раз – нелепость, абсурд, несуразность. – Амфибрахии! – повторил с удовольствием и захохотал.

После чего предложил идею: собрать воедино все, о чем судачат в свете. И они собрали:

Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы!

Где читают Пуцель и летят под постель святы.

Где Бестужев – драгун не дает карачун смыслу.

Где наш князь – чародей не бросает людей в Вислу.

Где с зари до зари не играют цари в фанты.

Где Булгарин Фаддей не боится когтей танты.

Где Мордвинов молчит, а Магницкий кричит вольно.

Где не думает Греч, что его будут сечь больно.

Где Сперанский попов обдаёт, как клопов, варом.

Где Измайлов – чудаки ходят в каждый кабак даром...

21

На Васильевском острове, из конца в конец, скрипы телег, фур: город запасается на зиму овощами, фруктами, мукою нового урожая.

У деревянного дома в Шестнадцатой линии тоже стоят подводы, но стоят и кареты, то и дело подкатывают извозчики, важные господа – молодые и в возрасте, через калитку входят в дом. У Кондратия Федоровича торжество: празднуется день рождения сына, но вместе и именины – наречен Александром. О другом имени и не думалось, хоть родился он первого сентября, в день Семена–лето-продавца, но у Рылеева друг – Александр.

Анастасия Матвеевна навезла в дом снеди, на ка-

кую способно Батово, накупила обнов в магазинах; как нескладна ее семейная жизнь, а вот и сын вырос, родил внучку и внука. Вспомнила старую присказку: бабушке один только дедушка не внук – и облилась слезами. Давно в земле покоится дедушка, а все обидой полно сердце...

Шумное застолье пьет высокие тосты за новорожденного, за его родителей. Наталья Михайловна рдеет, сквозь смуглость щек проступает румянец, в затянутом белом платье она выглядит воспитанницей Смольного института, случайно оказавшейся за взрослым столом, где так много мужчин. Кондратий Федорович к ней: «Наташенька да Наташенька», а они все – с именем, придуманным им: «Ангел Херувимовна»; и поручик Бестужев, Александр Александрович: «Ангел Херувимовна», и полковник Глинка, Федор Николаевич: «Ангел Херувимовна»... В денной и ночной занятости супруга, думала она, ей совсем не осталось места, но получается – была не права. В тостах говорят: чем крепче становится семейство Кондратия Федоровича, тем крепче становятся его «Думы».

Потом они стали говорить смущающие ее двусмысленности:

– Один сын не сын, два сына не сын, три сына сын.

Но не успела она опустить глаза, как двусмысленность обернулась для нее почти христианскою заповедью:

– Первый сын Богу, второй сын царю, третий на прокормление...

Полковник Глинка – крестный отец Сашеньки: от его слов делается сладко на сердце.

– Сударыня Ангел Херувимовна! Считайте меня отныне верноподданным вашего очарования, вашей души; и знайте, я почитатель таланта моего кума – таланта всегда энергичного, всегда подтепленного огнем.

А потом говорит стихи из поэмы Кондратия Федоровича «Войнаровский»:

*Я не люблю сердец холодных:
Они враги родной стране,
Враги священной старине, –
Ничто им бремя бед народных.
Им чувств высоких не дано.
В них нет огня душевной силы,
От колыбели до могилы
Им пресмыкаться суждено...*

О Войнаровском рассказывал им с Асей Кондратий Федорович, когда еще был прапорщик, когда учил их. Этот Войнаровский – сын сестры Мазепы. Гетман не имел детей и объявил его своим наследником, послал учиться в Европу. Войнаровский выучился, поступил в царскую службу, а потом пристал к заговору Мазепы, бежал в Германию, там его арестовали и передали императору Петру, который сослал его со всем семейством в Якутск...

Ангел Херувимовна отвлеклась от застольного разговора и встрепелась, услышав, что стихи говорит уже Бестужев:

*...Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов
Городок уединенный
Острогожских казаков.*

Она знает, это «Петр Великий в Острогожске» – стихи, особенно ей дорогие. Ниспосланный Богом вихрь подхватил ее в Острогожском уезде, пронес над городами и селами, опустил в Петербурге за этим столом!

Поднялся Кондратий Федорович:

– Мне непривычно чувствовать себя новорожденным, но у меня такое состояние, будто я впервые открыл глаза, увидел мир и понял, что он прекрасен.

Она смотрела на счастливого супруга, на его тонкую шею, на бледное лицо, освещенное огромными тающими

глазами — и холодной иглой ее вдруг кольнула мысль: все хрупко, крохотно — как жизнь ее Сашиньки.

Плотно заполнены его дни. «Полярной Звезде» подниматься выше и выше над горизонтом империи — пусть поднимаются головы, наблюдая ее восход. Александр Александрович умчался в командировку — только звон шпор остался в столице да женские слезы; весь альманах висит на нем одном, Рылееве. Цензура вылавливает самое талантливое, умное — и вычеркивает, вычеркивает. Не пропустила ни одной пьесы Консула Литературной республики — Пушкина; письмо со стихами пришло из Одессы, чтобы остаться лишь распечатанным конвертом... На помощь «Полярной Звезде» пришел Александр Тургенев, кое-что отстоял из стихов Пушкина и Вяземского, правда, не без изъятий...

Матушка Анастасия Матвеевна из последних сил держалась в Батово: поля, мужики, огороды, леса — будь ее воля, на крыльях прилетела бы в столицу. И вот прилетела; поначалу не отходила от Сашиньки, а наглядевшись на дела сына, все норовила оказаться рядом, видно, казалось ей, что помогает присутствием.

Выход альманаха намечался на декабрь, матушка сидела подле, считала дни:

— Трещит Варюха: береги нос и ухо, — дескать, уже четвертое число. Варюха мостит, Савва гвозди вострит, — что уже пятое. Николай прибывает, что шестое.

Настенька, трех с половиной лет, смугленькая и живая, перед сном неслышно появлялась в кабинете отца, взбиралась на колени, с полным осознанием права на них усаживалась, начинала перебирать бумаги.

— Не приведи господь, пойдешь в цензоры, — смеялся он, у него для шутки основания были: сам цензор у себя в Вольном обществе — в Цензурном комитете сражается с цензором.

— Я не Цензором, я бабушкой Настей буду.

Приходила Натанинька, неловко извинялась, уводила

дочку. Перед своей Ангел Херувимовной он чувствовал себя бесконечно виноватым. Весенний сад над тихим Доном вставал перед глазами, он видел их обоих – молодую девушку и молодого офицера, бегущими к реке по заросшей аллее. Были мгновения, дни, может быть, недели и месяцы, когда не было стеклянной стены – они стояли друг перед другом с открытыми лицами, с открытыми душами. Она появлялась сейчас по его вине – стена. Но уже теряющая прозрачность...

Альманах вышел – вокруг него опять разговоры: восхваления громче, но и громче хула. Негодуют искромсанные авторы. Князь Вяземский выговаривает Бестужеву: выпустили на позор несчастным скопцом! Да, в его «Петербурге» отсекали окончание, не они с Бестужевым – цензор. Но и без того поговаривают, что двоим из «Полярной Звезды», Вяземскому и Рылееву, может выпасть дальняя дорога – Сибирь.

*«Народных бед творец – слепое самовластье» –
Из праха падших царств сей голос восстает.*

Кто бы позволил оповестить о сем публику?! Только не цензура... У него, Кондратия Федоровича, в «Войнаровском» куда как все менее дерзко.

Вяземский давно ходит у правительства в карбонарах, в якобинцах, да только он и в ус не дует, живет себе в Остафьеве и движений в сторону двора не делает.

22

Рождество. Конец года.

Только с закрытыми глазами можно рассмотреть его, год, раскрутить назад из декабря в январь, обозреть сделанное. Стихи, судебные разбирательства, альманах... Разрушить безмолвие русского народа, его долготерпение поставили они с Александром Александровичем себе задачей примерами предков, сочинением песен, в коих бы на на-

родный лад перекладывались истины, свидетельствующие против единоправия, кои не пелись бы, но взрывались:

*Царь наш – немец русский,
Носит мундир узкий.
Ай да Царь, ай да царь,
Православный государь!*

Они полагали – взорвется. Но получилась просто модная песенка: ее распевали хором даже на собраниях у Греча; бравада в крови у русских – все трын-трава и море по колено, вроде бы, видишь, какие отчаянные слова пою, за них поплатиться можно – а мне хоть бы что! Может быть, действие скажется в солдатах да в юношестве. Ему передавали: его незабвенный Первый кадетский вскрикивает по ночам в спальнях:

*А граф Аракчеев
Злодей из злодеев.*

И воспитатели обмирают.

Не только песни. Он не выложил еще на общий суд свои рассуждения о ходе мировой истории, статья в работе, но там все то же; самая близкая история – Наполеон, Европа; Наполеон пал, но самовластье не пало – владыки мира соединились меж собою в союз, чтоб задушить свободу, и сейчас в Европе мертвая тишина: но так затихает Везувий! – утверждает статья. Прав Вяземский: теперь не время осторожничать. Пусть правда доходит до ушей, только бы не совсем пропадала в пустынном воздухе.

Залетный извозчик уже не ворвется в Шестнадцатую линию, разбойным свистом не оторвет от бумаг, бессветный пьяница не заколотит в калитку – глухая ночь. Звезды новогодними яблоками в блестящих обертках висят в окне на голых ветках рябины.

Он знает себе цену, свою известность стихотворца объясняет отсутствием в столице других поэтов: Пушкин

– в Бессарабии, Боратынский – в Финляндии, Вяземский – в подмосковном имении, Кюхельбекер – то в Грузии, то в Смоленской губернии, а ныне в Москве.

Но самый важный, самый торжественный миг, нет, не уходящего года, но жизни – вхождение в Тайное общество. С детских лет продирался он сквозь людские сонмища, чтобы прийти к этим людям, они открыли пред ним дверь, он очутился среди своих, жизнь соединяла в целое его Слово и его Дело. Порой на заседаниях ему начинало казаться, что он давний член общества или сам был им, Тайным обществом, там, в Острогжском уезде. И уже не воспринималось странным, что тайные заседания проходят и в его квартире.

Гвардейский капитан Никита Михайлович Муравьев излагает новые варианты своей конституции. Молодость капитана настораживает, но он уходит в такие глубины мысли, столько стран законопроекты и законоуложения подвергает критическому разбору, что о молодости его забывается, Кондратия Федоровича начинает настораживать другое: от решительных мер, предлагаемых прежде, он уходит к мерам второстепенным. Полковник князь Трубецкой, человек саженого роста с удивительно некрасивым лицом – сухим и горбоносым – держит сторону Никиты Михайловича:

– Резонно. Недолг путь от слова до топора.

Трубецкой знает Францию, жил в ней, знаком с ее историей, он вывез оттуда страх перед стихией поднявшегося народа.

Поручик князь Оболенский окидывает присутствующих голубым взглядом – полковников, подполковников, капитанов, поручиков, статских – и что-то решает для себя.

А он, Кондратий Федорович, знает одно – только решительные меры.

Натанинька застала Анастасию Матвеевну в слезах.

– Ой, что с вами, матушка?

Та долго не хотела ничего сказывать, мол, пустяки: накатило, пройдет, а потом призналась – подкидыш Аннушка прочитала ей с листочка стихотворение Кони про господина Крылова, и смутно стало на сердце, зябко: Иван Андреевич с покойным Федором Андреевичем знавали друг друга... Больше двадцати лет прошло, как расстались, десять лет, как косточки его в земле покоятся, а все помнится, все живет.

Стихотворение лежало тут же, на столике. В нем о прошлом ей могла напомнить только фамилия поэта:

Нет одобрения талантам никакого.

В России глушь и дичь.

О даровании Крылова

Едва напомнил паралич.

– Успокойтесь, матушка. Ивану Андреевичу уже гораздо лучше, – Натанинька говорила то, что слышала на медни от супруга. – Императрица Мария Федоровна взяла его до полного выздоровления к себе в Павловск, а государь император повелел выдать ему десять тысяч рублей. – говорила, а сама смотрела на улицу. На человека, который уже не первый день ходит под их окнами или спиною к ним стоит неподалеку. Не к добру, ох, не к добру это.

– Что с тобой, доченька? – забеспокоилась Анастасия Матвеевна.

Натанинька молча показала в окно.

– Я тоже его заприметила, – призналась матушка. – Неужто доглядывает за Коней да за теми, с кем он водится?

Их подозрения рассмешили Кондратия Федоровича:

– Кто же охотится за такой важной птицей, как я?

Они были единокорны:

– Граф Аракчеев.

Полковник Глинка от Вольного общества любителей российской словесности поднес адмиралу Мордвинову

оду Рылеева «Гражданское мужество». Она ставила в пример сопротивляющегося единоправию сенатора-адмирала: «Уже полвека он Россию гражданским мужеством дивит».

В январе двадцать четвертого Мордвинов пригласил Кондратия Федоровича к себе в дом, предложил новую должность – правителя канцелярии Российско-Американской компании.

23

В Петербург приехал полковник Пестель. Посланцы Южного общества в последний год с упорным постоянством появлялись в столице, встречались с членами Думы, особенно часто с Муравьевым – в свое время он был введен южанами в состав их директории, с прочими членами, появлялись в полках гвардии. Высказывали одну мысль: объединение обществ, однако условием объединения призывали положить конституцию, написанную Пестелем, – она же признавалась северянами неприемлемой. Муравьев предлагал конституционное единоправие с Великим Собором, Пестель – республику с Временным правительством на десять-пятнадцать лет.

Павла Ивановича ждали не без предубеждения.

Двенадцатый год оторвал взгляд крестьянина от земли, распрямил спину; он изгнал неприятеля из Отечества, повидал другую жизнь в других странах, увидел – не в пример России, там люди живут зажиточно. «Почему же у нас не так?» – но додумать мысль ему не дали: он возвратился домой – его заставили снова согнуть спину, уткнуться глазами в землю.

«Почему же у нас не так?» – задавались мыслью офицеры и додумывали ее. Велика святорусская земля, но нет на ней места правде. Двенадцатый год явил русскому че-

ловеку Отечество в облике божества – он нес на его алтарь свои благие помыслы, жизнь; мечтал навсегда поселить в русской земле Правду.

Пестель не рискнул на разговор сразу со всею Думой, начал один на один с каждым из ее членов.

Полковник князь Трубецкой, старый друг Пестеля, занимал в Думе место Пущина – Иван Иванович уехал в Москву, вступил в должность надворного судьи уголовного департамента суда. В беседе князь не показал решительного мнения – то соглашался на республику, то отрицал ее. Главным препятствием для принятия пестелевской «Русской правды» для него было положение о Временном правительстве – то, что оно должно было избираться без обсуждения со стороны сословий, что глава его получал неограниченную власть; в сем Сергей Петрович усматривал сходство с самовластной тиранией.

Встреча Пестеля с капитаном Муравьевым окончилась раздором. Павел Иванович уверял собеседника, что тот своей Конституцией узаконивает аристократию, отдает ей все привилегии и преимущества, чем до совершения революции уже делает несчастным русский народ. Никита Михайлович в ответ отвергал республику и «Русскую Правду».

Князь Оболенский высказал свое мнение: у Муравьева в Конституции нет определенности, потому и общество их носит неопределенный характер, план Павла Ивановича продуман во всех деталях, он, князь, признает его правильным, осуществимым и будет стоять за него на заседании Верховной Думы.

Пестелю известно: в Северном обществе сильно влияние Рылеева и его друга Бестужева. Он поехал к Рылееву.

Кондратий Федорович лежал в постели, раненый.

...Дом в Шестнадцатой линии за всю предыдущую жизнь не видел столько людей, сколько перебивало их при новых

хозяевах — с утра до позднего вечера экипажи и экипажи. Среди гостей хозяин стал примечать молоденького прапорщика гвардии. «Князь Шаховской», — представился тот. Ни по какой линии князь не соприкасался с жизнью поэта и судебного заседателя, тем более — по тайной. Молодой человек имел сердечную слабость к его сестрице. Аннушка — девица на загляденье: стройна, высока, голубоглаза; институтское воспитание — легкий французский разговор, непринужденность в суждениях: она знакома со многими писателями, «Думы» — стихотворения единокровного брата — знает назубок. Только она из его женского окружения живет его духовной жизнью: Настенька мала, матушка при Настеньке, Сашеньке да хозяйстве, Натанинька — сторонится людей, ей скучно в его неведомых делах; от разговоров, в коих она не участвует, уходит к себе, оживляется при встрече с острогожскими знакомыми, но такие встречи нечасты. Особенно рада поручику — уже поручику! — Михаилу Александровичу Назимову, светлому юноше двадцати одного года от роду. Великий князь Николай Павлович обратил внимание на этого усердного офицера, начал отличать благосклонностью, а Назимов вошел в тайное общество, но Натаниньке сие неведомо...

К Аннушке Натанинька холодна, матушка же не скрывает ненависти к ней: в маленькой души не чаяла, никто и не подозревал, что неродная, а подросла — куда что девалось. Может, матушку угнетала мысль — дело к замужеству, а куда с ней, бесприданной красавицей? Кондратий Федорович даже обрадовался Шаховскому — прекрасный выход для Аннушки. Расспросил ее, оказалось — привычное светское волокитство; тогда он заподозрил князя в намерении опорочить его, Рылеева, имя. Это тоже в правилах света: запятнать тех, кто чист... И открывается прямое доказательство сему: этот мальчишка прапорщик написал Аннет около двухсот писем, и на каждом — не госпоже Крыловой, под каковою фамилиею она живет, но госпоже Рылеевой!

Он посылает к Шаховскому секунданта — Бестужева. Князь отказывается от поединка, не принимает вызова. Тогда он сам, Кондратий Федорович, при встрече на вечере у знакомых вызывает его к барьеру; Шаховской по-прежнему отказывается несогласием.

— Жалкий трус и подлец!

Он вспоминает конно-артиллерийские времена — и Харьковской губернии в Рыльский уезд князя.

Таких случаев история дуэлей не знала. При первом выстреле пуля Рылеева ударилась в пистолет Шаховского — и отклонила полет его пули: он прострелил Рылееву стопу.

— До повалу! — прохрипел уязвленный Кондратий Федорович Бестужеву. — До повалу!

При последующих двух выстрелах пули каждый раз попадали в пистолет противника и отклонялись.

Александр Александрович прекратил дуэль. Она случилась двадцать второго февраля восемьсот двадцать четвертого года, а первого марта Бестужев сообщал Вяземскому: «Рылеев, простреленный, лежит на одре недуга». Лежал не только Рылеев: слегли от переживаний жена, мать и сестра.

...Они говорили с Пестелем о государственном устройстве России, Северо-Американских Штатов, Англии, Испании, Франции, сравнивали с тем, что предлагает Муравьев.

— Конституция Никиты Михайловича вовсе не годится для русского народа! — утверждал Пестель.

— Но и вы посягаете на его права, утверждая диктатуру Временного правительства, отдавая в его власть довершение нашего дела, без выборных от народа! Глава такого правительства может злоупотребить властью. У всех на памяти Наполеон. Кто поручится, что таковых больше не

найдется, что из ниспровергателей единоправия не явится новый самодержец?!

При упоминании о Наполеоне Павел Иванович востепенулся, нетерпеливо воскликнул:

– Вот истинно великий человек! По моему мнению, если уж иметь над собой деспота, то – Наполеона. Как он возвысил Францию! Сколько создал новых фортуна! Он отличал не знатность, а дарования!

«Возвысил Францию?!» – недоумевал Рылеев. Поняв, куда все клонится, сказал:

– Сохрани нас Бог от Наполеона! Питаю, впрочем, надежду, что в наше время даже и честолюбец, если он только благоразумен, пожелает лучше быть Вашингтоном, нежели Наполеоном.

– Разумеется, я только хотел сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов, что если бы кто в чем-то и воспользовался нашим переворотом, то и в таком случае мы не останемся в проигрыше.

Их встреча была долгой. Кое с чем решили повременить, кое с чем согласились, дали слово стоять за объединение обществ.

Выступлений, наполненных такой страстью, северяне не знали: на заседании общества Павел Иванович одним махом отодвинул конституцию Муравьева как не стоящую внимания и тут же перешел к доказательствам превосходства своей. Он говорил о республике, о разделе земель между крестьянами, вновь и вновь обращался к мысли: во имя успеха задуманного дела – обязательна диктатура Временного правительства, истребление всех членов царской фамилии... Пока он говорил, все, казалось, понимали необходимость предлагаемого им, но кончилась яростная, напористая речь – и Павел Иванович по всем вопросам встретил решительные возражения. Комната превра-

тилась в кипящий страстями парламент. В конце концов выяснилось: Рылеев с Бестужевым, принятым несколько месяцев назад в общество, а государем императором тогда же произведенным в штабс-капитаны – за республику и истребление царской фамилии; того же мнения придерживаются еще несколько человек; князь Оболенский программу «Русской Правды» принимает безоговорочно; князь Трубецкой признает необходимость объединения обществ с единой руководящей директорией; Тургенев с Муравьевым – не принимают положения о разделе земель и диктатуре.

– Диктатура столь же невозможна и несбыточна, сколь дика и противна нравственности! – негодовал Муравьев. – «Русская Правда» противна моему рассудку и образу мыслей.

И еще два совещания. В Пестеле все больше подозревают человека, рвущегося в Бонапарты, он уже по-своему делит Россию. Предполагая даровать Польше независимое существование, он отдает ей украинские, белорусские и литовские земли!

Вскидывается Кондратий Федорович:

– Мы готовы содействовать полякам в их борьбе за свободу. Но мы не вправе утверждать подобные условия! Сие может быть решено только на Великом Соборе! От себя же скажу, что границы Польши начинаются там, где кончаются наречия малороссийское и белорусское. Где же большая часть народа говорит упомянутыми наречиями и исповедует греко-российскую или униатскую религию, там Русь, древнее достояние наше!

Мало-помалу страсти улеглись. Не успокаивался Муравьев:

– Невозможно слить в одно два общества, разделенных пространством и мнением, – горячился он. Пухлые губы дрожали, возбужденный, он светился весь – глазами,

эполетами, мундиром. – Я никогда не соглашусь слепо повиноваться большинству голосов, когда решение их будет противно моей совести, и представляю себе право выйти из общества во всяком случае!

Согласились на немногом, но важном: созыв Великого Собора после восстания необходим, конституционные проекты Пестеля и Муравьева должны стать основой для подготовки нового программного документа, единого для обоих обществ, объединение коих должно состояться.

– Так будет же республика! – стукнул по столу Павел Иванович, с чем и вышел из заседательной комнаты.

Они продолжали разговор за ужином. И спор – тоже. Звон хрусталя брызнул над столом и повис в воздухе. Поднявшийся Кондратий Федорович побледнел, лицо будто стянуло резиновой маской.

И полушепотом:

– Я не посрамлю священного оружия и не покину товарища, с которым пойду в строю, но буду защищать храмы и святыни – один и вместе со многими. Отечество оставлю после себя не умаленным, но большим и лучшим, чем сам его унаследовал...

Воцарилась тишина. Было слышно, как на цыпочках уходят от двери любопытствующие слуги.

Бестужев вопросительно повернул голову к Оболенскому, мол, что это?

– Клятва гражданина древних Афин, – шепнул князь.

24

В далеком марте восьмьсот первого года, когда пятилетний дворянин Рылеев был зачислен в Первый кадетский корпус, в одной из контор Иркутска имело место незначительное событие, связанное, однако, высшим промыслом с сегодняшним днем означенного лица: тридцатого числа

того месяца семнадцатилетний Кирила Хлебников, уроженец Кунгура, подписал контракт с Российско-Американской компанией на год, обязуясь служить в Охотске. В экспедициях на оленях или собаках в тунгусские или корякские юрты, в рискованных плаваниях на легких суденышках Охотским морем он не заметил, как прошли годы. Владенья компании лежали по обе стороны Великого океана, эту – он исходил ногами, измерил душой, глазами; та оставалась тайным его желаньем. Исправное исполнение должности приказчика, почтительное поведение снискали ему уважение по обе стороны океана, сам Александр Андреевич Баранов писал ему из Ново-Архангельска, или Ситки: «Милостивый государь мой, Кирило Тимофеевич! Хотя я не имею чести знать Вас, но изъявленной от Вас мне учтивостью и приветствием довольно одолжа и открыв характерные способности, обязали меня признательностию и наложили долг ко взаимному отношению...» За вежливой строкой прочитывались лестные обещания: «Прошу о продолжении таковых благосклонностей и далее, если провидению угодно будет продлить мои еще здесь дни и не улучу благосклонности Главного правления на многие просьбы мои присылкою преемника от многолетних и многотрудных правления моего хлопот увольнения...»

Через девять дней после известного чтения лицеистом Пушкиным стихов в Царском Селе – семнадцатого января восемьсот пятнадцатого года комиссионер Российско-Американской компании Хлебников сибирским трактом отправился из Иркутска в Санкт-Петербург, чтобы в сентябре шестнадцатого осуществить давно желаемое – оказаться по ту сторону Великого океана, в Русской Америке...

Еще через восемь лет адмирал Мордвинов рекомендовал Кондратия Федоровича на должность правителя дел Российско-Американской компании; отставной подпоручик

Рылеев известил петербургского предводителя дворянства об отказе избираться в Палату на следующее трехлетие.

Он изучает дела компании по докладам Хлебникова, неведомая жизнь империи открывается ему, увлекает сердце в тридевятые дали, настораживает ум: американские купцы выказывают беспокойство русским размахом, наставляют капитанов своих судов вникать в ход компанейских дел, узнавать силу компании чрез выяснение ее связей с правительством, определять оборонительные способности крепостей. Порыв русского промыслового люда увлекает Рылеева, он будто бы вместе с ним устремляется к берегам Америки сразу по возвращении Второй Камчатской экспедиции с известием об открытых землях. А в северных городах Тотъме, Великом Устюге, Вологде купцы создают компании для освоения островов Алеутской гряды, позднее — Умнака, Уналашки, Кадьяка и полуострова Аляска. Григорий Шелихов, купец-курянин, нижайше обращается к императрице с просьбою о присылке людей для заселения новых земель, Екатерина Вторая высочайше повелевает отрядить ему мастеровых до двадцати человек из ссыльных да хлебопашцев, на первый случай до десяти семей. Он обосновывался на Аляске надолго: строил верфи, налаживал кожевенное и кирпичное производство, отливалку железных, медных изделий, завел рудознатцев для изыскания полезных ископаемых, начал опыты по земледелию и огородничеству...

Под рукой шелестят страницы, шелестят годы. Рылеев видит: Русская Америка все больше отторгается от купечества, переходит к правительству. Он будто стоит за спиной морского офицера, вручающего Баранову приказание: преклонность лет и болезненные припадки, двадцатипятилетнее пребывание в беспрестанных трудах и заботах дают право Александру Андреевичу на увольнение,

в рассуждение чего Совет Российско-Американской компании определяет ему сдать должность, капиталы и дела принадлежащим образом... Семидесятидвухлетний старец в апреле восьмьсот девятнадцатого по пути домой заболевает и умирает у берегов Явы, в Зондском проливе тело его предается морю... А русский промысловый люд уже движется дальше – к плодородным землям Калифорнии...

Флота лейтенант Владимир Павлович Романов, при лестном совпадении отчества и фамилии отношения к августейшему семейству не имеющий, после Бразилии и Жуана Шестого прибыл в русские владения за океаном, собрал сведения об островах, их первооткрывателях, о северо-западных берегах Америки и жителях тех мест – индейцах племени калошей, полюбовался медалью с двуглавым орлом и вензелем Александра Первого у старейшины племени: «Союзные России» значилось на ее оборотной стороне... В кают-компании он аккомпанировал себе на фортепиано, пытался петь:

*Ум Российский промысла затеял,
Людей вольных по морям рассеял,
Места познавати,
Выгоды искать,
Отечеству в пользу, в монаршию честь.*

Кают-компания недоуменно переглядывалась, дескать, чья же песнь?! Он только улыбался:

*Дикие народы
Варварской природы
Сделались многи друзья теперь нам.*

– Господина Баранова сочинение, – отвечал. – Состоявшееся для отхождения российской души от тоски по родине.

Одним из дел Кирила Тимофеевича Хлебникова в столице было ускорить решение участи посельщиков Русской

Америки, на коих бумаги из Санкт-Петербургской палаты уголовного суда представлены в Правительствующий сенат шесть лет назад: сии посельщики осмеливались заявлять, что под скипетром Единоправца и под началом его верноподданных слуг русские люди живут едва ли не хуже диких народов.

На набережной Мойки в доме компании семейству Рылеевых отведено восемь комнат нижнего этажа. Натанинька с Анастасией Матвеевной не могут нарадоваться простору жилища, Настенька долго блуждает в поисках своей спальни.

Второй этаж занят одним из директоров компании – Иваном Васильевичем Прокофьевым. Там званые обеды и ужины – через день: купцы, литераторы, офицеры – директор дела правит весело.

Канцелярия – здесь же. Кондратий Федорович живет и служит в одном и том же доме.

Под вечер супруги прогуливаются по набережной перед новой квартирой. Наталья Михайловна расстроена счетом – тринадцать окон по фасаду. Поворачивается к нему в смятении:

– Чертова дюжина!.

– Где черт не пахал, там сеять не станет, – успокаивает ее Кондратий Федорович.

Она вроде бы соглашается, но на душе осадок: недоброе предзнаменование.

– Кто это?

– Кай Юлий Цезарь.

В маленьком дворике соседнего особняка стоит бронзовая фигура древнего римлянина, рядом – еще с десятков скульптур.

– Я о том человеке, – показала она глазами.

С непокрытою головой, в рабочем фартуке ходит он в глубине дворика – неприметного роста, неприметной наружности.

– Каменщик. – Но увидев недоумение в глазах Натиньки, смиловился: – Август Монферран, скульптор. Это он строит Исаакиевский собор.

– Я непременно должен жениться! – За звоном шпор раздается голос Бестужева. Он тянется к ручке Ангел Херувимовны. – Хочу так же блистать на улицах столицы, как мой друг.

– О, что вам стоит, Александр Александрович?!

– Свободы, Наталья Михайловна, свободы! – Штабс-капитан завладевает разговором, проходящая публика узнает модных писателей, поворачивает головы, поклонение – родная стихия Александра Александровича. – А как у вас в Русской Америке с женитьбой?

– Довольно просто. Рекомендую поехать на острова Королевы Шарлотты.

– Далеко ты простерся! – восхищается Бестужев. Намеряет на участие царя в делах компании: – И высоко.

Дабы привлечь общество к участию в освоении заморских территорий, царь купил пакет крупных акций – и многие аристократические семьи последовали его примеру. Стал держателем акций и Рылеев – купил на пять тысяч рублей.

– Наша главная высота – адмирал Мордвинов, – рассказывает Рылеев, – у него двадцать процентов всех акций, к тому же он Президент Вольного Экономического общества: ни одно решение без его участия не может быть принято.

Кондратий Федорович увлечен новым поприщем, делится с другом своими заботами. В последние годы барыш компании стал резко падать: в каких-то далеких целях ее пути стали расходиться с путями правительства, успехи компании становились неуютными ему. Пятого апреля Благословенный подписал конвенцию с Соединенными

Штатами: иностранным купцам разрешалось добывать пушнину во всех владениях компании. Это вопреки здравому смыслу, но многие цари, исключая разве что великих – Петра да Екатерины, ни во что ставили интересы Отечества, своекорыстные выгоды часто двигали и двигают ими. Он, Рылеев, отправил в Государственный совет бумагу, в коей изложил мнение директоров компании о конвенции: главным своим предметом компания имела промысел морских и земных зверей, эта промышленность соединяла частные выгоды с выгодами государственными. Предоставление кому бы то ни было права ловли в водах компании потрясет ее в самом основании, с упадком промышленности упадет и торговля...

Натаниньке скучно – зовет мужчин в дом и там теряется, уходит к себе.

– Обо всем этом я написал и министру финансов, – Кондратий Федорович берет со стола листок: – «Компания имеет полную причину опасаться, что не только в 10 лет, но гораздо в кратчайшие сроки иностранцы, при неисчислимых своих средствах и преимуществах, доведут ее до совершенного уничтожения». Но это еще не все. Благословенным велено уничтожить колонию Росси, вообще больше ничего не строить в Калифорнии! Каково?

– Ты где ни окажешься, сразу завязываешь военные действия, – резюмирует Бестужев. – Но каков наш двор!

Он берет гитару, мимолетно глянув на Рылеева: знаю, мол, не очень жалуешь сочиненную нами песенку, но тем не менее...

*Боже, коль ты еси,
Всех царей в грязь меси,
Кинь под престол
Мишеньку, Машеньку,
Костеньку, Сашеньку
И Николашеньку
...на кол!*

Он пощадил деликатность Рылеева, не употребил обиходного словца великого князя Николая Павловича.

Бестужев перебрался на жительство к Кондратию Федоровичу: не потому, что служба рядом – потому, что друг возле.

Графин простой водки, квашеная капуста, ржаной хлеб – русские завтраки у Рылеева.

Весь день дом полон народу – литераторы, чиновники, господа офицеры, среди последних – офицеры флота во главе с капитан-лейтенантом Николаем Бестужевым, братом Александра. Разговоры и разговоры – с такою же яростью и непримиримостью с чужим мнением, как и на тайных совещаниях.

В Греции умер Байрон. Горечью отдалась в душе эта весть.

*Увянул Байрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.*

Рылеев написал эти строки, и ему подумалось, что вот и сам он может погибнуть, а родина останется в прежнем рабстве, и над могилой его будут вестись те же разговоры, что сегодня в его квартире. И посвящает Александру Александровичу «Стансы».

*Горький жребий одиночества
Мне сужден в кругу людей.*

Это чувство он нес сквозь людские сонмища; в столице оно, казалось, утихло: вокруг единоверцы, единомышленники, но бесплодные разговоры вновь расшевелили его.

*Все они с душой бесчувственной
Лишь для прихоти своей
Сохраняют жар искусственный
К благу общему людей...*

К нему обращаются за помощью по истории Русской Америки: «Не скажете ли, где найти сведения об этом?», за советом по изящной словесности: «Как вы находите?». Он в приемах и в деловой переписке: «Милостивый государь! Г. г. директоры поручили мне препроводить к вам по семи экземпляров Полярной Истории и Берингова путешествия... Его высокопревосходительство Николай Семенович Мордвинов не находит у себя правил, составленных временным Комитетом при Компании, в коем и Вы были Членом, доставив мне хотя черновой список с оных, Вы много обяжете имеющего быть с должным почтением и готовностью...»

Душа сама просится в Берингово путешествие, в полярные льды, а может быть, в степи, в Острогожский уезд. Может быть, потому стал часто ему являться в мыслях Михаил Григорьевич Бедрага, старый воин, философ: «Я не то чтобы устал от воспоминаний, – говорит он, – по старой памяти как по грамоте, нет, суть в том, что в послевоенное время люди удовлетворяются своими ли, чужими ли военными воспоминаниями потому, что удовлетворяют ими свой теперешний боевой дух, бегут от дел, в которых могли бы удовлетворить его действием. Но при Бородине – ты защитник Отечества, в наших днях у тебя противник власть, противостоя ей – ты государственный преступник. В том-то все и дело!»

Иногда за спиной будто бы начинает звучать сутемный голос:

– Это ви, каспадин Рилеифф, напустиль лягушка мой будуар?!

Он шаловлив в дальних днях, Коня, упрямый мальчик.

– Я, мама!

– О, хорошенки малчик! – В дебелом теле Бертгольд

собираются силы для крика, долгого, до синевы губ. Опускаются щеки, округляются ноздри: – Больван! Русишес швайн!

И старая выписка перед глазами: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают на части и радуются, что между нами вражда и донныне. – Это из летописи, переведенной давним выпускником их Первого кадетского. – С этого времени соединимся в одно сердце и будем охранять Русскую Землю...»

– Соединимся в одно сердце! – в который раз повторяет он.

На Синем мосту у него происходит встреча с давним посетителем приемной генерала Рылеева в Дрездене, давним собеседником князя Кугушева. Десять лет с тех пор прокатилось, но они узнали друг друга...

– Добрый день, – приподнял шляпу пастор. – Рад приветствовать вас, господин Рылеев. Ваша слава широка, как площади Петербурга, как Россия.

Кондратий Федорович сух, напряжен, встреча перебила в нем мысль, он не хочет терять ее сути.

– Рад видеть вас. В России все широкое, даже несчастья, – он примеряет шаг к шагу пастора. – Беды России в рабстве податного сословия, пещерное единоправие. И беды эти, похоже, ей не избыть веками.

Пастор гасит на лице восторг, делается осторожным:

– Я приехал служить вере в России, не искоренять пороки ее государственности.

Они раскланялись молча.

И Дрезден. И конно-артиллерийская рота. В разговорах господ офицеров – Отечество, Император, Будущее.

Будущее стало сегодня. Выходцы из мелких дворянских поместий, первыми разочаровавшиеся в Императоре,

заговорили об изменении порядка вещей в России, заканчивают разочарование смирением перед необходимостью тянуть лямку до пенсионера, просто смирением. Протест в долгом своем существовании в человеческой душе затухает, теряет направление, остроту, грани и, наверное, становится своей противоположностью. «Подумаешь, – скажет один человек другому. – Все прошли через это. Но что изменилось в нас или вокруг нас?!».

Выходцы из поместий с достатком в разочаровании пойдут дальше – дорогой предков. Первым после всплеска недолгого вольнодумства останется острословить, посмеиваться над прошлым, вторым – собираться в тайные общества. В обиходной речи о первых: собака лает, а владыка едет, о вторых: царь высоко носит голову, да под ноги в четыре глаза глядит.

Нет-нет да пригласит его в гости к себе Измайлов.

Пригласит и нравоучает за хмельным столом:

– Газетам должно верить лишь стародавним: то, что было в них ложно, со временем выводится на свет Божий. В журналах правды больше: ее выбалтывают друг перед другом писатели: каждый хочет показаться или честнее прочих, или преданнее престолу.

Грубовато вышучивал неимущих литераторов:

– Им надо иметь чин кригс-комиссара при Павле Первом и носить имя Иван Лузин:

Уму Умовичу

Павлу Петровичу,

Твой кригс-комиссар

Лузин Иван

Бьет в барабан.

Петербург разделен на части:

Сиречь в крепости комендант,

А в городе другой,

*Сие доносит тебе Лузин,
Яко муж не искусен,
Истощая ума своего крошки,
Просит от щедрот твоих трошки.*

Говорил стихи и выводил: без денег – бездельник.
Громко смеялся:

– Павел на опусе Лузина начертал: «Выдать ему, дураку, 2000 рублей». Дурость у нас в высокой цене.

Он гостил, слушал, а ему вспоминался Мценск.

В рассуждениях о превратностях жизни оказался он на повороте и спуске с горы дороги, по которой приехал в город. Внизу белели строения Петропавловского монастыря, Стрелецкая слобода укрывалась редкими деревьями, городок открывался весь – всею тысячью деревянных домов и десятком каменных. Одинокий путник поравнялся с ним: за плечами котомка, в руках – посох.

– Как эта гора называется? – спросил Рылеев.

– Висельная, – ответили ему.

26

Опекунство Кондратия Федоровича над детьми Малутина смешило вдову генерал-лейтенанта, особенно в спальне.

— У нас с тобой своих не меньше пяти бы уже могло быть.

Вставала, поднималась на цыпочках, тянула руки к далекому потолку. Удовлетворенное тело ее, налитое, зрелое, ликовало в потоке изоконного света.

Наклонялась, целовала его, начинала одеваться.

– Мне было пятнадцать или шестнадцать лет, когда мой Петр Михайлович стал генералом. Летел при Павле к чинам, не успевал считать ступеней: в семьсот девяносто шестом – подполковник, в девяносто седьмом – полков-

ник, в девяносто восьмом – генерал-майор, в восьмисотом – генерал-лейтенант. Правда, для матушки твоей он все был генерал-майор.

Давнюю связь с Екатериной Ивановной он не считал ни зазорной, ни хоть как-то осложняющей их с Натанинкой отношения. Прежнее чувство стыда прошло: свет научил многому, притёр. Когда изо дня в день слышишь, что тот-то сердечкин той-то, а эта – с тем, а та-то умышленно не задергивает занавесок в карете, чтобы город мог видеть, от кого она уезжает утром, – что-то действительно теряется. Его смущала только вульгарность – она виделась ему в обыденности, каковой пыталась представить Екатерина Ивановна то, что происходило меж ними.

– Малютин был любимцем Павла – сколько деревень от него получил! – как ни в чем не бывало продолжала она за кофе. – Только тогда дарили не деревнями – сотнями душ, если до сотни не хватало – добавляли, приписывали из другой деревни. В Батово отдали ему двадцать одну душу, остальных – инспектрисе Дешан. Чтобы не заниматься дележом, они продали Батово твоей матушке.

– Однако историю можно изучать всюду.

Она быстро взглянула на него и, странное дело, ему показалось, что этот взгляд был извинением.

Вдова старше опекуна на двенадцать лет. Он собирается уходить, но черный взгляд ее начинает млеть, томиться тоскою тела, тень нетерпения появляется на лице – красивом и жалком. Она медленно поднимается, не сводя с него глаз – он послушно идет за нею...

Она и в постели вульгарна:

– Зачем только женщины одеваются перед встречей с мужчиной, все равно будет раздеваться.

Его появление в ее доме каждый раз связано с опекунскими, хозяйственными делами, но Екатерина Ивановна пре-

ращает их в любовную встречу. Это начинает и тяготить, и совестить – он переходит на письменное общение с нею.

Она стала ездить к нему сама.

Наташа увидела ее в кабинете полулежащей на диване, подперевшей рукой голову и хлопнула дверью. Малютин поспешила за нею с объяснениями.

Через неделю он получает записку: «Любезный Кондратий Федорович! Верите, я так хохочу, что не могу вспомнить Наталью Михайловну. Я теперь боюсь ее огорчить своим приходом... Она так была для меня удивительна в последний раз, что легко было можно узнать причину ее гневу... Постарайтесь ее успокоить и уверить. Прощайте. Чем более нас будут ревновать, тем более наша страсть увеличится, и любить тебя ничто не в силах запретить. Желательно, чтобы она сие прочла, тогда бы более уверилась».

Ему было долго не по себе. Перо и бумага показали Екатерину Ивановну много хуже той, которая открывалась без пера и бумаги. А приписка вообще убила. Он не заметил, как столичная жизнь затянула его в свой водоворот, он мало-помалу отступает от себя, того и гляди превратится в привычного столичного говоруна... Нет-нет!

*Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?..*

Он столько раз мог погибнуть. Но не в чужой же постели!

В тайное общество приходят и уходят, старые члены потеряли решительность в голосе, пройдет время – и может оказаться, что все их помыслы, порывы души были только подарком молодости, на долю коей выпало вдохнуть воздух бури, пронесшейся над землею. Идущее следом поколение

задето только краем ее, оно прислушивается к ним, но все захвачено соблазнами света, блеском парадов и смотров.

*Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века...
Пусть с холодной душой бросают холодный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.*

Он не воодушевляет самого себя, он знает, что пройдет свой путь до конца, исполнит то, что определено судьбой и собственным выбором.

*Они расскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги...*

В июле из Кронштадта от лейтенанта Романова в Русскую Америку к Хлебникову ушло письмо: «Посылаю Вам и прошу принять «Полярную Звезду» и «Шильонского узника».

Он был знаком с одним из издателей альманаха.

За время службы в компании Романов составил два прожекта освоения Америки: один – от реки Медной до Гудзонова пролива и к северу до Ледовитого океана; второй – от мыса Ледовитого к востоку, до линии соприкосновения с английской экспедицией под началом Франклина. Морской штаб препроводил один прожект в Государственный адмиралтейский департамент, другой – в Российско-Американскую компанию. При встрече с директором Прокофьевым в доме у Синего моста Романова знакомят с господином Рылеевым, заступившим место правителя дел компании. Кондратий Федорович рад знакомству: разбирая бумаги канцелярии, он увидел прожект лейтенанта и находит, что компания много выиграет от осуществления одного: не только приобретет славу, что русские первыми вошли в край, где еще не ступа-

ла европейская нога, но и пользу – завяжутся сношения с Гудзонской компанией, может, откроется какая-то новая отрасль промышленности. Лейтенант в ожидании – и не теряет связи с правителем Ново-Архангельской конторы Кирилой Тимофеевичем Хлебниковым. Этот господин, со спокойным достоинством на лице, серьезный и деловитый, в свое время показывал ему, Романову, карты владений, строения на островах и побережье. Порой в его голосе звучала обида:

– Есть люди, которые смотрят на все с худой стороны и ничего не видят, кроме вреда обществу в действиях компании, и которые уверяют, что колонии поедают людей, не доставляя пользы государству.

Показывает отчеты: какой же вред Обществу?! Лейтенант видит: за двадцать первый год по Ново-Архангельской конторе обращающийся капитал составил три с половиной миллиона рублей, расходы по производству – триста тысяч, чистый барыш – двести тысяч, население же Ново-Архангельска, включая жен и детей, не более семисот человек. Не имея больших познаний в расчетном деле, лейтенант тем не менее соотносил цифры и задавался тем же вопросом: какой же вред обществу?!

В свое время его удивила грамотность рабочего люда на окраине России, богатство первой в Русской Америке библиотеки. Среди книг попадались редчайшие, например, «Сокращенная история о странствиях вообще по всем краям Земного круга», издававшаяся Новиковым в 1783-1785 годах.

Кирила Тимофеевич Хлебников собирал всевозможные сведения о новых российских землях. Покидая Ново-Архангельск, лейтенант оставил ему записочку с просьбой ответить при случае на вопросы: понятие колюжей о высшем существе, о будущей жизни, имеют ли

они понятие о душе и что с нею воспоследует при разрушении тела, случается ли, что они женятся на матерях и сестрах или дочерях... Теперь, отсылая книги в Ново-Архангельск, он делает приписку: «Я также в надежде, что Вы пришлете некоторые сведения о колюжах...»

27

Он пытался остановиться, оглядеться в столичной жизни, но времени не выпадало – удавалось лишь пробежать глазами страницы дневника, мельком, меж возвращением домой и усаживанием за рукописи. Совсем недавняя выписка: «Тот, кто следует по стопам великих людей, может почитать их своими предками. Список имен будет его родословною». Тщеславная чушь! От его, Кондратия Федоровича, кадетских мыслей мало чем отличается. По состоянию души его более занимают рассуждения об удовольствиях: «Одни расположены к грубым, другие – к тонким, одни – к мгновенным, другие – к длительным; одни расположены к удовольствиям чувственным, другие – к духовным и, наконец, одни – к удовольствиям страстей, другие – мысли». Спрашивал себя: он больше склоняется к одним или к другим? Вызывал в памяти картины прошлой своей жизни и находил – в нем есть и те, и другие. Выстраивал в одну линию удовольствия грубые, мгновенные, чувственные – удовольствия страсти; в другую – удовольствия длительные, духовные, тонкие – удовольствия мысли. К первой линии больше склоняется Шуля Булатов, ко второй – он сам, Кондратий Федорович Рылеев...

Любовь никак нейдет на ум:

Увы! моя отчизна страждет,

Душа в волненьи тяжких дум

Теперь одной свободы жаждет.

Но полно: одной ли свободы жаждет душа? Кондра-

тий Федорович, Кондратий Федорович, искренни ли вы сейчас...

Наталья Михайловна не знала, какая буря пронеслась мимо нее или проносится.

*Я не хочу любви твоей,
Я не могу ее присвоить,
Я отвечать не в силах ей,
Моя душа твоей не стоит.*

Нет-нет, это не ей посвященные строки.

Прекрасная полячка, юная женщина в россыпи золотых волос, с густой синевою глаз, с фигуркой, тоненькой в талии, с такой крохотной ножкой, нечаянно появляющейся из-под края платья, что становилось страшно: как она удерживается на этой вертящейся, охватываемой ураганами планете, – приехала в начале года в Санкт-Петербург из Киева. Божественное начало несло в себе ее имя – Теофания Станиславовна, дело, приведшее ее на берега Невы, – сердечную тайну: престарелый супруг небесного существа давно предается разврату – пресыщенному, извращенному, – что пред людьми и законом освобождало ее от уз Гименея; однако супруг не давал развода, а женское сердце соприкоснулось с другим сердцем, забилося в лад и жаждало соединения... Старец имел непреодолимые связи в сенате, женщине посоветовали обратиться к Рылееву – только он может сдвинуть с места осевшее в департаментах дело; Кондратий Федорович ушел из палаты, но его влияние в судебных кругах велико по-прежнему.

И дело оказалось в его руках. Некоторые неясности в нем потребовали встречи с истицей – его привезли к ней.

*Своей любезностью опасной,
Волшебной сладостью речей
Вы край далекий, край прекрасный
Душе напомнили моей.*

...Саксонская деревушка, казалось, забытая навсегда,

из лунного света вывела перед ним девушку, бестелесную, сотканную из лучей луны – и засветились ее глаза.

Теофания Станиславовна наполняла синеву глаз слезами, они становились темными и огромными. Свирель ее голоса обрывалась всхлипом, крохотная ручка подносила к носику платочек, шейка вытягивалась. Темно-зеленое платье, золотистого цвета шаль, тяжелые, коричневой кожи мебели, голубые окна создавали единый мир, в нем страдала от безысходного горя сказочная принцесса.

Первое его замешательство от встречи с женщиной необычной красоты, вызвавшей в памяти видения юности, перешло в растерянность. Свирель жаловалась, изнемогала, тонким звуком поднималась над пространствами жизни. Он о деле не думал...

*Твой взор меня очаровал.
Я увлечен своей судьбою,
Я сам к гибели бегу:
Боюсь встретиться с тобою,
А не встречаться не могу.*

От встречи к встрече слез у Теофании Станиславовны становилось все меньше, манящая томность застилала глаза, она забывалась в рассеянности, ненароком выставляла из-под края платья ножку, подпирала голову ручкой, широкий рукав ниспадал, обнажая ручку до локотка.

Бессонною ночью он вскакивал с постели, ходил по комнате, разговаривая сам с собою, в мученьях любви, желаний падал лицом в подушку.

*Покинь меня, мой юный друг, –
Твой взор, твой голос мне опасен:
Я испытал любви недуг,
И знаю я, как он ужасен...*

Бред. Полубезумье. Обнаженное сердце колотится в растворенной груди – лети, но улететь оно не может. Изны-

вает дух, изнемогает тело, открывается дуэльная рана – он не встает с постели.

И появляется она.

У Свириели утренний голос – свежий и чистый; утренней свежестью веет от губ и слов. Она говорит: поэт, чье имя дорого каждому человеку, видящему несправедливости жизни, неразумность правительства, не должен покидать строя, не должен страдать ни душевно, ни телесно...

Они сидят в креслах напротив друг друга.

Она поднимает руки, обнажив их до локотка, роняет волосы, мимолетным движеньем обнажает плечи, полуоткрывает грудь, глаза наполняются темною синевою.

Только не это!

*Твой голос нежный, взор волшебный
Хотел страдальца оживить,
Хотела ты покой целебный
В взволнованную душу влить...*

Николай Бестужев, капитан-лейтенант, человек безупречных правил, услышав его излияния, поднял вверх брови, вытянул лицо: почему не отдался он воле такого случая? Никто бы оно в зазор совести не поставил! Нет, Боже сохрани и избавь: здесь не то же, что с Екатериной Ивановной, здесь – любовь, и следовать ей, значит, предать Натаниньку.

Тайные расследования друзей установили: Теофания Станиславовна – шпионка графа Аракчеева.

Он не поверил и не верит такому.

*Оставь меня! Я здесь молю:
Да всеблагое провиденье
Отпустит деве преступленье,
Что я тебя еще люблю.*

В июне Анастасия Матвеевна уезжала в Батово с такой тяжелой душою, мрачными предчувствиями, что обратилась к сыну со словами, будто призывающими к исповеди:

– Береги себя, ты неосторожен в словах и поступках, правительство подозрительно, его шпионы везде подслушивают.

Кондратий Федорович проникся ее предчувствиями, неожиданно для себя как на духу признался: действительно, он член тайного общества, но когда она отдавала его в военную службу, то ведь мысленно была готова к тому, что он может положить свою жизнь за Отечество. Почему же теперь она боится за него? В военной службе он положил бы жизнь не за Отечество, но за безбедное существование самовластного злодея. Ныне век гражданского мужества, и сын ее будет стоять за свободу России, за лишение единоправца его железного скипетра, за возвращение прав и закона народу...

Предчувствия не обманули Анастасию Матвеевну – в Батово занемогла, сына оповестить не успела, вспыхнула грудной лихорадкой и сошла в могилу.

Начало сентября – Рылеев едет в деревню на установку памятника матери, Бестужеву хочется с ним, но держит служба, слетишь с такой, на другой не взлетишь, это уж точно, как дважды два, хотя у него, Александра Александровича, дважды два никогда не равнялось четырем: больше или меньше – да, но четыре – никогда. Он является к герцогу с мыслью: не время ли обследовать состояние Гатчинской дороги?

Герцог гордился славой своего адъютанта, чувствовал себя причастным к ней: из-под его руки выходит в жизнь штабс-капитан, значит, в некотором роде из-под

его пера выходит и написанное Бестужевым. Он позволяет адъютанту быть с ним как бы на равных: пусть набирается впечатлений, может быть, и черкнет что-нибудь о нем, герцоге. Александр Александрович по неистребимой привычке при всяком случае полирует ногти, с листа читает мысли начальствующей особы. Попросят – дословно изложит их на бумаге и тем удивит герцога, впрочем, тот уже удивлен на всю жизнь. Отчаяннейшего дуэлянта получил он в наследство от Бетанкура: штабс-капитан готов стреляться со всем Петербургом сразу, а также с Москвой, с любым, на выбор, гарнизоном России. Потому и не делает этого, а герцог все прозрачнее намекает: садись и пиши!

Так что там: обследовать Гатчинскую дорогу? О да, разумеется, да. И коляска покатила друзей в Батово.

Экономка раскрывала приходно-расходные книги, показывала счета, охала и вздыхала:

– Мать, пресвятая богородица, и за что ты нас покарала, – утирала глаза концом передника. – Матушка Настасья Матвевна... – слезы не давали ей говорить, чухонское лицо все скрывалось в переднике.

Он смотрел в книги, не понимая. Не понимая слов, слушал. Жизнь подходит к какому-то пределу, за коим больше утрат, чем приобретений. Скрипнула дверь – у порога с непокрытыми головами остановились Федька с Ефимкой – бородатые, взматеревшие. «Боже мой, это спутники моей юности...», – поднялся и обнял обоих.

На нищем деревенском погосте среди покосившихся деревянных крестов они установили памятник – мраморную колонну; на ней высечено: «Мир праху твоему, женщина добродетельная. Анастасия Матвеевна Рылеева. Родилась декабря 11 дня 1758, скончалась июня 2 дня 1824 года».

Александр Александрович, на голову возвышаясь над немногочисленной толпою, не таясь промокал глаза пахнущим женскими духами платком.

— А Павлов помер третьего дня июня, — будто прочитал мысль Кондратия Федоровича Ефимка; из-под рыжих клоков бровей показались слезы.

Он взял с собой в Батово стихи Нимцевича, но не читалось; польский поэт в своих исторических песнях был близок ему по духу, те же идеи проповедовал, что и он, Рылеев, в своих думах. Но мысли о матушке, вообще о смерти не отпускали, что-то роковое стояло за всем этим — великое в своей трагичности.

Бестужев приехал с Байроном на английском, заманивал сумрачного Рылеева в сад, в беседку, он, чтобы не обидеть друга, уступал; Александр Александрович без того дулся: отчего тайну о Теофании Станиславовне доверил Николаю, но не ему?

Чтобы быть квиты в тайнах, Рылеев спросил: каковы сердечные дела у его друга.

— А, — легкомысленно махнул рукою томимый глушью и дичью деревни штабс-капитан: — Ей щенка, вишь, да чтоб не сукин сын.

Кондратий Федорович не стал уточнять — хозяйственные дела ждали его слова.

Предоставленный самому себе Бестужев гулял по берегам Оредежа, лениво обдумывал план очередного альманаха, но более пропадал в Рождествено у знакомого кирасира, появляясь к рассвету.

Рылеев тоже собирался побывать в Рождествено, да узнал: статский советник Миллер, Федор Петрович — «Федя Маленький», в отъезде по делам службы.

Возвращались через два дня.

Он не знал, что едет от могилы к могиле.

Светлые дали, убранные поля будто расширяют простор, небо прозрачно и чисто.

Тягостное настроение тоже имеет свое небо – оно низко нависает, пригибает голову. И не помогают мысли о делах литературных, и там многое не радует. Правда, штабс-капитан Муханов пишет из Киева: «Войнаровский», в отрывках неведомо кем завезенный сюда, отлично хорош. Мы им полюбовались здесь и свозили в Одессу, где им любовались многие, в особенности Александр Сергеевич Пушкин...». Пушкин – это выше некуда. Но почему Петр Александрович не сообщает, как дела с продажей киевского дома батюшки Федора Андреевича? А тем временем в Петербурге не разрешают к печати ни «Гражданского мужества», ни оды «Видение». Ода написана на день тезоименитства великого князя Александра Николаевича год назад. Думалось: посвящение сдержит цензуру – не получилось. Цензуру насторожили слова, адресованные мальчику пяти лет.

*Уже воспрянул дух свободы
Против насильственных властей;
Смотри – в волнении народы,
Смотри – в движение сонм царей...*

В прошлом году «Видение» с некоторыми исправлениями к печати разрешили, нынче – не позволяют.

Учителем к великому князю принят Василий Андреевич Жуковский.

Бестужев рядом дремлет, голова покачивается из стороны в сторону.

Он растолкал его локтем:

– Чего это ты нагородил насчет Жуковского?

– Какого Жуковского? – таращился Александр Александрович. – А, нашего Жуковского, изволь!

*Из савана оделся он в ливрею.
На пудру променял свой лавровый венец.
С указкой втерся во дворец:*

*И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
Бедный певец!*

Пристально посмотрел на Рылеева.

– Он-то «бедный певец», а ты умница: хорошо советуешь великокняжескому отроку:

*Старайся дух постигнуть века,
Узнать потребность русских стран,
Будь человек для человека,
Будь гражданин для сограждан.*

– Только прислушается ли? – и принялся хохотать.

К вечеру, перед Петербургом, ударила ужаснейшая гроза. В Петербурге она оказалась еще ужасней: умирал Сашинька.

Одна беда не ходит – другую накличет.

Привычной дорогою на Воронеж супруги ехали будто с собственных похорон – они остались там, с Сашинькой, в карете сидели тени, припавшие одна к одной, неразделимые. Правда людская: в счастье бранятся, в беде мирятся.

Выплаканные глаза Натаниньки безучастно смотрели в сумрак коляски. В темной, будто набитой ватой голове повторялись и повторялись слова: «Один сын Богу... Один сын Богу... Один сын Богу...». И вдруг обомлела: Сашинькина смерть была накликана при рождении.

29

Великое множество народу живет на Руси.

Барон Владимир Иванович Штейнгейль – один из этого множества. Летом двадцать третьего года он появился в лавке Сленина:

– Не заходит ли к вам поэт Рылеев?

– Не только заходит, но часто интересуется, не заходит ли ко мне барон Штейнгейль.

– Это как?

– На ваш вопрос, господин барон, ответит сам Кондратий Федорович, – и хозяин указал на входящего в лавку человека.

Они обменялись поклонами.

К сорока годам за спиной барона лежала жизнь, столь туго, притерто наполненная событиями, что раздели их на десять жизней, они тоже бы казались наполненными до краев. В семьсот девяносто девятом первым учеником он оканчивает Морской корпус, определяется мичманом на Балтийский флот, через четыре года переводится в Охотскую морскую команду, оттуда через три года – в Иркутскую и через год в чине лейтенанта назначается ее командиром. Проходит три года – он на Балтийском флоте снова, но довольно скоро возвращается в Иркутск офицером для особых поручений при генерал-губернаторе, в декабре того же восьмьсот десятого выходит капитан-лейтенантом в отставку, женится и в одиннадцатом возвращается в Петербург, где определяется в министерство внутренних дел.

В Двенадцатом году в составе Петербургского ополчения проходит через все сражения, города и страны, заканчивая войну в Париже. В четырнадцатом назначается адъютантом и правителем дел гражданской и военной канцелярий при Московском главнокомандующем и генерал-губернаторе, – возрождение столицы во многом дело его рук: работал над планами застройки Москвы, для восстановления исторических памятников Кремля пригласил лучших скульпторов Отечества... И столь нередкий на Руси конец безупречной карьеры: оклеветан, отстранен от дел. Служит у частных лиц, но государственные дела не отпускают душу. Пишет императору учнейшие записки о наказаниях, доказывая, что кнуты,

плети, розги и шпицрутены не лучший способ воспитания гражданственности, предлагает способ уничтожения существующего в России торга людьми. Излагает Аракчееву некоторые мысли и замечания относительно законных постановлений о гражданстве и купечестве; министру просвещения указывает на необходимость смягчения законов к проповедующим иную религию; Мордвинову шлет рассуждения о причинах упадка торговли... Все оседает и теряется в архивах. Однажды ему попадаются на глаза стихи «К временщику». Он читает и понимает: в России есть человек, коему небезразлично состояние Отечества – и ищет с ним встречи.

Кондратий Федорович как раз пишет поэму о Войнаровском, ему нужен человек, знающий природу Восточной Сибири, – он ищет встречи с бароном Штейнгейлем как много жившим в тех местах.

Они встретились, наговорились и расстались друзьями. В скором времени барон Штейнгейль был принят в тайное общество.

Из Подгорного Кондратий Федорович возвращался один. В начале декабря он приехал в Москву и остановился у Владимира Ивановича, на Чистых Прудах. У того в гостях был Пущин.

– Знаете ли вы, что такое высшее ораторское искусство? – задал Пущин гостям барона Штейнгейля лицейский вопрос, извлеченный из опубликованной переписки одного французского аббата. – Это искусство сказать все и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить все.

Слова прозвучали в тишине, наступившей после чтения Рылеевым стихов, – и тишина взорвалась аплодисментами.

Он приглашен во многие дома, Москва от него в восторге, он – от Москвы: где бы, у кого бы он ни появлялся – начинались разговоры о свободе, низложении единоправия, освобожд-

дении крестьян. Светские дамы, чуть пошевеливающие веерами у тонких шеек, рассеянно наводящие лорнеты на особинного пола, московские франты в теснейших панталонах, моднейших фраках рассуждали о ничтожестве жизни, коей не коснулись заботы о благоденствии дорогого отечества... Слущая их, он понимал, как мало они, тайное общество, делают для того, чтобы превратить эти разговоры в дела, признавал правоту Пестеля: надо действовать, но не ждать, действовать сейчас. Единственная сила, имеющаяся у них под рукой, это армия, значит – военный переворот. Давнее-давнее ощущение надвигающейся темени – лесной, глухоманной – начало подниматься в нем; в Двенадцатом он увидел ее запруживающей Москву по маковки Сорока Сороков, ныне вместе с Россией она затапливала этот сияющий сотнями свечей зал с молодыми красавицами, с молодыми франтами, с их улыбками, веерами, лорнетами, разговорами... Надо действовать!

Империя будто вслушивалась в звучание собственного имени: Россия! – и находила в нем отзвуки самого чистого своего чувства, самой чистой мысли. Нет, не впервые! Для россов имя ее всегда оставалось священным, но под наваливающейся тьмой пустословия единоправцев, их августейшего грабежа и казнокрадства звучание его притухало, человеческая жизнь, спасая себя, но губя душу, уходила-пряталась под навес котильонов и экосезов, маршей и барабанной дробы; те же, кому попасть под навес этих звуков было заказано, волокли свои дни в глухоманной темени, губя тело и душу.

Покидающий навсегда Отечество, член Государственного совета и член тайного общества Николай Тургенев увозил в своем дневнике запись далеких лет: «Итак, с мыслю о тебе, о Россия, мое любезное и несчастное отечество! провожаю я старый и встречаю новый год. Ты – Единственное Божество мое, которое я постигаю и ко-

торое ношу в моем сердце, — ты одна только можешь порождать сильные чувства в моем сердце! Что люди? Я их не знаю. Я знаю только сынов твоих! Но где и сыны твои? Где их искать посреди торжествующего порока и угнетенной добродетели». Он уезжал, разуверившись в возможности изменить что-либо в порядке вещей, закаменевших от долгого неправого существования, отяжелевших, как пирамида Хеопса. Однако строки из давнего дневника и ныне определяли его состояние: «Но нет, никогда Россия не перестанет быть для меня священным идеалом, к нему, для него, ему — все, все, все».

...Молодежь разъезжалась с приемов, собиралась в кружки, в отважных спорах приходила к необходимости произвести в России перемену правления и налегала на сочинения политических писателей.

Штейнгейль бывал на каждом приеме и понимал: хозяин каждого дома, принимающего Рылеева, или состоит в обществе, или разделяет его мнения, оттого чувствовал себя молодым, способным еще послужить Отечеству, остановившему его на полпути добродетельного служения.

30

В начале августа двадцать четвёртого года в Могилеве, когда полковая музыка играла вечернюю зорю, а публика гуляла по главной улочке, внимание молодого гусара привлекла почтовая коляска, ехавшая шагом. Впереди нее шел невысокий человек в офицерской фуражке, в красной шелковой рубаше русского покроя с черной опояской, в накинута на плечи шинели; коляска повернула к почте. Гусар бросился к зрителю: кто?

— Проездом из Одессы коллежский секретарь Пушкин.

В Могилеве Александр Сергеевич оказался по царской милости. Новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов после нескольких прозрачных намеков, не принятых во внимание в Петербурге, наконец произнес прямо: «Избавьте меня от Пушкина». Государь внял голосу генерал-губернатора и положил сослать поэта в родительское Михайловское Псковской губернии. Изгнаннику было предписано незамедлительно выехать из Одессы, нигде не останавливаясь по своему произволу, следовать по точно указанному пути: Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. Особо оговаривалось не заезжать в Киев!

Гусар радостный вылетел на улицу:
– Это Пушкин! – крикнул товарищам.
Их восторг был неопишем.

Пушкин приказал раскупорить несколько бутылок шампанского. Взахлеб читали его стихи, и он читал, вскакивал на стол:

*Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово пей
Заглушает крики песен,
Где просторен круг друзей,
А кружок бутылок тесен.*

Ближе к полуночи пошли по квартирам господ офицеров. Пушкин хвалил Одессу, бранил Воронцова. Расспрашивал:

– Сколько же это у вас денщиков?

Офицеры считали, выходило по всей армии – около ста тысяч.

– Сто тысяч загубленного народа, который должен сапоги чистить!

Под утро ему предложили принять ванну из шампанского, но Александр Сергеевич отказался: уже пора ехать. В четыре часа он отправился в путь, девятого августа прибыл в Михайловское.

В сентябре Дельвиг засобирался к нему.

На дворе декабрь, но барон еще не тронулся с места, однако каждый день проверяет слугу: готов ли в дорогу?

Ни один званый ужин в Москве не обходится без имени Пушкина.

— Говорили, что Пушкину в Одессе невмоготу, — князь Вяземский щурится за стеклами очков, с наслаждением поминая друга. — Потом прошел слух, что он застрелился. Я пишу в Одессу: если у него есть возможность остаться там, пусть дождется меня, можем что-нибудь и создать. А если он застрелился, то, надеюсь, свои бумаги завещал мне. Если и вперед застрелится, то бумаги — мне, а барыш — кому назначит. И пусть умирает он себе, сколько хочет, я ему не помеха. Я шутил, а видите, не он застрелился, его застрелили. Разве это не убийство — заточить кипучего юношу в русской деревне? — улыбка сходит с лица, в прищуренных глазах появляется злой блеск. — Ему нанесли смертельный удар.

Судьба Пушкина в московском обществе действовала в одном направлении со стихами Рылеева.

Надворный судья Пущин дал слово навестить поэта в Михайловском. Его отговаривали: это опасно — Пушкин под двойным наблюдением, духовным и полицейским. Но Иван Иванович решения не отменил.

Один на один с Рылеевым он рассказал, что основал в Москве новое общество Практический союз, цели его действительно практические, близкие — освобождение крестьян от крепостной зависимости, в союз принимают только те, кто готов это сделать немедленно. Кондратий

Федорович предложил привести союз к идеям Северного общества, сделать его отделением, но Пущин такой возможности не видел: в Московской губернии развиваются огородничество и молочное скотоводство, господа помещики выгодно торгуют и полагают, что свободный крестьянин даст им еще больше барыша, иною мыслью их пока не увлечь...

Штабс-капитан Муханов жил в Москве, в отпуске у родителей, но и другое удерживало его в Первопрестольной – Варенька Шаховская, предмет сердечной страсти. В Москве родство меж дворянскими фамилиями завязано туго, а он, Петр Александрович Муханов – брат невесты князя Шаховского, брата его Вареньки; женитьба князя долго откладывается из-за несогласия старой княгини на этот брак, но если он все-таки состоится – церковь запретит Муханову жениться на Вареньке: она станет считаться его сестрой.

Штабс-капитан ждал.

Рылеев в ноябре послал ему из Подгорного рукопись «Дум» и «Войнаровского» с просьбой провести через московский цензурный комитет для издания их в Москве. Петр Александрович, занятый более сердечными делами, о рукописи забыл, только с приездом в Москву Кондратия Федоровича вспомнил о ней. С помощью князя Вяземского она в четыре дня прошла через цензуру и была разрешена к печатанию.

Дела в Москве у Рылеева шли хорошо, а тем временем на Петербург обрушилась беда.

Седьмого ноября произошло наводнение, какого город никогда не знал: с утра подул сильный ветер, погнал воду с моря в Неву, она вышла из берегов, затопила деревни на берегах, разрушила Галерную гавань, чугунолитейный завод, поднялась до окон нижних этажей зданий – по улицам плыли бревна, военная амуниция, всякий мусор, накопившийся во дворах и улицах, лодки.

Александр Александрович Бестужев отважно спасал квартиру друга на первом этаже дома Российско-Американской компании, командовал растерявшейся прислугой. Приказал конопатить двери, когда вода стала проступать сквозь щели в полу – приказал мебели ставить одну на другую, вынимать все из комодов, однако половина библиотеки оказалась все же подмоченной, попортились бюро и письменный стол Кондратия Федоровича, рабочий столик Натаниньки... В хозяйстве тоже урон – потонула корова.

Город весь день оставался во власти стихии.

Император стоял на балконе; по Неве против течения от Галерной гавани плыли деревянные домики, на крышах их из последних сил держались заковеневшие люди, зывали о помощи.

– Дорого бы я дал, если бы мог спасти сих несчастных, – вымолвил государь.

Стоявший подле него генерал-адъютант Бенкендорф немедленно спустился на набережную, прихватил с собой морского офицера и нескольких матросов, по пояс в воде добрался до дворцового катера, снял с крыш терпящих бедствие, разместил в госпиталях и предстал пред государем с докладом о выполнении его желания. Благословенный повелел принести генералу свой мундир, наградил его с царской щедростью. Морской офицер получил Владимирский крест, матросы – медали. Отличившихся было много, все были замечены и облагодетельствованы. Город приведен в прежний вид за какие-нибудь три дня. Вернувшийся в Петербург Рылеев видел только отсыревшие фундаменты да красные линии отметок, напоминающих, какой вышины достигала вода.

Человеческих жертв оказалось более двух тысяч.

Штабс-капитан Муханов уехал в Киев: княгиня Шаховская дала согласие на брак сына с его сестрой.

– Огонь беда, и вода беда, – оброчный крестьянин Агап Иванович, двадцати четырех лет, нанятый Рылеевым слугой, ходит по кабинету, сокрушается по порченной мебели, философствует: – А без огня да воды – и пуще беды.

Барин перебирает компанейские бумаги, но и за перышком тянется – записать особенное, что он, Агап, говорит. Хоть бы где и на улице услышит природное слово, в дом воротится да запишет в тетрадку.

– Как до наводнения-то нарядно было! А ноне поглядеть страшно, да и то сказать, мебели щегольские, чуть чего – распускаются...

Агап Иванович с лета служит у Кондратия Федоровича, боек и расторопен, все видит, все замечает: к хозяину гости валом валят, все больше военные да литераторы, сколько есть в Петербурге – все у него, из Москвы тоже бывают или откуда неведомо, только видно, что литераторы – языкатые, а язык-то безоборочная мельница: мели, сколько хочешь. «Как у вас в Москве?» – спрашивает Кондратий Федорович. – «Москва что доска: спать широко, да кругом метет», – отвечают... А хозяйка гостей не жалуется, уходит к себе – читает или лежит, отдыхает. Кто к ней ездит, так старуха Бестужева с некрасивыми дочерями да еще две старушки, родные сестры матушки Кондратия Федоровича, говорят, царствие ей небесное.

Только Агап Иванович их сестрами Настасьи Матвеевны не считает, может, какое тайное родство, а на простой глаз неприметно. Одна из них – супружница генерал-майора Чернова – Аграфена Григорьевна, в девках Радыгина, у нее поместье в соседней деревне Заречье, ее отца отставного надворного советника Григория Ефимовича Радыгина и поныне помнят, а Настасья Матвеевна в девках Эссен. Какое родство тут угадаешь: Радыгина и Эссен?

Рылеев мимолетом поглядывает на сосредоточенного слугу, деловито осматривающего кабинет, думает: не может же быть, чтобы божеский мир не знал сострадания, не знал веры и правды. Агап – собственность какого-то генерала, за заслуги отца отпущенный из тульских краев на обучение в Петербург. Собственность служила у разных господ и платила хозяину оброк по 120 рублей ассигнациями в год. И теперь платит.

Ему вспоминаются гостилицкие крестьяне. Об их хозяевах еще в семнадцатом веке язвилось в стихах:

*И Разумовский Петр, Румянцев Михаил,
Которых мозг умом Творец неотягчил,
Что б были, бедные, когда бы не порода
И тысяч по сту в год им каждому дохода?*

Да, да... В семнадцатом году армия перешла на новую форму, а у него – ни гроша. И матушка отказала.

«Ходишь в старом!?» – заморщился Сухозанет.

Подгорное не отпускает, стоит рядом. Звучит голос отца Иоанна: «Некий человек попросил Иисуса возложить руку на его умирающую дочь. Иисус взял девушку за руку и изрек: «Талифа куми!» – «Девушка, встань!» – Она открыла глаза и поднялась». Россия – как дочь того человека, хочется взять ее за руку и сказать: «Талифа куми!»

Слуга останавливается и смотрит на него:

– Вы что-то сказали?!

Кондратий Федорович просит не мешать ему, и Агап уходит. Его шаги по коридору тверды, основательны: чего не служить? Барин не кричит, не дерется со слугами, хоть и слуг-то у него кучер с горничной, кухарка да он, Агап. Голос у Кондратия Федоровича тихий, не то что у Александра Александровича: в наводнение так командовал, будто перед ним батальон стоял, но, может, правильно делал, растерялись людишки, а тут даже он, Агап, подхватил под уздцы пару ло-

шадей да на второй этаж, а так бы как есть утопли. Когда и бранится Кондратий Федорович, так только с Булгариным, но и то на польском языке. Это директора компании языков не знают, а Кондратий Федорович и на немецком, и на французском, и на американском, и на всяком азиатском, и хоть на каком может.

Мысли Кондратия Федоровича заняты подполковником Батеньковым. Этот сухощавый, в золотых очках брюнет высокого роста в доме Российско-Американской компании появляется чаще на втором этаже, у директора, там собираются люди практические, государственные, таков и подполковник Батеньков, Гавриил Степанович. На шумных обедах-ужинах рядом с генералами и адмиралами, действительными или просто статскими советниками, бывают и господа писатели. Разговоры касаются того и сего, и во всем Гавриил Степанович дока – инженер, географ, статистик. Тут всех забавляет рассказ, как во время наводнения по Невскому проспекту плыли бок о бок кошка и крыса, и ни та, ни другая не проявляли друг к другу интереса. Достославный Греч не упускает возможности позлословить:

– В то же время по Невскому на спинах мужиков ехали два приятеля – Борис Федоров и барон Дельвиг. Один кричит:

*Федорова Борьки
Мадригалы горьки.*

А другой:

*Дельвига баронки
Пакостны стишонки.*

Федорова Борьки за столом не было, а Дельвиг хохотал до слез. Батеньков ему подольстил:

*Дельвига Антонки
Мадригалы тонки.*

Оказалось, ко всему, он еще поэт и переводчик. Кондратий Федорович вспомнил, что читал сибирские очерки Батенькова в «Сыне Отечества» – обширные, умные, запоминающиеся. Колкости, насмешки, казалось, всегда жили в уголках губ, в прищуре глаз Гавриила Степановича, и оттого неожиданны были строгие, но может быть, даже поэтичные его географические описания: «Сибирь состоит из гористых мест и равнин. Все горы надвинулись с юга, обложив верховья рек Иртыша и Оби и оставив на свободе дальнейшее их течение...»

Батеньков родился и долго служил в Сибири – исполнял важную должность при генерал-губернаторе Сперанском... Вытребован в Петербург графом Аракчеевым, служит в управлении военных поселений, а также в Сибирском комитете и в Правлении Российско-Американской компании.

К нему пошли с вопросами, разговорами:

– В ваших очерках, стихах не просто живет русская природа – живет Россия, – говорил за столом Греч. – Откуда вы о ней столько знаете?

– Аз да всему горазд, – улыбался Батеньков. – Однако странно, на одного баяльщика семь ахальщиков. Дело же в том, что мы мало интересуемся своим, русским. Иностранные журналисты, кажется мне, стараются более своим читателям доставлять наших отечественных новостей, нередко через их посредство мы узнаем что-нибудь важное из своей жизни...

Рылеев стоял рядом, слушал удивительного подполковника и не мог собрать воедино слышанное о нем: отказался от места, на коем мог получить очередной чин, на службе у Аракчеева получает десять тысяч годового жалования, в Петербурге живет у Сперанского, возвращенного государем ко двору, но больше в Грузии – имении графа Аракчеева.

– А как ваша любовь к России уживается с военными поселениями, с прогоном сквозь строй, с двенадцатью тысячами ударов?!

Гавриил Степанович смягчил усмешку в уголках губ. Ответил:

– Встарь бывало – собака с волком жила.

Странно, но ответ понравился Рылееву – из гостей второго этажа Батеньков в скором времени стал завсегда-таем первого.

– А вы знаете, граф тоже окончил Первый кадетский корпус, – упомянул он однажды.

– Вот как?! – в растерянности только и нашел что сказать Кондратий Федорович. – Корпус дает России людей на все случаи жизни!

Подполковник ухмыльнулся, сказал, что все не так просто. Аракчеев воспринимается большинством россиян как мрачный опричник, но у него в именье открыт кредитный банк, каждый крестьянин может взять в нем ссуду для приобретения строительного леса, инвентаря, иного имущества для хозяйства. Крепостное состояние граф находит пагубным для Отечества.

Кондратий Федорович изумлен. Ему стали понятными поведение графа и ошибка Николая Ивановича Тургенева в объяснении оного: Тургенев издал книгу о налогах, в которой показал, что свободный труд производительнее рабского – против него поднялись все крепостники России, в их негодующем хоре не было только голоса графа Аракчеева. «Принципам и характеру его ничего не могло быть антипатичнее этого сочинения, – говорил Тургенев Рылееву. – Но будучи ловким придворным, он довольствовался тем, что восхищался эпохой, когда можно было писать и печатать подобные вещи».

– А Тургеневу известно, что графом разработан проект освобождения крестьян? – наслаждается удивлением Рылеев Гавриил Степанович. – Ведь в одном Государственном совете служат.

– Проект освобождения?! – Рылеев не верит своим ушам. – Как же это понимается на фоне военных поселений?

Прищуренный взгляд, насмешливая улыбка подполковника:

– Если проект будет принят, освобождение произойдет не ранее как через два века. Военные же поселения ускорят его, – Батеньков смотрит в окно, будто хочет увидеть это ускорение. – Жизнь народов происходит не в единообразной покорности мертвым законам или переменчивому произволу, но в непрерывной борьбе свободы с властолюбцем.

Они, в тайном обществе, думали, что с Батеньковым приобретут своего человека в Управлении поселениями – приобретали единомышленника.

Предполагалось подполковника Батенькова назначить секретарем Временного правительства.

32

В декабре переведен по службе в Киев князь Трубецкой – дежурным офицером штаба Четвертого пехотного корпуса.

Князь по отцовской линии – из Гедиминовичей: родоначальник их фамилии – внук великого князя литовского Гедимина; по материнской линии князь – прямой потомок грузинских царей. В Двенадцатом году он – офицер Семёновского полка, за ним Бородино и Малоярославец, сражения в заграничном походе и слава храбрейшего офицера.

Сергей Петрович мнения не меняет: монархия, ограниченная конституцией, освобождение крестьян с

небольшим наделом и только – большее породит второго Пугачева, а если возьмет верх Пестель – второго Наполеона. Россия еще не жила в условиях закона и просвещенного правопорядка, потому она не войдет в русло, но разольется половодьем. Он едет в Киев с надеждою смягчить пагубность мыслей Пестеля; Никита Михайлович Муравьев благословляет его на благородное дело.

В Верховной Думе на место князя заступает Кондратий Федорович, теперь в ней трое – Оболенский, Муравьев и он. Вокруг него звенит шпорами, сгорает от нетерпения молодая поросль: все Бестужевы – пятеро братьев, корнет конногвардеец князь Александр Одоевский, офицеры флота; солдатами Рылеева, отраслью Рылеева именуют они себя, завсегда и его дома.

«Наливайко» – его новая поэма лежит в столе, не движется. Но как-то он заходит в комнату квартирующего у него третий месяц Михаила Бестужева и читает исповедь своего героя:

*Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?!
Погибну я за край родной, –
Я это чувствую, я знаю...*

Мальчишески миловидное лицо Мишеля, с аккуратными усиками, вытягивается и бледнеет:

– Знаешь ли, какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою! Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.

Он не спешит с ответом.

– Старые командиры недоумевают: почему никто из них не помышлял оставить службу из того, что учили их сокрушительные зуботычники. Они исполняли обязанности, видя в том свой долг. Почему же мы рассуждаем иначе? – он смотрит печальными глазами на Мишеля, знающего и понимающего все. – Года не отвлекли меня от того, о чем я помышлял всю жизнь. Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть на минуту в своем назначении? Верь мне: каждый день убеждает меня в необходимости наших действий, пусть даже ценою будущей гибели. Даже и она послужит для пробуждения спящих россиян.

Над городом кружит снегами январь. Дня почти нет – начинается в сумерках, сумерками продолжается, гаснет в сумерках.

Он время мерит не днями – сделанною работой.

В кабинете лежат вдоль стены три доски, обтянутые холстом, на них – книги, корректуры, бумаги. Над досками протянута проволока, к ней прикреплен подсвечник. Он просыпается и идет к доскам, присоединяет к поясу свисающий от подсвечника конец проволоки. Передвигается вдоль досок – и горящие свечи в подсвечнике скользят за ним по проволочным дорожкам.

Дума поручила написать ему катехизис свободного человека, изложить в нем цели и правила общества для простого класса людей. Он знает, как его написать, но – не пишется...

Князь Александр Одоевский, поэт, не сочиняющий, но выдыхающий стихи, познакомил его со своим двоюродным братом Александром Сергеевичем Грибоедовым, чьею пьесой «Горе от ума» занят весь Петербург. Александр Сергеевич хлопочет об ее издании, однако это, видимо, ему не удастся: слишком остра, умна, беспощадна, талантлива. Какое правительство когда на

Руси признавало острый талант, не губило его?! Стих у Грибоедова изящен и звонок. Кондратий Федорович, слушая чтение автором пьесы, подумал: хорошо, что успел сказать о себе: «Я не Поэт, а Гражданин», иначе чувствовал бы себя уязвленным другим талантом... Но «Горе от ума» написано тоже Гражданином. В доверительном разговоре Грибоедов и тени сомнения не оставил в том, что ему известно о существовании тайного общества.

Он чем-то напоминал князя Вяземского: взгляд сквозь узкие стекла очков высокомерен, холоден; мысль отточена до афоризма.

И мнение его о тайном обществе было резким:

– Сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России!

Кондратий Федорович тогда подумал: что ж, может быть, прапорщики как раз и нужны для начала – молодая, без оглядки, отвага.

Грибоедов скептически улыбался, но из беседы с ним следовало: он сомневается лишь в силах, имеющихся для свершения дела, в необходимости же и справедливости его убежден твердо.

И неожиданно Рылеевым для катехизиса определилась форма – простая речь, народная, вопросы и ответы.

В январе Пущин побывал-таки в Михайловском. В его рассказе о встрече с другом – смех, печаль и терзания: он дурно чувствовал себя оттого, что долго скрывал тайну от Пушкина; в сей раз открылся ему – общество существует, но целей оно не раскрыл, и без того понятно: доведи они дело до свершенья задуманного – Александр Сергеевич будет с ними. Иван Иванович читал вслух привезенный из Петербурга список «Горя от ума» – Пушкин бурно восторгался; читал новые свои стихи, продиктовал для «Поляр-

ной Звезды» начало «Цыган». В ответ на переданное ему письмо от Рылеева просил обнять его крепко и благодарить за Думы, исполненные любви к Отечеству.

В апреле наконец собрался и съездил в Михайловское Дельвиг. Прожил у Пушкина неделю, неистребимой своей ленью вернул ему лицейское настроение, влюбил в себя всех барышень окрестных поместий, полеживая в постели, расхваливал рылеевского «Чигиринского старосту», хотя Александр Сергеевич уже высказал ему свое отношение к новой поэме Кондратия Федоровича – и оно было в пользу автора.

Рылеев слушал рассказ Антона Антоновича и думал: в апреле в Петербург вернулся Кюхельбекер, Пушкин приблизился на сотни верст к нему; может быть, придет время, когда окажется вместе вся троица, встретившая его в двадцатом у Сленина.

33

Капитан Якубович появился в столице с пистолетом: он приехал с Кавказа убить царя. В недавний год – секундант в на шумевшей дуэли графа Шереметева с графом Завадовским, коего секундантом был Грибоедов, Якубович удален государем из гвардии и отослан на Кавказ; там он становится известен своею храбростью каждому офицеру и каждому солдату. Его лихие налеты на боевые станы горцев неизменно заканчиваются удачей, он пригоняет в полк табуны лошадей и стада овец, делит их поровну на всю команду, ничего себе не берет, закатывает пир на весь мир и снова готов к набегу. В одной из схваток получает в висок черкесскую пулю – незаживающая рана принуждает его постоянно носить на голове повязку.

Несмотря на известные всей армии заслуги Якубовича, государь задерживал всякий раз производство его

в очередной чин, о возвращении в гвардию чрез высоких лиц просил забыть. Ермолов отправил капитана в отпуск для пользования в клинике, учрежденной при Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии. В мае Якубович встретился в Москве с находившимся там по служебной обязанности Бестужевым, тот увлек его либеральными разговорами, они сдружились. Естественным образом в Петербурге Якубович оказался знакомым накоротке с Рылеевым.

— Признаюсь, я не люблю никаких тайных обществ, — говорил Якубович. — По моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов. Я знаю, с кем говорю и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблен царем. Вы, может, слышали, — он достал из бокового кармана полуистлевший листок с приказом по гвардии и протянул Рылееву. — Вот пиллюля, которую я восемь лет ношу у ретивого, восемь лет жажду мщения. — Он сорвал с головы повязку, показалась кровь. — Эту рану можно было залечить на Кавказе без ваших Арендтов и Буяльских, но я этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом добраться до оскорбителя. И, наконец, я здесь и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем, делайте что хотите!

Никита Михайлович Муравьев, известившись о желании Якубовича, встревожился: роковой шаг этого человека мог свести на нет многолетние труды тайного общества, и просил Думу действовать на него, дабы он отказался от сведения счетов с царем.

Это сделал Рылеев — кавказский капитан обещал отложить исполнение своего замысла на год.

В сложившихся обстоятельствах Дума решила просить совета старейших членов общества — они в большинстве своем оказались в Москве; туда и направился Никита Михай-

лович. Пущин и полковник Нарышкин – у него на квартире полгода назад Кондратий Федорович читал стихи – в один голос просили всеми средствами воспрепятствовать замыслу Якубовича. Кроме того, Нарышкин, отпущенный в свое крымское поместье, обещал проездом побывать в Южной думе, испросить совета, как поступить в таком случае, чтобы не подвергнуть опасности существование самого общества.

Генерал Фонвизин имел то же мнение, но сверх того добавил: общество может сделать еще одну хорошую вещь – разойтись и посоветовать своим членам заняться исполнением семейных обязанностей. Генерал Орлов, видя, что Муравьев разговаривает с ним как с сочленом, сказал, что давно уже не принадлежит обществу и даже не знает, из кого оно состоит, потому никаких дел его решать не намерен. Но Никита Михайлович был настойчив: Дума хочет знать его мнение. И генерал ответил решительно: любыми средствами пресечь исполнение сего намерения.

Беспечен был лишь Александр Бестужев; говорил, подразумевая Якубовича и ему подобных:

– Кто словом скор, тот в деле не спор.

Муравьев из Москвы отправился в Орловскую губернию, к жене, находившейся в имении у своих родителей. Бестужев заменил его в Думе.

Кронштадт поднимался из моря куполами соборов, домами, гранитом набережных.

На море волна, ветер срывает с гребня соленую влагу, доносит до четверки молодых людей, стоящих у борта: двое в военном – корнет князь Одоевский, штабс-капитан Бестужев, двое в статском – Рылеев и Кюхельбекер.

Александр Александрович состраивает глубокомысленное лицо:

– Тихо море, поколе на берегу стоишь.

Ветер треплет светлые волосы князя Одоевского,

море добавляет сини его глазам. В двадцать три года князь выглядит отроком – розовощеким, тоненьким; отроческая непоседливость, казалось, затаена в каждой клеточке его тела. Он не только телом – душою тонок, она соткана у него из хрустальных нитей – и каждая отзывается чистым звуком на дружбу и любовь, на море и ветер. Одоевский тянет вверх подбородок, полуприкрывает глаза – ответом Александру Александровичу звучат стихи: князь не сочиняет – выдыхает их, они остаются только в его памяти и только в душах слушающих.

Стихи звонки и легкокрылы.

В кружке четыре поэта, но дар импровизации только у него – Александра Одоевского.

Кюхельбекер ловит обрывки собственных строк, рождающихся в голове, но стихотворение не складывается, он избирает тон Александра Александровича:

– И просится на берег, а лезет в реку.

– Ну это ты о себе, – сквозь грохнувший хохот прорвался голос Бестужева, – а мы договорились: о море.

Кюхельбекер устался на друзей, произнес со странной тихостью:

– В море глубины, в людях правды не изведаеть.

Кондратий Федорович в далеких мыслях, но в игру втянут:

– Колышет море ветром, молвою – народ.

Все переглянулись: Либерал и тут о Своем.

Его квартира на Мойке стала домашним кабинетом и кабинетом тайного общества, и Вольного общества любителей российской словесности, десятки людей проходят через сей кабинет, через русские завтраки, беседы и разговоры. За этот год в тайное общество принято в шесть раз больше новых членов, чем в прошлом, особенно много таковых за Александром Муравьевым, младшим братом

Никиты Михайловича. Им самим, Рылеевым, возведен в общество старший сын покойного генерала Малютина – Михаил, подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка. Нетерпение Рылеева передается молодой поросли, все ждут скорейшего дела. Для пользы общества господа офицеры соглашаются даже менять род службы: Михаил Бестужев только что перешел с флота в Московский полк.

Они плывут в Кронштадт будто бы для посещения театра по приглашению другого брата Бестужевых – Петра. На самом же деле им надо разобраться: может ли стать сей град, по примеру Испании, русским островом Леоном, может ли первым поднять знамя восстания?!

Оказалось, увы!

Воображение Рылеева рисовало Кронштадт цитаделью надежд общества, залогом успеха. Но город как крепость был едва ли не уничтожен наводнением прошлого года.

К тому же кто-то из офицеров флота отпал от круга единомышленников, кто-то переведен в Петербург, кто-то занят подготовкой к новому кругосветному плаванию...

Над городом стоял денно-нощный стук топоров, в помощь казенным плотникам приданы вольные плотники и флотские экипажи.

34

Все события – главные, неглавных теперь у него нет.

Жизнь убыстрялась, набирала скорость; являлось сравнение с ездою по лесу: едешь медленно – каждое дерево разглядишь, трепету каждого листика внять успеешь; но кони закусывают удила, несут, в лицо ударяет ветер – и уже не деревья видишь, но лес, не шелест листика слышишь, но шум леса. В его убыстряющейся жизни эти деревья и этот лес – события, отдельные или все вместе, мимо них, увы, не проскачешь.

Трубецкому в Киев с оказией отсылается запрос: разделяет ли князь мнение о необходимости подготовки флота на случай насильственного вывоза за границу императорской фамилии; в самом ли деле столь сильно и велико Южное общество, как говорил полковник Пестель; каково состояние принадлежащих обществу сумм; рассказывает также о положении дел в столице, о желании Якубовича покуситься на жизнь царя...

И еще, и еще что-то...

А тем временем гудят, бьются в сердце строки стихотворения; мысль отвлечется от иных предметов – они опять заполняют собою все существо.

*Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временищикам...
Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь;
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью и Черновым.*

В сентябре подпоручик Семеновского полка Константин Чернов дрался на дуэли с флигель-адъютантом Владимиром Новосильцевым. Дуэлями Петербург не удивишь. Но эта взбудоражила город, показала, что состоит он из двух враждебных миров.

Чернову по незнатности рода никогда не видать бы Семеновского полка, не будь полк раскассирован из-за истории с полковником Шварцем; Новосильцева дорога жизни вела прямо в свиту его императорского величества; молодой красавец богат и знатен, его мать – урожденная графиня Орлова.

У Чернова с Новосильцевым сложилось то же, что было у Кондратия Федоровича с Шаховским: Новосильцев влюбился в семнадцатилетнюю сестру подпоручика Екатерину, предложил руку и сердце, на правах жениха появлял-

ся с нею на людях, катался в коляске по окрестным полям, а потом стал искать повод для разрыва, исчезал, терялся. Братья Черновы догнали его в Москве, чтобы поставить к барьеру. Но там он дал слово немедленно отправиться к их отцу – просить руки несравненной божественной Катрин. Однако и после этого вел себя двусмысленно, не без содействия знатных особ – и дуэль стала неотвратимой.

Кондратий Федорович благоволил к юноше, члену тайного общества, и стал одним из его секундантов. Десятого сентября в шесть часов утра противники выстрелили одновременно: Чернов был смертельно ранен в голову, Новосильцев смертельно же – в бок, его перенесли в ближайший трактир, где он скончался.

Двенадцать дней и ночей между жизнью и смертью, то приходя в сознание, то теряя его, метался на солдатской койке в казармах Семеновского полка подпоручик Чернов. Записка, оставленная им перед дуэлью, ходила по городу: «Пусть я паду, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмеялись над невинностью и благородством души».

*На наших дев, на наших жен
Дерзнет ли вновь любимец счастья
Взор бросить, полный сладострастья –
Падет, Перуном поражен...*

Кондратий Федорович все эти дни почти не отходил от смертного одра юноши; хлопотали врачи над беспомощным телом, неслышно ступая, входили офицеры, статские; перед самой кончиною появился монах-черноризец – читал псалмы:

– По правде будет царствовать царь, и правители правосудно будут управлять. И будет каждый, как убежище от ветра и прикрытие от дождя, как потоки воды в сухой степи, как тень большой скалы в стране усталости, – голос

монаха то поднимался, то опускался до шепота, в иступленных глазах загорались и гасли сухие искры. – Ненасытный и оскверненный город-притеснитель! Он не слышит голоса, не принимает наставления... Его вельможи среди него – львы рыкающие; его судьи – волки вечерние. Его пророки легкомысленны...

Под речетатив псалмов Кондратий Федорович вспомнил: два дня назад ему исполнилось тридцать лет.

Тридцать лет!

Товарищи вынесли гроб с бездыханным телом Чернова, понесли к церкви. Стояла тишина – ни причитаний, ни слез, только сотни застывших лиц... Слезы и плач прорвались в церкви.

К Смоленскому кладбищу тянулась вереница не менее чем из двухсот карет, пространство впереди и позади них было заполнено бесчисленным народом: все честное, мыслящее, чувствующее собралось здесь, вся противостоящая часть столицы.

– Напрасно полагают, будто у нас нет общего мнения, – оглядывая похоронную процессию, произнес Бестужев. Двигались кареты. Шли люди.

*...Ты избран русским богом
Всем нам в священный образец;
Тебе дан праведный венец,
Ты будешь чести нам залогом.*

Стихотворение «На смерть Чернова» Кондратий Федорович написал в день кончины юноши. Кюхельбекер порывался прочесть его над могилой – ему не позволили: тайная полиция немедленно бы затеяла политическое дело – это в планы общества не входило, было бы совершенно некстати.

Князь Оболенский оправдывал зарождающиеся сомнения постоянным обращением мысли на один и тот же

предмет: общество, едва заметная частица огромного народа, имеет ли моральное право навязывать ему свои идеи, во имя их совершать государственный переворот, когда, может быть, он, народ, вполне довольствуется настоящим; если и ждет лучшего, то верит, что оно придет естественным путем? Разрешение сего сомнения необходимо было князю для внутреннего равновесия – он поделился мыслями с Кондратием Федоровичем.

– Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, они свободно рождаются, свободно развиваются в каждом мыслящем существе, – Рылеев отвечал горячо и убежденно, Евгений Петрович после сам не понимал, слова ли убедили его или эта убежденность. – Идеи сообщаются и, если клонятся к общей пользе, то высказанные частными лицами, выражают чувствуемое большинством.

В доказательство приводил примеры неудовольствия существующим положением в судопроизводстве как среди самих судейских, так и среди лиц, сопричастных с делами сего ведомства; неудовольствие купеческого сословия, может быть, глубже, обширней: правительство видит в нем новую силу, угрожающую ему самим существованием, потому ставит на его пути всяческие препоны. Российско-Американская компания, например, терпит от этого немалые убытки. Он приводил и другие свидетельства своей правоты. Почувствовав за сомнениями князя его охлаждение к идеям и целям общества, Кондратий Федорович стал бывать у него каждый день.

Философия и религия были темой их бесед.

Кавказской удали обнажающего кинжал Якубовича они, два члена Верховной Думы, дружно отказывали как средству осуществления государственного переустройства.

Но смех отчаянного капитана все же стоял в их ушах, – настораживающий, дерзкий:

– Сзывайте ваш Великий Собор и дурачьтесь досыта!

Десятого сентября в имении графа Аракчеева Грузине убита его домоправительница и любовница Анастасия Минкина. Это оказалось делом рук дворовых людей, а вернее, их отчаяния: покойница много лет измывалась над ними, наслаждалась мученьями себе подобных.

Всесильный граф забросил государственные дела, отложил в сторону империю, врученную ему уехавшим с большою императрицею на юг государем, укрылся в Грузии и предался мести: покарал всех виновных хотя бы косвенно, убийцу забивали палками до смерти под его окнами.

«Здесь покоится прах Анастасии» – повелел он выбить на памятнике.

Однажды поверх надписи оказалась наклееною бумага:

**«Здесь покоится прах Анастасии и Аракчеева
к себе зовет для благодати России»**

35

И откуда он взялся? Да еще в театре?!

Полковник Булатов, Александр Михайлович, Шуля, стоял посреди фойе, и руки его тянулись к Кондратию Федоровичу.

– Сколько же это лет?! Бог мой, мы считать начинаем уже десятилетиями! – он схватил руку Рылеева, затряс, полез обниматься. – Бог мой, Кондратий Федорович, дорогой Кондраша!

– Шуля! Господин полковник! – не знал, как избавиться от объятий, чтобы не обидеть своего гренадера Рылеев. – Я счастлив, рад!

...Батальоны прошли церемониальным маршем пред

высшими генералами русской армии, прошел оркестр, и музыка смолкла. Начался говорливый, хохочущий марш разброд – кадеты и офицеры, только что переставшие быть кадетами, попарно или компаниями расходились по классам, аллеям, дортуарам, где каждая мелочь вызывала воспоминания.

– Желаю удачи! – говорит Кондраша прапорщику Булатову. А мысль одна: «Когда сам-то, когда!» Уклоняясь от объятий счастливец, добавляет: – Удачи, побед, эполет генеральских!

Александр Михайлович останавливается, кладет ему руки на плечи, смотрит в глаза:

– Что до нее, то мы еще заставим ее пожалеть о многом!

На прощание крепкое рукопожатие и повторенный девиз:

– Родина, честь, слава!..

После театра они бродят по городу.

– Ты женат, у тебя семья, дети? – спрашивает Булатов.

– Есть все, как у всякого мужчины. Но могил, наверное, больше.

– В том-то и дело, – вздыхает Александр Михайлович.

– Корпус и радости, и печали детские. Ныне все все-рьез. А точнее, ныне все мразь и дрянь.

Булатов переполняется противоречивыми чувствами, голос становится громким, жесты резкими. Жизнь и служба складывались у него превосходно: чин следовал за чином, лейб-гвардии Гренадерский полк считал его своим знаменем. Но он презирал искательство, с командирами был прям – и они добились его перевода в армию. Он давно командует полком, давно полковник, но полк стоит чуть ли не в Сибири – в Пензенской губернии. В Петер-

бург его привели не театры: который год в Сенате не продвигается его имущественное дело, поверенный, коему за содействие было обещано тридцать тысяч, – обманщик и плут. Несправедливости преследуют Булатова все последние годы: друзьями императора, а паче графом Аракчеевым, оклеветан отец, сослан в Омск, где в марте этого года окончил свой земной путь. Еще при жизни отца он готовился отомстить им, а вместе с тем прекратить и жизнь самого государя, да отец не дал на то согласия...

Они расстались глухою ночью, дав слово навещать друг друга.

Петру Григорьевичу Каховскому, отставному поручику Астраханского кирасирского полка, упрямо не везло в жизни. Ему было дано чуткое, отзывчивое сердце, но, кажется, лишь для того, чтобы каждый мог его унижить, оскорбить. И сама жизнь оскорбляла бедностью и одиночеством. Дворянский род Каховских держался корнями за смоленскую землю, переплетался с корнями других родов, но Петр Григорьевич – как сухая, отпавшая от ствола веточка, никому не нужная, оттого забытая всеми. Вдобавок ко всему сокрушила отвергнутая любовь – потерянный, по болезни уволенный от службы, он в безразличии к жизни пустил по божьей воле дела в именье, сиротливо жавшемся к хозяйственной уюженности соседних имений. «Горе не море, – говорили ему, – выпьешь до дна. И все образуется». Не образовывалось. Однако Всевышним дается жизнь для какой-нибудь человеческой пользы; он решился употребить ее на дело свободы – собрался поехать в Грецию. «Не купишь ума за морем, – говорили ему, – коли нет его дома». Он подумал и согласился: жизнь родившегося в русской земле принадлежит России.

Рылеев познакомился с ним у полковника Глинка.

Лицо Каховского, с невозмутимым взглядом, с аккуратными усиками над аккуратным ртом, разительно не

вписывалось в круг открытых молодых лиц, казалось, обладатель его сидел в их присутствии на краешке стула.

Фраза за фразой – от слов знакомства до слов взаимного понимания, ненужным оказался пуд соли, который предлагается съесть, чтоб узнать человека. Внешняя сдержанность, уравновешенность Петра Григорьевича взрывалась от малейшего прикосновения к его незащищенной, обнаженной душе, начиненной обидами, чувством ущемленности и обойденности. Но мысли о судьбе Отечества поднимали его над самим собою, он пришел к осознанию истины: смыслом жизни может стать посвящение ее общей пользе. Кондратий Федорович возвел его в тайное общество.

Ушедшие в бесплодной отрешенности годы были пусты, душа Петра Григорьевича жаждала дела, высокого и отважного...

– Послушай, Рылеев! Я пришел сказать тебе, что решился убить царя, – произнес он однажды, едва войдя в кабинет Кондратия Федоровича. – Объяви Думе об этом. Пусть она назначит мне срок.

Кондратий Федорович вскочил с софы:

– Ты что, сумасшедший! Ты, верно, хочешь погубить общество!

Последовал трудный разговор. И не один... Обширность общества оставалась неведомой новопринятому, разгоряченному воображению оно представлялось более значительным, чем было на самом деле, в рядах его рисовалось участие особ высокого ранга. Воспрянувшая надежда воротиться в круг значимой жизни не остывала в Каховском, он торопил дело, оно оправдало бы существование его в сем мире. Но общество не было готово к тому, что воспоследовало бы за его осуществленным намерением. «Отложи!» – говорили ему и, малоимущему, недостаточному, ссужали на пропитанье деньги, оплачивали

портного. Он затихал на время и опять рвался; оставлял общество – и входил снова.

Общество не хотело крови, вернее, не хотело крови на своем знамени. Да, цареубийство, да, вооруженное восстание! Но кровь на знамени все же кровь...

У Думы возник план: Каховский с пылкостью решительно рвется к самопожертвованию, пусть будет так: он убьет царя, и победят ли они, потерпят ли поражение, пусть бежит за границу; коли будет схвачен – непременно будет казнен, притом общество нигде не должно быть им упомянуто.

В Летнем саду, на прогулке, Бестужев изложил ему сию перспективу.

Каховский взорвался:

– Я готов собой жертвовать Отечеству, но ступенью Рылееву или другому не лягу!

Александр Александрович передал эти слова Кондратию Федоровичу.

– Ты на словах, как на гусях, на деле же, как на балалайке! – в сердцах укорил Рылеев явившегося к нему Каховского.

Тот хлопнул дверью, оглушенный, бежал от дома у Синего моста. Он чувствовал себя выходящим к людям, но его даже в смерти хотят обречь на одиночество. По какому праву они возвышаются над ним, будто кричат вослед: «Не ищи моря, и в луже утонешь!..»

С лета прошлого года он в непрестанных нервических потрясениях. С братом по несчастной планиде Вильгельмом Кюхельбекером, чьей сестры поместье в Смоленской губернии соседствует с поместьями многих родственников Каховского, он появляется в имение одного из них, где встречается с очаровательной девушкой, только что приехавшей сюда в гости из Петербурга. И обоюдная любовь с первого взгляда: ему

двадцать пять, ей восемнадцать. Они в родстве. «Ах, дорогой друг, — пишет она подруге, — что это за человек! Сколько ума, сколько воображения в этой молодой голове! Сколько чувства, какое величие души, какая правдивость! Сердце его чисто, как кристалл, в нем можно легко читать, и его уже знаешь, повидав два или три раза. Он также очень образован, хорошо воспитан, и хотя никогда не говорит по-французски, однако знает этот язык, читает на нем, но не любит его в такой мере, как русский; это меня восхитило, когда он мне сказал об этом...». Все письмо — восторг и ощущение приближающегося счастья: «Русская литература составляет его отраду, у него редкостная память — он столько стихов мне продекламировал! Пушкин нравится ему невыразимо, он знает его лично, сказав:

*Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость, —*

он сделал такое замечание: «Как Пушкин хорошо знал сердце женщины: обманывай, но не разочаровывай!»

— Отец никогда не согласится на ваш брак: этот человек для тебя не подходящий, — сказали ей важные родственники, у которых она гостила.

Он в отчаянии. И пишет ей: «Неужели все погибло для меня? Вы еще можете быть счастливы, но я — где найду ту точку земли, где бы мог забыть, не любить вас... отвечайте скорее, молчание ваше убьет меня...» Она уезжает в Петербург, он следует за нею, назначает встречи с ее братом — и умоляет, умоляет. Предлагает бежать с ним — для венчанья он найдет и священника, и церковь. «Жестоко Вы желаете мне счастья, где оно без вас? Вам легче убить меня — я не живу ни минуты, если вы мне откажете! — пишет он ей. — Одно из двух: или смерть, или я счастлив вами... Не будете отвечать сего дня, я не живу завтра — но ваш я буду и за гробом». Девицу зовут Софья Михайловна Салтыкова. Она в регулярном

общении с подругой: «Я не знаю, что делать, но завтра, рано поутру, я повторю ему мою просьбу забыть меня и жить, если он меня любит... Правильно говорят, что жизнь женщины – почти всегда роман, – и добавляла: – Что касается меня, то скажу тебе, к большой моей радости, что, хорошенько испытав мое сердце, я нашла, что в нем не осталось уже ни одной искры любви к Пьеру Каховскому...»

Через полгода она стала женой барона Дельвига Антона Антоновича.

В Северном обществе о Каховском говорили с пренебрежением: проигравшись и разорившись в пух, приехал в Петербург в надежде жениться на богатой невесте.

В этом злословии правда была, но не вся, самая малая ее малость.

36

Император уезжал на юг в тяжелых предчувствиях.

Придворный шепоток разнес по столице: государь приготовил себе в Таганроге место для отдохновения от царственных трудов, надо быть готовыми к отречению от престола и возведению на него нового властелина России.

В Таганрог Александр прибыл пятнадцатого октября: через несколько дней отправился в Крым, откуда возвратился седьмого ноября больным. Известие о его болезни к Константину в Варшаву поступило девятнадцатого ноября, в Петербург к Николаю – двадцать пятого.

Двадцать четвертого ноября в доме графа Лавалья, французского аристократа, бежавшего в Россию от революции, обретшего здесь жену и богатство, из Жана Франсуа превратившегося в Ивана Степановича, праздновался день именин его дочери – княгини Трубецкой, супруги

Сергея Петровича. Князь в Петербург приехал в октябре, назавтра намечался его отъезд в Киев – кончался отпуск.

Он появился пред Оболенским с Рылеевым одухотворенный, уверенный, представил Южное общество совершенно готовым выступить будущим летом: два корпуса, без исключения нижних чинов, на коих найдено верное средство действовать чрез солдат Семеновского полка, безусловно принадлежат им. В словах Трубецкого, в его гордом взгляде чувствовалось желание возбудить у собеседников мысль об его личной причастности к делам на юге. Это было простительно: он столько лет состоит в тайных обществах, должна же она наконец появиться, стоящая за ним реальная сила. Он уполномочен спросить, в каком положении северяне.

– В плохом, – был искренен Оболенский. Трубецкой не моргнул глазом.

– Что вы можете сделать для содействия Южному?

– Ничего, если прочие члены Думы будут действовать, как прежде, – отвечал Рылеев, разумея под прочими Никиту Муравьева. – Я, пожалуй, готов со своею отраслью подняться, но мы будем верные бесполезные жертвы.

– А что Якубович?

– Якубовича можно спустить, да что будет проку? Общество с самого начала вооружит противу себя всех – никто не поверит, чтобы он действовал сам собою...

В конце вечера Рылеев отвел князя в сторону: есть известие из Таганрога, что император жестоко болен. Князь отложил отъезд единственно для того, чтоб узнать, чем разрешится болезнь. (Он вернется в Киев через тридцать один год.)

О смерти императора Варшава узнала двадцать пятого, Петербург – двадцать седьмого ноября.

К лежащему с простудой Рылееву влетел Якубович:

усы возмущенно топорщились, повязка на лбу чернела не-
отомщенной обидой.

–Царь умер! Это вы его отняли у меня!

Рылеев вскочил с дивана:

–Кто тебе сказал?

Буркнув нерасслышанную фамилию, Александр Иванович столь же стремительно исчез. «Какое значение сие будет иметь для общества?» – было первую мыслью Кондратия Федоровича. Он поднялся на второй этаж: там у директора компании квартировал приехавший из Москвы для устройства детей в учебные заведения Штейнгейль:

– Государь почил в бозе!

Произнес – и появилась мысль: «В бозе?». Умер в Боге. Зачем, почему посчиталось привычным сказать, что государь почил в веру, не сомневаясь в праведности своих трудов?

Владимир Иванович перекрестился:

– Не он умер, а смерть его подоспела, – не растерянность выказал, но смирение пред естественным ходом жизни. Поправил очки, поглядел строгими глазами и словно бы намекнул на что-то: – Умерший никому не помеха...

Штейнгейль отложил намечавшийся на этот день отъезд в Первопрестольную, чтобы появиться в ней тоже через тридцать один год.

В дом у Синего моста вбегали люди. Мысль у всех одна: восшествие на престол нового самодержца – удобный случай для свершения задуманного тайным обществом.

Трубецкой – высокий, поджарый – вошел, бросил шляпу на кресла:

– Полки, двор и Сенат с правительственными учреждениями присягнули Константину Павловичу, – он помолчал и зашагал по кабинету. – Впрочем, сие не беда. Надо подумать вот о чем: как помочь южным членам, если они поднимутся – они готовы воспользоваться каждым случаем...

Офицеры флота, полков гвардии появлялись, выпаливали новости, и взбудораженная сила выносила их вновь на улицы столицы; все понимали – наступало время непредсказуемых событий: смена владык на троне всегда ими чревата. В рассуждении объединения действий всех избрали единого руководителя – полковника Трубецкого.

Бестужев бегал по рылеевскому кабинету, его баритон рокотал:

– Обнаруживается разобщение во взглядах на происходящее, незначительность чинов господ офицеров, незначительность полков, ими представляемых. Где же общество, где государственные люди, где действователи, почему не проявляют себя? Где они соберутся, где план выступления? Во дворце более недели получают бюллетени о состоянии здоровья царя, а обществу даже неизвестно, что он был при смерти...

Бестужев сыпал вопросами, а Кондратий Федорович думал: «Таково наше положение: член Думы выговаривает другому члену ее за неподготовленность к немедленным действиям. Александр Александрович давно снял с себя всяческие обвинения, заявив: «Я солдат, я гожусь не рассуждать, а действовать». Он, разумеется, рисовался, но сейчас вопросы его – корневые».

– План действий? Надо его составить.

Он и братья Бестужевы садятся за сочинение воззваний к войскам, но скоро в мере сей разочаровываются.

Надо выходить в улицы, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и говорить: их обманули – не показали завещанье покойного императора, а в нем – воля крестьянам, солдатам – сокращение службы на десять лет.

Они вышли, останавливали и говорили.

Им верили.

Граф Аракчеев отслужил всенощную, сел в скрипящую всеми сочленениями колымагу и повез в Государственный банк пятьдесят тысяч рублей на хранение в течение века: в тысяча девятьсот двадцать пятом году сумма вклада поднимется до восьмисот тысяч, он в завещании определит их в награду тому, кто красноречивее и полнее напишет труд о его благодетеле императоре Александре.

Подорожные подписывались именем нового государя, в витринах магазинов выставлялись его портреты. Монетный двор начал печатать рубли с его изображением; на лицевой стороне портрет и надпись: «Б. М. Константин имп. и самод. всеросс. 1825». То есть – «Божьей милостью Константин император и самодержец всероссийский. 1825.» На обратной стороне – двуглавый орел в лавровом венке. Но Константин в Петербург не ехал; показалось странным, что Николай из своего Аничкова дворца перебрался в Зимний – пошли слухи об отречении Константина.

А он отрекся давно. Тому причиной – Иоанна Грудзинская, полячка, дочь именитого шляхтича, но не королевского рода. Константин заключил с нею брак в восемьсот двадцатом. Александр потребовал от брата тогда же отказаться от прав на российский престол – в январе двадцать второго Константин подписал отречение, в августе двадцать третьего Александр составил манифест, коим, ссылаясь на письмо Константина, передавал права на престол Николаю. Манифест в глубокой тайне хранился в Успенском соборе Московского Кремля, три копии его, подписанные государем, – в Синоде, Сенате и в Государственном совете. Содержанье его было известно Николаю, оттого он и перебрался в Зимний.

Пакеты в случае смерти Александра полагалось вскрыть в экстренных заседаниях прежде всякого другого действия. Воля императора не была нарушена, но царед-

ворцы, не любившие Николая за солдафонство, нашли повод попросить Константина подтвердить свое отречение.

Он же с подтверждением не торопился...

Тем временем слухи переворашивали подноготную августейшей фамилии; Николай объявлялся прижитым императрицей Марией Федоровной от гоф-фурьера Бабкина, а дочь ее, голландская королева Анна Павловна, — от статс-секретаря Муханова. По тем же слухам, сама Мария Федоровна не прочь была воссесть на русский трон...

Николай метался по Зимнему; на столе его лежали доносы о существовании в империи тайных обществ, намеревающихся прекратить в России существование единоправия.

Одна, другая ночь хождений по улицам темной, ушедшей в разговоры за плотными шторами и закрытыми дверями столицы, — и болезнь основательно уложила в постель Кондратия Федоровича; больной, он шлет и шлет в улицы других — братья Бестужевы увлекают с собой офицеров гвардии, гвардейского морского экипажа. Цель все та же — внушать людям: их обманули, утаили царское завещанье...

Трешит Варюха, береги нос и ухо.

Варюха мостит, Савва гвозди вострит, Николай прибывает.

Четвертое, пятое, шестое декабря.

Седьмого полковник Булатов чрез офицера лейб-гвардии Гренадерского полка получил приглашение навестить Рылеева.

Дав обещание после первой встречи в театре бывать в гостях друг у друга, ни Александр Михайлович, ни Кондратий Федорович его не исполнили. Снова случайно встретились в театре.

Дела в Сенате за это время не сдвинулись с места ни

на вершок – Булатов негодовал, правая, изувеченная в сраженьях рука его беспрестанно дергалась, взгляд полыхал, слова доносили из обуревавших его чувств и мыслей лишь гневные обрывки:

– В два месяца я даже не введен во владевные имением! Кто уравнивает весы правосудия в Сенате? Чья мысль, чтобы генералов, не способных ни к военной, ни к статской службе сажать за стол сенатора – они занимают место для одного счета? Дело их, чтобы подписать свое имя, пристав к чьей-нибудь стороне. Сенат наш не что иное, как торговое место. Кто из сенаторов имеет чистую совесть?!

Он не приводил чужих примеров, притчей о тех, кто в Сенат входил в кафтане, а выходил голым, он приводил свои: у мачехи его чуть не отняли дом напротив Исаакия, несмотря на то, что у нее на руках есть купчая, лишь вмешательство императора оставило дом за нею.

– Кто избавит, кто защитит нас от этих грабителей? Когда им придет конец?!

– Скоро, не далее как через год, – вырвалось тогда у Кондратия Федоровича.

Булатов смолк и уставился на него удивленным взглядом.

Пришлось намеками, с недомолвками кое-что рассказать...

Восьмого декабря Александр Михайлович появился в доме у Синего моста. Незнакомый полковник, сидевший у Кондратия Федоровича, представился князем Трубецким. Они сухо раскланялись – и полковник вышел после незначительного разговора. Перед больным стоял столик с книгами и лекарствами. Шея была повязана платком.

Александр Михайлович ни в молодости лет, ни ныне противуправительственным мыслям не сроден: одно дело

думать об очищении ведомств от нечестных людей, другое – замышлять государственное переустройство. Кондратий Федорович продолжением разговора, начатого в театре, смущает его донельзя.

– ...Комплот наш составлен из благородных и решительных людей.

– Так и должно быть, ибо на такие дела малодушным решаться не должно, – Александр Михайлович осторожен и скуп в ответах. – Подождут хвосты мигом.

– Тебя знают здесь за благороднейшего человека и давно ждут.

Александр Михайлович тронут: отважные неизвестные люди отдают ему должное, но вслух считает нужным сказать о совсем ином:

– Я имел счастье пользоваться лестными наименованиями покойного императора при осмотре войск нашего корпуса. Его величество в прошлом году изволил изустно назвать меня отличным и храбрым полковником.

– Ты рожден для славы, – ответил Рылеев.

Здесь появились люди, разговор прекратился. Александр Михайлович походил по кабинету, порассматривал книги и попросил приятеля познакомить его с женой и дочерью.

37

Междущарствие, затянувшаяся переписка августейших братьев, пустующий трон становились притчею во языцех, рождали слова насмешливой пренебрежительности:

– Русская корона подносится, как чай, никто брать не хочет.

Ненавидимый гвардией, презираемый многими высшими государственными сановниками, Николай безымянно, неаявственно появлялся в намеках.

– В императоры ныне выходят так же, как из прапорщиков в подпоручики...

Десятого декабря наконец все решилось: в Петербург доставили письменное подтверждение Константина об отречении; на четырнадцатое объявлялась переприсяга – на трон всходил Николай.

– В чем польза Отечеству? – спрашивал в ежедневных приездах к Рылееву дотошный Булатов: мысли путались в голове, в сердце – чувства; в никаком светом не освещенном еще, начинающемся за четырнадцатым декабря будущим рисовались неясные картины, всплывали нечаянные прежде надежды, строились планы. Кондратий Федорович объяснял: когда успеем в своем предприятии, лишим власти тех, кто присвоил ее над себе подобными, устроим Временное правление, а потом передадим власть народу. Булатов возражал: но это не что иное, как замена одного властелина другим. К тому же, если переприсяга состоится, можно надеяться на возмущение полков – они уже присягнули Константину, и он у них в чести, а если он не откажется от престола?

– Тогда главные участники заговора, – говорил Рылеев, – должны стараться входить в милость его, искать мест ближе к нему, оттесняя преданных царедворцев, и совершенно завладеть им – в таком случае то, что должно случиться вот-вот, произойдет, может быть, через год.

Но Булатова это не убеждало.

– В чем польза Отечеству? – снова и снова спрашивал он, но Кондратий Федорович уже не успевал толком ответить: то и дело кто-нибудь приходил, и чаще не один, но компанией – молодой, взбудораженной. Двенадцатого Александр Михайлович был у Рылеева дважды: утром говорили о том о сем, Кондратий Федорович подарил ему

две книги своих сочинений, сказал, вечером будет собрание всех командиров, коих войска готовы выступить.

Военным глазом Булатов определил: войск у заговорщиков мало — одни ротные командиры, не больше шести рот. Мелькали полковники, но быстро уходили. Рылеев успокоил: есть пехота, кавалерия и артиллерия, все есть, просто офицеры уже разъехались.

Вошел Якубович. Александр Михайлович был с ним знаком заочно: армия восторгалась рассказами о его героизме, и сам он о себе рассказывал в журналах мужественно, романтично. Якубович послушал-послушал разговоры молодых офицеров и предложил: для успеха дела надобно убить царя. Но оговорил:

— Я, потеряв свою службу, жертвовал собою против горских народов для того единственно, чтобы иметь случай отомстить государю. Я его ненавидел и умел бы отомстить, но, господа, должен сказать вам, что имею добрую душу, нынешний государь не сделал мне никакого зла, я не могу его ненавидеть, а убить человека и государя — надобно иметь злобное сердце.

Якубович ворочал огромными страшными глазами, расправлял кулаком огромные усы, поправлял повязку на лбу — офицерская молодежь была зачарована благородным воином, страстно желала быть похожею на него.

Сердце Александра Михайловича наполнялось восторгом. В горячем порыве он призывал: нам мало остается времени рассуждать, если не надеетесь на себя, на своих солдат, лучше отказаться от предприятия, но если уж решаться, то надо знать, что дороги назад нет; он здесь не имеет никакой команды, на бывших своих лейб-гренадер не надеется, потому может рисковать лишь одним собою, и его дело — только явиться на площадь.

Якубович с сожалением признался в том же — нет у

него под началом ни одного человека, но на Петровской площади он будет первым.

Единственным человеком, не вмешивающимся в разговор, был полковник князь Трубецкой: сидел молчаливый, величественный, на голову возвышающийся надо всеми. Послушав, встал и направился к выходу; Рылеев вышел его проводить.

– Не правда ли, господа, у нас достойный начальник! – сказал он, воротясь.

Булатова передернуло: князь не знает еще, чем кончится дело, а уже принимает вид настоящего монарха; оттого они, видать, не открывают ему предполагаемого блага, что сами хотят стать у власти. Он усмехнулся. Якубович увидев его усмешку, будто продолжил-высказал мысль:

– Да, он довольно велик!

Все улыбнулись: капитан явно имел в виду рост князя – чуть ли не три аршина.

Они уезжали вместе.

– Давно ли вы в этой партии, известна ли вам отечественная польза сего предприятия? – дознавался Булатов у Якубовича, на что Александр Иванович отзывался неведением. – Как велики наши силы? Давно ли знакомы вы с этими людьми?!

О силах Александр Иванович отозвался также неведением, о знакомстве же пояснил:

– Князя вижу впервые, Рылеева также хорошо не знаю.

– Я подозреваю, что нас обманывают, с нашей помощью хотят взойти в правление государством, а может быть, и на трон российский, – в смятение мыслей, надежд, опасений говорил Булатов. – С Рылеевым я воспитывался в одной роте в Первом кадетском, мне кажется, он рожден

для заварки каш – столько их заварил в корпусе... – Езды немного, несколько минут, надо успеть высказать все и не оставить по себе дурного мнения, Булатов меняет тон: – Но теперь он, кажется, порядочный человек, и чего я не ожидал – довольно хорошо пишет, между прочим, Думы его все возмутительные, а его дуэли доказывают, что в нем есть дух.

Якубович будто не слышал последних слов:

– Они мне все кажутся подозрительными.

Герой-романтик Александр Иванович, не расстающийся с большим кавказским кинжалом ни в театре, ни на балу, приехавший в Петербург единственно для сведения счетов с венценосным обидчиком, тайно от друзей, света и общества хлопотал о возвращении в свой лейб-гвардии Уланский полк и именно сегодня праздновал победу, тайную, но желанную, – приказ подписан! И слушая полковника, он считает шансы.

Полковник предлагает: поскольку предприятие заговорщиков темно, силы войск неизвестны, то, если предположения их для Отечества полезны, участвовать в выступлении, если же выяснится другое – отстраниться. Для выяснения целей общества не ехать к Рылееву и Трубецкому, но звать их к себе. А так как армейцы здесь только они двое, то во всем следовать друг другу и защищать друг друга...

Булатов думал в постели: он искуснее Трубецкого в военном ремесле, тверже духом, значит, начальство над войсками отдадут ему. Трубецкой напрасно надеется стать над всеми, у него есть два врага: капитан Якубович и он, полковник Булатов, для князя – довольно.

38

– Господи Иисусе Христе, сыне Бога живаго, – Кондратий Федорович спал, но будто стоял на коленях в цер-

кви, творил молитву. – Се аз, недостойный и паче всех грешнейший, смиренно колена сердца моего пред славою величества Твоего преклонив, воспеваю Крест и страдания Твоя... – Голос уходил под купол, возвращался оттуда эхом и заполнял собою пространство церкви. – Пою Твое неизреченное долготерпение, величаю неисповедимое истощание.... – Разверзался купол, небеса разверзались. Всевидящее Око изливало на него свой свет, он бил поклоны, накладывая на себя крест. – Славлю Твою безмерную милость, поклоняюсь пречистым страstem Твоим, и вселюбезно лобызая язвы Твоя, вопию: помилуй мя, грешного...

Над ним, пустынным, над пространством церкви, может быть, надо всем земным миром раскатился, отражаясь от стен, глас свыше:

– Я пришел отменить жертвоприношения. Если вы не оставите жертвоприношений, гнев божий не оставит вас.

Он поднимает голову, внимает гласу и понимает: Царь Небесный вступает за Царя Земного.

Сон становится полусном, видения исчезают вместе с голосами, пробуждающийся мозг соединяет их воедино.

Он просыпается окончательно. Руки безвольно лежат вдоль тела – будто во всем нем остановилось движение.

Кухарка в прихожей с кем-то судачит:

– Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится...

– Какой силы достаточно для свершения наших намерений? – спросил Трубецкого Кондратий Федорович.

– Довольно одного полка.

– Так нечего и хлопотать. Можно ручаться за три! А за два – наверное.

Во вдохновенных мечтаньях о будущем, увлеченный азартным порывом молодых офицеров – сколько их у него побывало за эти дни! почти из каждого полка гвардии! – он видел даже не три, в два раза больше полков, взявших их

сторону. В Московском – Михаил Бестужев, князь Щепин-Ростовский; пусть князь случаен, не состоит в обществе, но честь его ущемлена – присяга снята, глумление над ней не дозволено никому – он присягнул Константину, долг чести повелевает оставаться верным ему. В Гренадерском – отчаянная молодежь, под рукою – любимец полка Булатов. В Морском экипаже – его, рылеевская, отрасль, веское слово, духовная власть Николая Бестужева. В Измайловском – управа их общества...

Князь Оболенский, как старший адъютант командующего гвардейской пехотой генерал-лейтенанта Бистрома, поручался за Егерский полк – Бистром командовал им двенадцать лет, полк был предан ему, а Карл Иванович не благоволил к Николаю.

В руках Оболенского нити восстания: он избран начальником штаба.

Штабом и Думой секретно выношен хитроумный ход: кому-то, верному чести и делу, взять на себя позор доносителя, пойти к великому князю с известием о готовящемся восстании, а после сообщить об этом как можно большему числу членов общества – сим Николай будет приведен к растерянности, может быть, откажется от престола, а члены общества будут подвигнуты к мысли о начале немедленных действий.

Поручик Яков Ростовцев, сослуживец и друг Оболенского, на себя возложил опасное, отторгаемое всем существом бремя.

И предстал пред Николаем: в столице заговор, умышляется воспользоваться настроением солдат; ваше высочество, для отвращения кровопролития надобно подождать Константина Павловича – пусть откажется всенародно, или самому отказаться от восшествия на престол.

– Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их... – Пред его высочеством лежали до-

носы истинных доброхотов, он знал о шаткости положения, с пониманием обстоятельств писал начальнику Главного штаба: «Послезавтра, поутру, я – или государь, или – без дыхания», знал – и оттого был благоден. – И не называй!

Ростовцев доложил Оболенскому о совершении возложенного на него, написал отчет о разговоре с Николаем, переписал поданное ему письмо – обе бумаги стали известны членам общества. В них само оно не называлось, не называлось ни одного имени, но...

– Уверен ли ты, что все, писанное в этом письме, и разговор совершенно согласны с правдою, и что в них ничего не убавлено против изустного показания Ростовцева? – спросил Николай Бестужев Рылеева, выражая общее беспокойство.

– Оболенский ручается за правдивость этой бумаги.

Обрекший себя на позор поручик появляется на квартире Рылеева пред офицерами, оскорбляющими его, призывающими лишить жизни предателя.

– Да черт с ним, пусть живет, – презрительно отзывается Рылеев. Но когда разгорающиеся страсти начинают угрожать жизни поручика, говорит: – Ростовцев не виноват, что различного с нами образа мыслей... Он действовал по долгу своей совести. – И обнимает совсем потерявшегося Якова Ивановича.

Молодая отрасль – «солдаты Рылеева» – рвется в дело, она считает непростительным малодушием, преступлением не воспользоваться обстоятельствами и не начать задуманное. Почти теми же словами писал из Москвы Пущин, узнав о междоусобице: «Случай удобен. Ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов». И вслед за письмом сам отправляется в Петербург. Корнет князь Одоевский, едущий в отпуск к отцу во Владимирскую губернию, встречается с ним – и возвращается.

– Умрем! Ах, как славно мы умрем! – восклицает он на собраниях общества.

Перед отъездом из Москвы Пушкин пишет в Михайловское – зовет в Петербург Александра Сергеевича.

Пушкин решает: при важных государственных обстоятельствах не обратят внимания на его непослушание – и намеревается ехать. Рассчитывает появиться в Петербурге поздно вечером тринадцатого декабря и, чтобы не огласился в свете его приезд, остановиться у Рылеева. Велит слуге готовиться в путь, а сам отправляется проститься с тригорскими соседями; по дороге туда и обратно зайцы пересекают его путь. Он суеверен, но намерения не оставляет; однако при выезде в воротах появляется священник – это уже не столько дурная примета, сколько реальный соглядатай...

– Мы мало того что не признаем законным настоящее правительство, мы считаем его изменившим и враждебным своему народу, действия против него не только не считаем незаконными, но глядим на них как на обязательные для каждого русского, как если бы пришлось действовать против неприятеля, силою или хитростью вторгнувшегося в страну.

Кондратий Федорович у себя дома, у Оболенского, у полковых командиров говорит об одном и том же – о правоте их дела и видит у старших начальников если не страх, то колебанье в душах, а молодежь горит.

Воинственный Якубович настаивает:

– Надобно разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и идти ко дворцу!

Его предложение решительно отвергается.

– С этими филантропами ничего не сделаешь; тут просто надо резать, да и только, – выговаривает аккуратными губами Каховский.

Правительство готовило манифест о восшествии на престол Николая.

Тайное общество готовило свой: уничтожение бывшего правления, уничтожение права собственности, распространяемого на людей, равенство всех сословий перед законом, уничтожение рекрутства и военных поселений, убавление срока службы для нижних чинов, учреждение Временного правительства...

Вечером тринадцатого декабря утвержден план действий: во главе гвардейских полков выйти на Петровскую площадь, силой оружия заставить сенаторов отказаться от присяги новому императору, издать предложенный манифест; назначенный диктатором князь Трубецкой решает политическую часть плана, военными действиями руководят капитан Якубович, полковник Булатов; капитан захватывает Зимний дворец, полковник – Петропавловскую крепость, благо, там стоят в карауле его любимые лейб-гренадеры...

Рылеев обнимал Каховского:

– Любезный друг! Ты сир на сей земле; ты должен собою жертвовать для общества: убей завтра императора.

Вызывать Трубецкого с Рылеевым к себе им не пришлось – наутро полковник Булатов получил записку: «Любезный друг!... явись завтра, пожалуйста, в 7 часов в лейб-гвардии Гренадерский полк. Любезный, честь, польза, Россия. Кондратий Рылеев».

Якубовича Булатов не застал на квартире; среди ночи появился в доме у Синего моста – узнал, что собираться на площади завтра не в семь, но в восемь часов, что Якубович в батальоне экипажа: ему утром вести его на дело.

39

Барон Штейнгейль спустился к Рылееву – прочитать вступление к манифесту, над коим работал всю ночь. В

семь часов у Рылеева – Трубецкой, Пущин, Каховский, Оболенский, Бестужевы.

Каховский посылается к лейб-гренадерам, Николай Бестужев – к морякам.

Булатов приказал камердинеру разбудить его в пять часов, но проснулся сам; зовет слугу – лишь четыре часа. В воспаленном воображении будущее встает то в черном, то в розовом цвете, душа суеверно клонится более к черному, чтоб не сплзнуть: он пишет записки к матери – пусть блюдет его деток, к знакомым помещикам, офицерам – объясняет, что смертельно болен; дает двести рублей камердинеру за верную службу, назначает ему вольную в записке к брату, велит: если он, Александр Михайлович, не вернется к часу – письма отнести на почту. Молится. На часах около восьми – он едет к Якубовичу.

– Вообразите себе, – говорит Александр Иванович, помешивая ложечкой кофе, отгибая рукава халата, – что они со мной сделали. Обещали, что я буду начальником баталиона экипажа, я еду туда, и что же? Господа лейтенанты велят мне нести хоругвий... Я сам старше их всех и столько имею гордости, что не хочу им повиноваться. Не общество – стадо!

– Мы будем обмануты! – утверждает в мысли Булатов.

Повторяют уговор: один без другого не выезжать и не приступать к делу.

Матушка провожала их с Настенькой из Подгорного в слезах и трауре – не снимала с плеч черной шали с дня похорон Михайлы Андреича:

– Как уж пошло, доченька, не остановишь: боженька призывает нас в свою обитель одного за другим. – И перечислять отказывалась: наведешь Всевышнего на мысль увеличить счет.

Знакомой дорогою через осень ехала Ангел Херувимов-

на в Петербург, давнее чувство теснило грудь: не принесет им счастья столица; город жил чужою для нее жизнью, его качели слишком круто вздымались ввысь, слишком круто вниз опускались, в его карусели не запомнить лиц: сегодня – одно, завтра – другое. В этой неустойчивости городской жизни собственная ее жизнь казалась неустроенной, шаткой, постоянное ощущение подстерегающих всюду бед не оставляло ее. Частое многолюдье в комнатах Кондратия Федоровича, громкие разговоры пугали ее тайной полицией, Петропавловской крепостью. А с кончиной его величества ничего в душе не было, кроме страха: она боялась смотреть в глаза супруга, боялась выходить из своих комнат.

Этой ночью не спал никто.

Приходили и уходили люди, она прислушивалась к возбужденным голосам, к каждому шагу. И когда Кондратий Федорович направился к двери, она поняла: это все! Выбежала в коридор простоволосая, зареванная, простерла руки:

– Оставьте мне моего мужа, не уводите его, я знаю, что он идет на погибель!

Николай Бестужев, капитан-лейтенант, суровый флотский офицер – под ее горестным, полным отчаяния взглядом опустил глаза. Рылеев не смог скрыть замешательства.

– Настенька, проси отца за себя и за меня!

Настенька выбежала, обняла Кондратия Федоровича за колени, Натанинька, теряя чувства, упала ему на грудь. Он отнес ее на диван, высвободился из рук дочери и жены, выбежал в темное утро.

Вместе с Пушиным объезжал полки, передавал господам офицерам приказ не допускать солдат до присяги, стараться увлечь их на площадь.

Снежно и холодно.

Рассвет не торопится подниматься над что-то задумавшею Россией.

Площадь пуста, хоть и намеченный час.

План Трубецкого рушится пункт за пунктом. Якубович отказался брать Зимний, Булатов – Петропавловскую крепость, сенаторы присягнули Николаю, разбегались: князю некому вручить манифест для всенародного известия.

Сенат пуст, окна его темны.

Иван Иванович смотрит на Рылеева:

– Кого назначили в командиры!

День, к которому шел он из глухоманной темени детства чрез глухоманную темень юности, начинается нехотя, может быть, вообще не начнется – намеченный час, а площадь пуста. Они с Иваном Ивановичем, объезжая полки, не входили в казармы, но ведь там и есть та сила, что нужна им теперь. Царь Петр поднимает руку с растопыренной пятерней – не благословляет, дождется времени – и прихлопнет. Кондратий Федорович опускает голову, сознается Пушкину:

– Случайных людей.

Но как сие получилось? Оказавшийся на три месяца в Петербурге, ни слухом ни нюхом не знавший о тайном обществе Булатов, неведомо, кто такой, каких мыслей – в решительный час получает на свои плечи многолетние надежды общества. Ему показалось достаточным, что это – Шуля Булатов... Чуть долее обитающий в столице капитан Якубович – лишь бесстрашный удалец в горах, романтический блеск в салонах... Как сие получилось?

Булатов известен в лейб-гвардии Гренадерском, Якубович – во всей столице... Выходит, их общество ничего своего не имело? Его полковники и генералы – лишь для разговоров...

От Якубовича Булатов поехал в Зимний – поблагодарить знакомого генерала за хорошее к нему отношение, узнать, не будет ли каких препятствий для завтрашнего его, Александра Михайловича, отъезда в полк. Генерал был у присяги. Булатов поехал в Главный штаб.

– Когда будет присяга находящимся в столице военным чинам? – спросил в канцелярии дежурного генерала.

– Завтра.

Он поехал к Рылееву.

Здесь все лица знакомы, незнаком князь Оболенский – начальник штаба. Какая радость вспыхивает на его лице, в голубых глазах!

– Вы с нами!

– Господа! Если войска будет мало, я не стану мараить себя и не выеду к вам, – охладил надежды Александр Михайлович.

Его стали уверять: на площади будет все – артиллерия, кавалерия, пехота.

Он снова отправился к Якубовичу, по дороге заглянул домой, наказал брату, собирающемуся к присяге в лейб-гвардии Гренадерский полк, чтобы никто из офицеров не произносил там его, полковника Булатова, имя.

Кондратий Федорович послал верного Александра Александровича в Московский полк, тот вскочил в возок, подумав: «Якубовича во что бы то ни стало!»

Булатов застал Якубовича выходящим из дома. Договорились встретиться на бульваре, ближе к площади, или на Английской набережной.

Князь Трубецкой призвал к себе Пущина и Рылеева, объявил: в создавшейся обстановке план его недействителен. Сенат присягнул, в казармах спокойно, а Зимний дворец не взят. Лицо князя холодно, взгляд скользит. Петербург тих, и та же тишина в кабинете дворца на Английской набережной – рассуждения призваны не изломать ее: если переворот и случится, внезапности не будет, за сим – кровопролития, жертвы. В руках у князя царский манифест:

– Присяга, судя по всему, пройдет благополучно.

– Однако ж вы будете на площади, если будет что-нибудь? – спросил Пущин.

– Да что ж, если две какие-нибудь роты выйдут, что ж может быть?

Они вышли, не глядя в глаза друг другу. Кондратий Федорович распахнул полы дорогой шубы, обеими руками расслабил галстук и начал с полушепота: кровопролитие – за этим мнится разбой, им давно пугают; барон Штейнгейль куда как убедительно два дня назад доказывал, что, например, в одной Москве девяносто тысяч дворовых, всегда готовых схватиться за ножи – и тогда первыми жертвами их станут бабушки и тетушки либералов...

Одиннадцатый час, а площадь пуста.

Царь Петр все решительнее заносит руку.

Рылеев будто слышит себя самого во вчерашнем, в позавчерашнем днях:

– На успех видов мало, но все-таки, все-таки надо выступить: начало и пример принесут плоды.

40

Штабс-капитан князь Щепин-Ростовский обнажил саблю. Дорогу княжеской чести загораживать смертельно опасно: оружие, не вложенное в ножны горячо.

Две роты лейб-гвардии Московского полка вышли на улицу – впереди два брата Бестужевых, Михаил и Александр, и он, Дмитрий Александрович Щепин-Ростовский. Его на площадь вел долг чести, верность данной присяге, коей играть он никому не позволит.

Александр Александрович оглядывался и хвалил себя: хорошо говорил перед полком – это его слово двинуло людей на площадь. Оглядывался – и улыбался: он хорошо говорил, солдаты хорошо отвечали:

– Лиха беда полы шинелей завернуть, а там пошел...

Их приветствовал выбежавший из своей квартиры Якубович – в парадном мундире, шляпа с белым плюма-

жем поднята высоко вверх на сабле; как старшему по чину командование передается ему.

– Две роты Московского полка приведены на площадь! – известил Пущина с Рылеевым Якубович возле дома у Синего моста.

«Так и должно быть!» – не возликовала душа Кондратия Федоровича, но отлегло от нее. Только что жизнь представлялась словом, бесследно растворившимся в воздухе, но она занялась светом этого декабрьского дня. Пусть две роты, пусть, но день занялся.

Пустая площадь еще стояла перед глазами, труды их общества только что казались затраченными впустую, – а уже две роты! Вооруженная сила, поднятая и развернутая ими!..

Якубович вдруг произнес:

– Голова разболелась, – он коснулся рукой повязки, слабо улыбнулся. – Иду домой. Но я скоро вернусь.

Барон Штейнгейль, бессменно дежуривший на квартире Рылеева, поднялся из-за стола, держа в руках манифест, спросил:

– Может быть, он уже не нужен? – и осекся, увидев необычные – просветлевшие – лица товарищей.

– Повремени! – попросил Кондратий Федорович, надел поверх сюртука солдатский подсумок – и за ним хлопнула дверь.

Пришедший с сообщением, что полки гвардии присягнули императору, Ростовцев стоял в растерянности, недоуменно смотрел на дверь, за которой уже исчез и Пущин.

Площадь жила новой жизнью.

Генерал-губернатор граф Милорадович, любимец солдат, всего Санкт-Петербурга, подскочил к восставшим ротам: присяга Николаю законна, если бы трон принадлежал Константину, он, Милорадович, первым бы стал защищать его, в доказательство чего вынимал и показывал

шпагу, подаренную Константином, «другу моему Мило-
радовичу» – были на ней слова, взывал к долгу и разуму
солдат, к памяти восьмьсот двенадцатого... Новая жизнь
не хотела его слышать – его просили отъехать. Однако
граф надеялся на свое красноречие. Оболенский штыком
развернул его лошадь, ранив графа в бедро. Каховский, от-
казавшийся утром покуситься на жизнь императора, вски-
нул пистолет, и вылетевшая из его ствола пуля, единствен-
ная из многих тысяч пуль за долгую боевую жизнь графа,
попала в него. Упавшего на луку седла, лошадь понесла
его прочь. Ярко вспыхнула и тут же погасла перед глазами
Рылеева картина: лес и поле, синие мундиры французов и
лошадь, уносящая генерала в белом, тело коего клонится
то влево, то вправо, то падает вперед...

К площади прибывают присягнувшие Николаю вой-
ска, простой люд прибывает, но где командиры, где вой-
ска общества?! Рылеев идет к лейб-гренадерам, но узна-
ет, что одна рота их на пути к площади – и возвращается.
Вышедших на площадь увещевают уже святые отцы, но
в словесной перепалке держат верх солдаты. А тут из-за
Невы – ура! Еще идут гренадеры, морской экипаж... Свя-
тые отцы, подобрав подола ряс, улепетывают прочь. Но
где командиры? Рылеев пробирается сквозь толпу, идет к
Трубецкому – того нет дома.

Их уже три тысячи.

Жители Петербурга спешат к Петровской площади.

– Самое удивительное в этой истории – это то, что нас
с тобой тогда не пристрелили, – много позже говорил Ни-
колай младшему брату Михаилу Павловичу.

Двадцатидевятилетний император мог не только ли-
шиться жизни, но и оставить род без престола. Присягнув-
шие ему полки на площадь поспешали медленно, первым
прибыл полк Конной гвардии – через полтора часа.

Направляющийся к площади император встретил одинокого офицера с черной повязкой на лбу.

– Я был с ними, но услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам, – сказал офицер.

– Спасибо, вы ваш долг знаете.

Император приложил руку к шляпе. Посоветовавшись со свитой, подозвал к себе офицера: не согласится ли он передать бунтовщикам, что если они разойдутся – будут помилованы.

В идущем с белым платком офицере восставшие узнали капитана Якубовича, закричали ура.

– Государь вас боится, – сказал он им. – Держитесь крепко.

А Николая оповестил: бунтовщики решительно отказываются признать кого-либо императором, кроме Константина.

И снова совещание со свитой, и снова просьба: пойти разъяснить им, что Константин от престола отрекся.

Якубович отказался, его признают изменником, это может стоить ему жизни. Пошел другой офицер, а когда Якубович чуть позже приблизился к каре Московского полка, его чуть было действительно не закололи штыками, кричали ему: изменник! Он оставил площадь, но от места действия не удалялся, зашел проститься с умирающим Милорадовичем, с коим был в тесной дружбе.

Булатов искал своего сообщника, кружил на извозчике вокруг площади, видел на ней роты москвичей, слышал выстрелы, но дело не показалось Александру Михайловичу серьезным – заехал домой, приказал камердинеру сжечь письма и записки, напомнил, что завтра уезжают в полк.

За обедом, узнав, что на площадь вышли гренадеры, воспламенился боевым духом, попросил братьев зарядить ему пистолеты, один из них и кинжал положил за пазуху, вскочил в сани, повелев человеку следовать за ним на

оседланной лошади – вдруг ему, Александру Михайловичу, придется быть в деле.

Но к площади уже шла артиллерия.

Он ходил меж офицерами верных Николаю войск, здоровался со знакомыми, раскланивался с генералами, не далее шести шагов от себя видел государя и любовался его мужественным поведением.

Три тысячи человек на площади окружены двенадцатью тысячами правительственных войск.

Нет, не три тысячи и не двенадцатью тысячами.

Каре восставших окружал народ, набежавший сразу с их появлением. За правительственными войсками толпился люд, к началу действия не поспевший, – дальнзоркая полиция расторопно перекрыла ему пути. Люду этого было тысячи и тысячи, многие десятки тысяч, чье основное настроение – сочувствие бунтовщикам.

– Продержитесь до темноты! – кричали из толпы.

Полковник князь Трубецкой сидел в канцелярии Главного штаба, следил за событиями по докладам дежурному генералу, выходя на улицу, сам оценивал обстановку – она не предрасполагала к осуществлению его миссии.

Восставшие ждали приказа – его отдать было некому.

Избрали начальником князя Оболенского, но время уже ушло. Барон Штейнгейль, положив на стол манифест, аккуратно расправил его ладонью, накрыл другими бумагами и поднялся на второй этаж. Собрался и отправился на площадь – разделить судьбу товарищей. Однако подступов к ней уже не было. Из-за спин верных Николаю полков он смутно различал лица, узнал лишь Пущина с Кюхельбекером – они были в статском. Подумал: «Вильгельм Карлович полагает, что порядок вещей в России изменится не раньше, чем через семьсот лет, – а ведь на площади!»

Рылеев, пробравшийся к дому Трубецкого, также не смог пробиться обратно на площадь.

У Зимнего дворца стояли приготовленные для царской семьи, на всякий случай под охраною кавалергардов, экипажи.

Смеркалось.

Николай приказал бить по восставшим картечью.

Бегущие толпы оттесняли его к стенам домов, он несколько раз падал – вернулся домой растерзанный, вываленный в грязи, в разорванной шубе. Натанинька попятилась в ужасе, закрыла лицо руками.

В дальней комнате заплакала Настенька.

Он прошел мимо супруги в кабинет – там уже сидел у окна Каховский – спокойный и аккуратный. Будто не замечая его, Рылеев принялся молча ходить из угла в угол. Потом отправился в прихожую, снял шубу, постоял у окна, выходявшего на Мойку. Вернувшись в кабинет, начал наводить на столе порядок. Стали появляться люди – Штейнгель, Пущин с офицером Оржицким. Последнего Рылеев просил съездить в Киев, сообщить южанам, что выступить они полагали необходимым, но все пропало, ибо их предали.

Заглянувшему Булгарину передал папку с рукописями, просил сохранить ее. Сказал:

– Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой! Я погиб! Прощай! Не оставляй жены моей и ребенка.

Его взяли в полночь.

41

«Дерзаю просить тебя, государь, будь милосерд к товарищам моего преступления. Я виновнее их всех; я с самого вступления моего в Думу Северного общества упрекал их в недеятельности; я преступною ревностью своею был для них самым гибельным примером, словом, я погубил их; че-

рез меня пролилась невинная кровь. Они, по дружбе своей ко мне и по благородству, не скажут сего, но собственная совесть меня в том уверяет. Прошу тебя, государь, прости их...»

Кондратий Федорович надеется облегчить участь товарищей.

Капитан Якубович на допросе благородно предлагает Государю жертву, исполненную верноподданической красоты:

— Цель наша была — благо отечества; нам не удалось — мы пали, но для устранения грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собой, известен в армии храбростью: пусть меня расстреляют на площади подле памятника Петру Великому!

В города, в занесенные снегом именья скакали фельдъегери.

Александр Николаевич Муравьев, давно отошедший даже в мыслях от тайных дел, жил семейным счастьем, заботами помещика. Иногда встречал в Москве бывших сочленов, вспоминал об юношеских мечтаньях, надеждах сделать счастливым народ России; но тут же начинал увлеченно рассказывать о мирной сельской жизни, советовал следовать его благому примеру.

Тридцатого ноября Москва известилась о кончине императора Александра Первого, а вслед за тем на улицах появились объявления:

«Господин Московский военный губернатор и кавалер по полученному повелению, по случаю кончины обожаемого монарха, приглашает дворянское сословие сего ноября 30 числа до полуночи в 11 часов в Успенский собор для присяги государю императору Константину Павловичу».

Смена на престоле русских царей редко когда обходилась без кровопролития — в Александре Николаевиче забились тревога: вопреки заверениям о роспуске тайного

общества он верил в его существование, его просто не могло не быть, и оно может выступить, последствия же сего могут коснуться его, Александра Муравьева, судьбы.

Назначена перепись — и он уверен: что-то должно случиться... Шестнадцатого декабря в Москве стало известно о восстании в Петербурге; пятого января московский генерал-губернатор получил предписание от военного министра немедленно взять под арест отставного по квартирмейстерской части полковника Александра Муравьева со всеми принадлежащими ему бумагами так, чтобы он не имел времени к истреблению оных.

Ранним утром одиннадцатого января Александр Николаевич был арестован, тринадцатого — доставлен в Петербург.

Капитана Никиту Михайловича Муравьева арестовали двадцатого декабря в орловском имении его тестя.

Полковник князь Трубецкой был арестован пятнадцатого в доме родственника — австрийского посланника графа Лебфельтерна.

Возвратившись с площади, полковник Булатов сидел в душевных переживаниях дома: приходили слухи, что перевес на стороне заговора — он страдал за государя императора; то сообщалось, что рубят безоружных, он ожесточался против августейшей особы; так чувства его и мотались из стороны в сторону, пока не пришел сосед и не сказал, что все кончено. Александр Михайлович лег спать. Утром, по полученному накануне утверждению о присяге для временно находящихся в столице военных, отправился в Главный штаб, присягнул новому императору. И тут чувства его снова пришли в движение. По пути он заезжал к Якубовичу, звонил в колокольчик, но двери не отворились, он прислушался — никто не идет, позвонил

еще раз – молчание. А вдруг Якубович был в деле с партией?! Он целует слова святого евангелия, целует крест, а в глазах встают изрубленные тела, посеченные картечью – и он шепчет клятву отомстить царю за преступных своих товарищей, отшатывается от креста; подписывающаяся под присягой рука дрожит.

Дома Булатов приказывает подать обед; видит испуг в глазах своих братьев – бояться через него пострадать по службе, ведут себя недостойно: бранят восставших офицеров, о многих из которых еще вчера отзывались как об отличнейших людях. Не будь у них гостя, артиллерийского офицера Данзаса, друга известного стихотворца Пушкина, Александр Михайлович встал бы и ушел, чтобы не видеть низости души своих братьев. Да, и сам он был заодно со злоумышленниками, но он очистит свою совесть – откроется государю.

Во дворце к нему подошел великий князь Михаил Павлович, удостоил спросить, что ему угодно.

– Имею нужду поговорить с государем.

Великий князь изволил пойти с докладом, Александр Михайлович остался ждать. В это время раздался крик: «Веревки!» Он побледнел, думая, что хотят вязать его, пожалел, что нет при себе оружия – не сможет защитить своей чести, и в груди вспыхнула злоба на единоправца, от коего можно ждать любых посягательств на достоинство человека.

Ему позволяют войти. Он открывается, что состоял в заговоре, его арестовывают, обыскивают; он просит оставить его наедине с государем – признается, что несчастное имя его причиною гибели храброго и достойного полка гренадеров...

Штабс-капитан Александр Бестужев и капитан Александр Якубович сами прибыли под арест.

Баловень судьбы, с острогожской службы знакомый

Рылееву штабс-капитан Назимов Михаил Александрович был арестован двадцать шестого декабря, но так повел себя на допросе, что за неимением улик по приказу своего давнего покровителя, нового императора, был освобожден, вернулся в полк и с караулом своих солдат даже охранял его величество в Зимнем дворце.

Названный при допросах как член общества, через месяц был арестован вновь и предстал перед Следственной комиссией.

Восстание Черниговского полка устремило фельдъегерские тройки на юг.

Жизнь осталась за стенами каземата – полковник Булатов приговорил себя к смерти. «Ваше императорское Высочество, – пишет он великому князю Михаилу Павловичу. – Я в моем заключении дал клятву, причину коей увидите, прочтя мое объяснение, говорить государю моему правду, не щадя для пользы его, отечества и народа, ни его самого, ни любимцев его и никого на свете. О себе я не говорю ни слова, потому что мне остается утешением одна смерть». Он излагает собственное мнение по разным предметам, касающимся государства: военные поселения вредны для народа и самого государя; при покойном императоре граф Аракчеев имел власть самого государя распоряжаться участью людей, но всякое строение стоит на четырех углах – полную доверенность одному человеку государь не должен оказывать: четверым надобно прежде согласиться, чтобы пойти на обман; в судах и Сенате избирают, а ропот – на государя; по винной части – в прежние времена полиция удерживала народ от пьянства, а теперь должна еще побуждать для пользы государственной; по военной части – требовать службу во время обязанности и позволять все приличные удовольствия вне службы...

Александр Михайлович в письмах к великому кня-

зю, казалось, торопился выказать себя во всех крайностях: «Ваше императорское высочество, государь император в день восшествия своего на престол российский ознаменовал себя мужеством славных героев и милостями к злодеям, беспримерным великодушием...» А средь изложения признаний, просьб и забот восклицает: «Благодарю тебя, старый товарищ Рылеев, что ты открыл мне заговор ваш! До последней минуты жизни буду благодарить день тот, в который причислен, сам не зная как, к партии сего заговора!...»

Десятого января, в нервном припадке, ударами о дверной косяк полковник Булатов исполнил вынесенный себе самому приговор – разбил голову и через неделю скончался в военно-сухопутном госпитале.

42

Его доставили в Зимний ночью.

Новый самодержец России писал торопливое письмо брату в Польшу: «Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена: я – император, но какою ценою, Боже мой! Ценою крови моих подданных...»

Конвой из шести солдат под началом флигель-адъютанта полковника ввел арестованного – Николай не прерывал письма: «В это мгновение ко мне привели Рылеева. Это – поимка из наиболее важных...»

В доносах правительству Александра Благословенного мелькали другие имена лиц, составивших то одно, то другое тайное общество – они звучали привычно, ибо были всегда на слуху в свете. Рылеев появился позже, почти из ниоткуда, но под пером царя уже возведен в сан наиболее важных.

Начальному допросу его подвергли в генерал-адъютантской, предупредили: чистосердечные признания об-

легчат участь. (Он проведет под арестом семь месяцев, его вызовут на допрос семьдесят семь раз, и все-таки в докладе на высочайшее имя будет написано: «Рылеев не во всем сознается».)

Он сосредоточен, осмотрителен в ответах; открывает имена заведомо известных спрашивающим людей, не скрывает своего значения среди них, упоминает о духе времени, пред силой которого они не смогли устоять.

– Не вздор ли затевает молодежь? – наставительно спросил аксельбантный генерал-адъютант. – Не достаточны ли для нее примеры новейших времен, когда революции затевают для собственных расчетов?

Рылеев холодно ответил:

– Я для счастья России полагаю конституционное правление самым выгоднейшим и остаюсь при сем мнении.

Его ввели в соседнюю комнату – там он встретился с императором.

Алексеевский равелин – тюрьма в тюрьме: внутренний дворик в треугольнике здания для прогулок арестованных – единственное, что оставлено им из напоминаний о внешнем мире. В полночь сюда доставили Кондратия Федоровича с предписанием: «Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский равелин, но не связывая рук; без всякого сообщения с другими; дать ему и бумагу для письма, и что будет писать ко мне собственноручно приносить ежедневно. Николай».

У нового государя России неожиданно выявилась способность разбираться в человеческих душах, глубоко заглядывать в них. Он находил подступы к каждому: угрозами, обещаниями, милостями, якобы откровенным сочувствием, взаимопониманием.

Он разговаривал со всех.

Полный тревоги за судьбу Натаниньки и Настеньки,

Кондратий Федорович узнает из письма супруги, что государь прислал ей на первые нужды две тысячи рублей, а государыня императрица – тысячу Настеньке. У самого арестанта Алексеевского равелина на обед четыре-пять блюд, виноградное вино. Столовое серебро, то есть ложки – ножи и вилки в равелине не положены.

О жизни, из которой его изъяли, о большой, не домашней, неожиданно напомнило письмо от капитан-лейтенанта Романова. Владимир Павлович, только что вышедший в отставку, писал ему о желании быть полезным компании, о готовности отправиться к полюсу или к берегам Северной Америки для их описания. Письмо прочитал он в Следственной комиссии, на миг оно возвратило его к неосуществленным планам – в них жила та же мысль: сделать счастливым и богатым Отечество; осуществись они для компании, осуществились бы и для Отечества.

Поздним умом он заключает: заботясь о счастье родины, будь готов умереть в ее тюрьмах...

Государь в одном не сдерживал слова – откладывал и откладывал осуществление данного после первых допросов обещания разрешить свиданье с женой. Обессилели крылышки Ангел Херувимовны, поникли: в каждом письме он пишет ей – вот-вот позволят им свидеться, она ждет меж надеждой и страхом верной минуты, но ее нет и нет, не приходит. И декабрь уже кончился, и январь прошел, и февраль, и март, и апрель, и май отзвенел.

Эконом Бобров наставлял кадета Рылеева после его шутки с «Кулакиадой» и треуголкой: «Литература – вещь дрянная, занятия ею никого не приводят к счастью». Прав был или не прав старый эконом?..

Наедине с пером и бумагой остаешься один на один с собою, отчетливее, острее живешь сразу во всех временах:

прошлом, настоящем, будущем. Для будущего им установлена пока одна истина: военное недовольство замкнулось в самом себе, сошло на нет. Ему бы раньше понять неотвратимость этого, но тешил себя надеждами – терял время. Недовольство статских будет куда значительней, не отгороженные от народа фрунтом, они взорвут империю. В настоящем для него государственно высится над Россией Петропавловская крепость, за ее стенами Петербург лжет императору, сенаторам, министрам, себе. Тайная полиция выискивает крамолу, в верноподданическом вдохновении усердствуют доброхоты. В прошлом поднимается не Петербург, но конно-артиллерийская рота разворачивает перед ним свои будни, скудельной бедностью бьет в глаза. Павлов, верный его дядька, видит безутешность своего барина, успокаивает: «Нехай с ним. Аржаная душа на дождь не размокнет». Ему, Кондратию Федоровичу, странно сейчас слышать слова, залетевшие с воли вольной, об их стоянии на Сенатской: «Распотешились помещички!» Он-то знает: среди них не было распотешившихся. И сам он не был таким. Он утыкался лбом в плечо дядьки и соглашался с его аржаной душой, дождем, проникался христианским смирением. Но уезжали в отпуск братья Унгерн-Штернберги – писали о счастливых встречах с отцом и матерью, с родными в Дерпте и Риге, редкий вечер, чтоб не было балов, концертов, собраний – он со щемящей тоской признавал себя нищим, писал матушке: «Не однажды среди самого веселого общества, взирая на прочих товарищей, на лицах коих светлели беспечность и удовольствие, ничем не отравляемые, задумывался и говорил сам себе: «Почему подобно им и я не могу быть счастливым?»»

Так протекло около четырех лет; в протяжении оных я непрестанно придумывал средства, кои бы, направив домашние дела, могли спокойствие наше сделать прочным».

И еще писал: «Я так обносился, что даже стыдно. Белье скоро совсем нельзя будет носить, а в платье не знаю как и исправиться, потому что нет денег и, сверх того, должен товарищам».

Он ложился на сырой тюфяк, закрывал глаза. Из-за горизонта наплывал на него, реял над водой флаг с продольными по полотнищу полосами – белой, синей, красной; на первой шевелил крыльями императорский двуглавый орел, в лапах коего, кроме скипетра и державы, – лента с надписью: «Российской Американской компании» – сообщение встречным о принадлежности судна.

Еще недавно он полагал в скором времени увидеть берега далеких владений компании – не в этот, так в тот год. Которого у него не будет.

43

*Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?!*

«Я думаю покончить с теми из негодяев, которые не имеют никакого значения по признаниям, какие они могут сделать, но, будучи первыми, поднявшими руку на свое начальство, не могут быть помилованы, – писал Николай Константину, имея в виду Щепина-Ростовского и Михаила Бестужева. – Я думаю, что их нужно попросту судить, при том только за самый поступок, полковым судом в 24 часа и казнить через людей того же полка». Это относилось уже и к Оболенскому. Но новые допросы, новые признания заговорщиков выявили более опасные намерения и мотивы – полковой суд был несоотносим с ними.

Показание к показанию – выясняется: к заговору причастны государственные чиновники, язык не поворачивается сказать – Сперанский, Мордвинов и, ка-

жется, Ермолов; их предполагалось ввести в состав Временного правительства. Путь к Сперанскому лежал чрез подполковника Батенькова: Сперанский оценил его способности во время совместной службы, подполковник состоял при Особом сибирском комитете, затем по особым поручениям по части военных поселений, старший член Комитета по отделениям военных кантонистов при графе Аракчееве, квартиру имел в доме Сперанского.

Подполковник появился в крепости с рекомендательной запиской от государя императора: «Присылаемого при сем Батенькова содержать строжайше, дав писать, что хочет; так как он больной и раненый, то облегчить его положение по возможности». («Раненый» – это десять штыковых ран в восьмьсот четырнадцатом году под Монмирайлем). Подполковник затребовал к столу красное вино, а также – белье, одеяло, сюртук, восковые свечи и книги, что было удовлетворено. А в камере князя Трубецкого появился один из аксельбантных генералов-следователей: «Ваше показание не повредит Сперанскому, он выше этого. Он необходим, но государь хочет знать, до какой степени он может доверять Сперанскому». Князь от показаний отказался.

– Теперь я распоряжусь составлением манифеста об учреждении суда, – сообщил государь матушке.

Подготовка суда над злоумышленниками была высочайше возложена на Сперанского. В этом проявилась склонность нового императора к пикантным ситуациям.

Следствие уточняло у Рылеева: на чем он основывал предположение о тайном советнике Сперанском, который будто не отказался бы занять место во Временном правительстве? Кондратий Федорович отвечал: на любви Сперанского к Отечеству и на словах Батенькова: «Во Временное правительство надобно назначать людей известных».

Батеньков, называемый Рылеевым, Бесстужевым, Трубецким членом общества, утверждает, что относился к нему с неверием: оно не в силах достичь своей цели и решительно к тому не приступит. Потом Гавриил Степанович заявляет: он был виновник и главное действующее лицо на Сенатской площади, чем гордится, ибо почитает свершившееся благороднейшим делом.

Журнал заседания Следственного комитета излагает замыслы подполковника, о коих никто из его товарищей не подозревал: «Два показания подполковника Батенькова: в первом объявляет, что к принятию участия в намерениях тайного общества побудили его столько же любовь к отечеству, сколько собственное честолюбие; что узнав от Рылеева о необходимости для достижения предположенной цели принести в жертву ныне царствующего императора и о назначении его (то есть подполковника Батенькова) вместе с Мордвиновым и Сперанским во Временное правительство, он хотел, удалив Мордвинова, назначив вместо Сперанского одну духовную особу, остаться главным лицом и, продолжив потом временное правительство в виде регенства во время несовершеннолетия великого князя Александра Николаевича, управлять государством, ввести конституционный порядок, утвердить родовую аристократию и привести в действие многие полезные предложения, чем бы прославил имя свое в истории. Сперанского же он не желал видеть во Временном правительстве, дабы самому играть первую роль; а Мордвинова считал нужным на первый раз единственно для имени. Во втором показании подтверждает, что о тайном обществе и намерении оно никогда с Сперанским не смел и говорить».

Следственный комитет положил: взять в соображение.

Через месяц Комитет слушал прошение подполковника Батенькова о том, чтобы ему дали новые допросные

пункты, ибо все то, что он показал доньше, было писано в помешательстве рассудка и потому несправедливо.

Положили: как штаб-лекарь, при крепости находящийся, ежедневно свидетельствует арестантов и о роде болезни занемогающих доносит коменданту, а сей последний уведомляет Комитет, о помешательстве же в уме подполковника Батенькова никогда доносимо не было, и притом, как самые ответы Батенькова, писанные ясным и чистым слогом, в здравом смысле, не подают ни малейшего подозрения, чтобы он находился в расстроенном состоянии рассудка, то по сим причинам, явно доказывающим желание Батенькова запутать и продлить дело, принять прошение его к сведению...

В журналах Следственного комитета мелькают знакомые имена.

«...Были даны очные ставки ...отставному подпоручику Рылееву с подполковником Батеньковым: первый показал, что Батеньков должен был идти вместе с ним и Пуциным в Сенат для предъявления манифеста. Батеньков же объявил, что он манифеста не видел и для предъявления его в Сенат не назначался, а рассказал Рылееву, что он желал бы произнести в Сенате речь в пользу представительного правления. Оба остались при своих показаниях ... Отставному подпоручику Рылееву с штабс-капитаном Александром Бестужевым в том, что еще осенью 1825-го года Рылеев назначал Каховского для нанесения удара на покойного государя и что Бестужев объявил о том Каховскому, который за то рассердился. На очной ставке пояснилось, что вследствие самовольного вызова Каховского на царевбийство Рылеев полагал употребить его, когда обществом было бы положено исполнить сие преступное намерение. При сем объявили оба, Рылеев и Бестужев, что в обществе уже тогда говорили о необходимости истребить всю императорскую фамилию».

«1826 года майя 17-го дня в понедельник подполковник Батеньков дал дополнительное показание: привел в доказательство своей невинности или, по крайней мере, не совершенного знания великости своей вины то, что 14-го декабря, узнав о возмущении Московского полка, немедленно присягнул государю императору и ввечеру не побоялся навестить Рылеева...»

29 мая Сперанскому передали: «Государю императору благоугодно, чтобы ваше превосходительство прибыли завтра в Царское Село так, чтобы быть после обедни у его императорского величества и представить бумаги по Верховному суду».

1 июня вышел манифест о высочайше утвержденном Верховном уголовном суде для суждения злоумышленников, открывшихся 14 декабря 1825 года.

По степени виновности подсудимые подразделялись на одиннадцать разрядов; Кондратий Федорович вошел во внеразрядную группу лиц, «кои, превосходя других во всех злых умыслах силою примера, неукротимостью злобы, свирепым упорством и, наконец, хладнокровною готовностью к кровопролитию, стоят вне всякого сравнения».

44

Она в делах разумеет мало, ей трудно управиться со всем – Кондратий Федорович нет-нет да упрекнет ее за оплошки. Рассчитаться с долгами, взыскать долги с должников, вернуть акции в американскую компанию, продать Батово и деньги положить в банк, дабы в будущем жить на проценты с них... Конфуз и обида с книгами – то не те отошлет, то не тому. А сколько их в библиотеке! Она впервые читает названия многих, ее рука уважительно выводит: не помнит ли он, где «История» Рейналя в шести частях – ее нет ни в шкафах, ни на полках... Муж откры-

вается новыми качествами, теми, какими, может быть, он всегда был открыт, но она не видела. Она читает в его бумагах выписанное им из книг и говорит себе: конечно, он всегда был таким... «Жизнь моя не может быть полезнее для меня той душевной склонности, чтобы никого не обижать ради своей пользы. Цицерон». Конечно, он печется больше о благе ближних. «Государь, имеющий намерения возбудить к себе страх, над бедными токмо рабами владычествовать будет и от подданных своих никогда великих дел ожидать себе не может. Государь же, имеющий дарования возбудить к себе любовь, будет управлять сердцами своих подданных. Фридрих Второй». Об этом столько шло разговоров в кабинете, полном молодых офицеров, только Кондратий Федорович о царях и народах продумал давным-давно: изречение переписано полудетским почерком; тем же и другое переписано: «О, время благополучное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещалось. Тацит».

Свидание было разрешено девятого июня двадцать шестого года.

Большинством голосов для внеразрядной группы определено: четвертовать!

Милосердный государь не допустил жестокости.

Из Зимнего дворца Уголовному суду передано: его величество никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлением свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную.

Высокий суд пересмотрел свое мнение и определил: сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить.

Двенадцатого июля в полдень началось объявление приговора.

Однажды он обронил в письме неосторожную фразу: «Как ты найдешь нужным, так и распоряжайся. Мне ничего не нужно».

Как она возмутилась, как задрожал ее голосок в ответе: «Мне ничего не нужно! Как жестоко сказано! Неужели ты можешь думать, что я могу существовать без тебя? Где бы судьба ни привела тебя быть, я всюду следую за тобой. Нет, одна смерть может разорвать священную связь супружества».

Смерть ее разрывала: он в камере Алексеевского равелина склоняется над последним своим письмом.

«Бог и государь решили участь мою: я должен умереть, и умереть смертью позорною. Да будет его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя...»

За стенами каземата занималось утро июля тринадцатого дня.

Накрапывал дождь.

«...За душу мою молись Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на государя: это будет и безрассудно, и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые пути непостижимого? Я ни разу не возроптал во все время моего заключения, и за то дух Святой дивно утешил меня. Подивись, мой друг, и в сию минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе...»

На шести подводах доставлена из Петербургской тюрьмы виселица. Стук топоров далеко разносятся над Невой.

«...О, милый друг, как спасительно быть христианином. Благодарю моего Создателя, что он меня просвятил и что я умираю во Христе. Это дивное спокойствие порукою, что Творец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради Бога, не предавайся отчаянию: ищи утешения в религии. Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай со-

ветов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей, или лучше сказать – на память, потому что возблагодарить его может только один Бог за то благодеяние, которое он оказал мне своими беседами...»

Во дворе крепости над его друзьями-единомышленниками совершался обряд разжалования: опять объявляли сентенцию суда, ставили на колени, и палач ломал над головой осужденного шпагу. С них срывали награды, эполеты, мундиры – бросали в пылающие костры.

В крепостной церкви готовились к погребальному отпеванию приговоренных к смерти.

«...Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дело и отправься к почтеннейшей матушке. Проси ее, чтобы она простила меня; равно всех родных своих проси о том же... Я хотел было просить свидания с тобою, но раздумал, чтобы не расстроить себя...»

Семь месяцев у него зарешчено окно, зарешчено небо. Оно было то светлым, то пасмурным, а сегодня – серое: будто так и остался он стоять на линии между тьмой и светом, будто ничего не изменилось ни в судьбе России, ни в его собственной. Только нет – там, где сейчас обитает его душа, в горних ее пределах, много света. Умиротворения и покоя. Выпестованная им в ежедневных трудах душа обрела крылья и парит над земным неустройством.

Его время на земле истекает.

«...Настиньку благословляю мысленно нерукотворным образом Спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого Бога. Прошу тебя более всего заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в нее свои христианские чувства – и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит и

его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, счастливила меня в продолжении восьми лет...»

Загремели запоры, вошли стражники с кандалами, объявили: осталось тридцать минут. Не отрываясь мыслью и пером от бумаги, он дает им заковать себя.

«...Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами: они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все...»

Они торопят. Заканчивается его последний разговор с Натанинкой:

«...Прощай! Велят одеваться, да будет его святая воля. Твой истинный друг К.Рылеев».

Их расположили под виселицей в порядке, каком они названы в приговоре: Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский.

Опять зачитали приговор суда о четвертовании и замене его повешением.

Ударили барабаны.

Содержание

1. «В виду молодого поколения».....	5
2. Часть первая.....	20
3. Часть вторая.....	133
4. Часть третья.....	234

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

Том первый

Прошу тебя, государь роман

Набор, верстка ОАО «Тюменский издательский дом»
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 11
тел./факс 8(3452) 45-01-16, 45-35-67

Сдано в набор 09.01.06 г.
Подписано к печати 18.07.06 г.
Формат 60х90/16. Объем 27,5 усл. п. л.. Бумага ВХИ.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ 751